

Тэффи

собрание сочинений

II



Тэффи. Собрание сочинений в пяти томах

Тэффи. Собрание сочинений в пяти томах

Тэффи

II

Карусель

Дым без огня

Неживой зверь



УДК 882
ББК 84 (2 Рос=Рус)6
Т 97

Оформление художника
Е. Пыхтеевой

Тэффи Н. А.
Т 97 Собрание сочинений: В 5 т. Т. 2: Карусель; Дым без огня; Неживой зверь: Сборники рассказов / Сост. И. Владимиров. — М.: Книжный Клуб Книговек, 2011. — 432 с.

ISBN 978-5-4224-0257-1 (т. 2)
ISBN 978-5-4224-0255-7

Надежда Александровна Тэффи (Лохвицкая, в замужестве Бучинская; 1872—1952) — блестящая русская писательница, начавшая свой творческий путь со стихов и газетных фельетонов и оставившая наряду с А. Аверченко, И. Буниным и другими яркими представителями русской эмиграции значительное литературное наследие. Произведения Тэффи, веселые и грустные, всегда остроумны и беззлобны, наполнены любовью к персонажам, пониманием человеческих слабостей, состраданием к бедам простых людей. Наградой за это стала народная любовь к Тэффи и титул «королевы смеха».

Во второй том собрания сочинений включены сборники рассказов «Карусель», «Дым без огня» и «Неживой зверь».

УДК 882
ББК 84 (2 Рос=Рус)6

ISBN 978-5-4224-0257-1 (т. 2)
ISBN 978-5-4224-0255-7

Карусель

Маляр

(Загадка бытия)

Тебе, пришедшему ко мне на рассвете дня,
Тебе, озарившему мое тусклое время,
Тебе, рыжему маляру с коричневой бородавкой,
Посвящаю я, благодарная, эти строки.

* * *

Он пришел действительно рано, часов в девять утра.

Вид у него был деловой, озабоченный. Говорил он веско, слегка прищуривал глаза и проникал взглядом до самого дна души собеседника. Губы его большого редкозубого рта слегка кривились презрительной улыбкой существа высшего.

— Аксинья говорила — нужно вам двери покрасить. Эти, что ли? — спросил он меня.

— Да, голубчик. Вот здесь, в передней, шесть дверей. Нужно их выкрасить красной краской в цвет обоев. Понимаете?

Он презрительно усмехнулся.

— Я вас очень понимаю.

И, прищурив глаз, посмотрел на дно моей души.

Я слегка смутилась. Никто не любит, когда его очень понимают.

— Так вот, не можете ли вы сейчас приняться за дело?

— Сейчас?

Он усмехнулся и отвернул лицо, чтобы не обидеть меня явной насмешкой.

— Нет, барыня. Сейчас нельзя.

— Отчего же?

Ему, видимо, неприятно было объяснять тонкости своего ремесла перед существом, вряд ли способным понять его. И, вздохнув, он сказал:

— Теперича десятый час. А в двенадцать я пойду обедать. А там, то да се, смотришь, и шесть часов, а в шесть я должен шабашить. Приду завтра, в семь, тогда и управлюсь.

— А вы хорошо краску подберете?

— Да уж будьте спокойны. Потрафим.

На другое утро, проснувшись, услышала я тихое пение:

Последний нонешний дене-очек!

Оделась, вышла в переднюю.

Маляр мазал дверь бледно-розовой краской.

— Это что же, голубчик, верно, грунт?

Он презрительно усмехнулся.

— Нет, это не грунт, а окраска. Это уж так и останется.

— Да зачем же? Ведь я просила красную, под цвет обоев.

— Вот эту самую краску вы и хотели.

Я на минутку закрыла глаза и обдумала свое положение. Оно было довольно скверное.

Неужели я вчера сошла с ума и заказала розовые двери?

— Голубчик, — робко сказала я. — Насколько мне помнится, я просила красные, а не розовые.

— Энто и есть красные, только от белил оне кажутся светлее. А без белил, так оне совсем красные были бы.

— Так зачем же вы белила кладете?

Он смерил меня с ног до головы и обратно. Усмехнулся и сказал:

— Нам без белил нельзя.

— Отчего?

— Да оттого, что мы без белил не можем.

— Да что же: краска не пристанет или что?

— Да нет! Какое там не пристанет. Где же это слыхано, чтобы масляная краска да не пристала. Очень даже вполне пристанет.

— Так красьте без белил.

— Нет, этого мы не можем!

— Да что вы, присягу, что ли, принимали без белил не красить?

Он горько задумался, тряхнул головой и сказал:

— Ну, хорошо. Я покрашу без белил. А как вам не понравится, тогда что?

— Не бойтесь, понравится.

Он тоскливо поднял брови и вдруг, взглянув мне прямо на дно души, сказал едко:

— Сурику вам хочется, вот чего!

— Что? Чего? — испугалась я.

— Сурику! Я еще вчерась понял. Только сурику вы никак не можете.

— Почему? Что? Почему же я не могу сурику?

— Не можете вы. Тут бакан нужен.

— Так берите бакан.

— А мне за бакан от хозяина буча будет. Бакан восемь гривен фунт.

— Вот вам восемь гривен, только купите краску в цвет.

Он вздохнул, взял деньги и ушел.

Вернулся он только в половине шестого, чтобы сообщить мне, что теперь он «должен шабашить», и ушел.

«Последний нонешний дене-очек» разбудил меня утром.

Маляр мазал дверь тусклой светло-коричневой краской и посмотрел на меня с упреком.

— Это что же... грунт? — с робкой надеждой спросила я.

— Нет-с, барыня, это уж не грунт. Это та самая краска, которую вы хотели!

— Так отчего же она такая белая?

— Белая-то? А белая она известно отчего — от белил.

— Да зачем же вы опять белил намешали? Красили бы без белил.

— Без бели-ил? — печально удивился он. — Нет, барыня, без белил мы не можем.

— Да почему же?

— А как вам не пондравится, тогда что?

— Послушайте, — сказала я, стараясь быть спокойной. — Ведь я вас что просила? Я просила выкрасить двери красной краской. А вы что делаете? Вы красите их светло-коричневой. Поняли?

— Как не понять. Очень даже понимаю. Слава Богу, не первый год малярией занимаюсь! Краска эта самая настоя-

щая, которую вы хотели. Только как вам нужно шесть дверей, так я на шесть дверей белил и намешал.

— Голубчик! Да ведь она коричневая. А мне нужно красную, вот такую, как обои. Поняли?

— Я все понял. Я давно понял. Сурику вам хочется, вот что!

— Ну, так и давайте сурику.

Он потупился и замолчал.

— В чем же дело? Я не понимаю. Если он дорого стоит, я приплачу.

— Нет, какое там дорого. Гривенник фунт. Уж коли это вам дорого, так уж я и не знаю.

Он выразил всем лицом, не исключая и бородавки, презрение к моей жадности. Но я не дала ему долго торжествовать.

— Вот вам деньги. Купите сурику.

Он вздохнул, взял деньги.

— Только сурик надо будет завтра начинать. Потому теперь скоро обед, а там, то да се, и шесть часов. А в шесть часов я должон шабашить.

— Ну, Бог с вами. Приходите завтра.

Последний нонешний дене-очек...

Он мазал дверь тускло-желтой мазью и торжествовал.

— Я же говорил, что не пондравится.

— Отчего же она такая светлая? — спросила я, и смутная догадка сжала мое сердце.

— Светлая?

Он удивлялся моей бестолковости.

— Светлая? Да от белил же!

Я села прямо на ведро с краской и долго молчала. Молчал и он.

Какой-то мыслитель сказал, что есть особая красота в молчании очень близких людей.

«Он» очнулся первый.

— Можно кобальту к ей подбавить.

— Кобальту? — чуть слышно переспросила я и сама не узнала своего голоса.

— Ну да. Кобальту. Синего.

— Синего? Зачем же синего?

— А грязнее будет.

Я встала и молча вышла. А он пошел шабашить.

На следующее утро я встала рано, раньше, чем он пришел. Пошла в переднюю и стала ждать.

Было около шести утра. Меня слегка знобило, щеки горели и руки тряслись. Кажется, охотники на тетеревином току испытывают нечто подобное.

Наконец он пришел.

Он шел, деловито сдвинув рыжие брови. Он нес большое ведро белил.

— Стой! — крикнула я. — Это что?

— А белила.

— Ставьте тут, за дверь. Давайте краску сюда. Это сурик?

— Сурик.

— Это бакан?

— Бакан.

— Мешайте вместе.

Он взглянул на меня, как смотрят на забравшего власть идиота: куражься, мол, до поры до времени. Нехотя поболтал кистью.

— Видите этот цвет? — спросила я.

— Вижу. Ну?

— Ну, вот этим цветом вы мне и выкрасите все шесть дверей.

— Ладно, — усмехнулся он. — А как вам не пондравится, тогда что с вами заведем? А?

— Красьте двери этим цветом, слышите? — твердо сказала я и вся задрожала. — Это я вам заказываю. Поняли?

— Ладно, — презрительно скривился он и вдруг деловито направился к ведру с белилами.

— Куда-а! — закричала я не своим голосом.

Он даже руками развел от удивления.

— Да за белилами же!

* * *

С тех пор прошла неделя. Двери выкрасил другой маляр, выкрасил в настоящий цвет, но это не радует меня.

Я отравлена.

Я целые дни сижу одна и мысленно беседую с ним, с рыжим, бородавчатым.

— Голубчик, — говорю я, — почему же вы не можете без белил?

Он молчит, и жуткая мистическая тайна окутывает это молчание.

Ему, — о, слабое утешение! — ему, неизъяснимому, озарившему странной загадкой мое тусклое время, непонятно зачем пришедшему, неведомо куда ушедшему, рыжему маляру с коричневой бородавкой, посвящаю я эти строки.

И как перед тайной, равной тайне смерти, склоняюсь и благоговейно шепчу:

— Я ни-че-го не по-ни-маю!

Культуртрегеры

Адвокат Недынин в продолжение пятнадцати лет заучивал свои речи перед зеркалом.

— Господа присяжные! Господа судьи! — надрывался он, разъяряясь на собственное отражение, пучившее на него из зеркала круглые белые глаза. — Господа судьи! Перед вами жертва ростовщицы, так сказать, паука в юбке!

Голос адвоката Недынина, гулкий и раскатистый, заставлял стоном стонать весь дом.

Жена, обвязав голову платком, запиралась в спальне и молча ждала мигрени.

В кухне кухарка говорила горничной, тяжело вздыхая:

— Наш-то опять свою обедню служит, чтоб им всем перелопнуть.

В детской маленький Сережа надевал на голову дурацкий колпак и кричал во все горло:

— Господа присудные! Спереди паук!

Иногда жена, не выдержав пытки, распахивала дверь кабинета и кричала истерически:

— Господи! Разве вы не можете говорить вполголоса? Ведь это же сплошное варварство вопить на весь дом, как повешенный!

— Я не могу вполголоса, я должен слышать себя, как следует; только тогда я могу судить о своей речи, — плавно от-

вечал адвокат и, откашлявшись, с новой силой принимался за паука в юбке.

Так продолжалось пятнадцать лет. На шестнадцатом году он купил себе в рассрочку диктофон.

Принесли машину вечером, свинтили, показали. Адвокат ликовал. В этом приятном занятии помогали ему жена и брат жены — честная, светлая личность.

— Этакая прелесть! — восторгался адвокат. — Этакое удобство! Я прямо говорю свою речь, затем нажимаю кнопку и слушаю ее со всеми интонациями и красотой переливов моего голоса! Слушайте! Слушайте!

Он нажимал кнопку, и из рупора машины тихо хрипела продиктованная фраза.

— Господа присяжные! Господа судьи! Перед вами жертва притонодержательницы, этого паука в юбке.

— Удивительно! — ликовала светлая личность. — Интересно знать, что чувствовал Эдисон, когда изобретал эту штуковину?

— Дай, я что-нибудь спою, — предложила жена. — Интересно, как он пение передаст.

Но муж остановил строго:

— Это деловой аппарат; я не для ерунды...

Вошла горничная Гаша с сонными, запухшими глазами:

— Я вам, барыня, не нужна? Так я спать пойду.

— Постойте, Гаша, постойте, — засуетился адвокат. — Посмотрите, какая штучка. Видали вы такую штучку?

Гаша сонно повела глазами:

— Нет, не видала.

— Еще бы! В деревне у вас такой нет!

— Нету в деревне, — не поспорила Гаша.

— А что я вам сейчас покажу! Вот, слушайте!

Он нажал кнопку, и рупор закряхтел:

— «...Госп... даа п...сяжные. Перед вами жертва кассира, этого паука в штанах».

— А что? Каково? Ха-ха!

Гаша тупо моргала.

— Подождите! — сказала светлая личность. — Нужно же ей объяснить, в чем дело, а то она еще перепугается. Слушайте, Гаша. Вы, смотрите, не подумайте, что это нечистая сила, какой-нибудь черт или что-нибудь в этом роде. Черта, не к ночи будь сказано, совсем не существует; вы это знаете.

— Зачем же ты говоришь «не к ночи будь сказано»? — остановила личность сестра.

— Ну, это я так, в духе народного языка. Ну-с, милая моя, итак, эта самая штуковина только с первого взгляда кажется хитрой, а на самом деле...

— Постой, ты не так, — перебил адвокат. — Нужно сначала объяснить внешний вид. Вот, Гаша, видите, — аппарат этот передвигается на колесиках, вот тут смазывается маслом, здесь щеточка для обтирания пыли...

— Погодите! — оборвала адвоката личность. — Ведь ее поражает не то, что надо пыль вытирать, а самый новый принцип. Вот, слушайте, Гаша: случалось ли вам когда-нибудь исследовать внутреннее устройство фотографической камеры? При этом, наверное, внимание ваше привлекал объектив, играющий роль преломляющего хрусталика нашего зрительного органа. Так как...

— Нет, это слишком сложно, — остановил его адвокат. — Нужно просто и ясно. Видали ли вы, Гаша, когда-нибудь звезды? Поняли?

— Поняли, — вздохнула Гаша.

— Ну-с, итак, поднимая каждый вечер глаза к небу, вы на что натыкаетесь?

— Да я что, я не натыкаюсь...

— Как не натыкаетесь? А на звезды? Вы натыкаетесь взором на звезды первой величины, второй величины и так далее... Но не в этом дело. Дело в том, что многие из этих звезд уже давно погасли, но лучи их, преодолевая мировое пространство, — понимаете? — дохо...

— Понимаем! — безнадежно вздохнула Гаша.

— Доходят до нас...

— Подожди, подожди, дай мне досказать! — не вытерпела светлая личность. — У тебя нет навыка говорить с народом. Ну-с, Гаша, так вот, штуковина эта самая вмещает в себе тот же принцип по отношению к нашему слуху, как фотографический аппарат по отношению к нашему глазу. Поняли?

— Поняли...

— Отлично. Теперь объясню действие аппарата наглядно. Главное дело в этой штуковине, конечно, мембрана. Поняли?

— Поняли! — шепнула Гаша и закрыла глаза.

— Ну-с, мембрана, это — очень простая штуковина. Главное то, что она колеблется. Поняли? Вибрация. Вот, например, если вы возьмете какую-нибудь пластинку и начнете на нее кричать разные слова, она, конечно, будет дрожать. Поняли? Ну-с, а если потом, под влиянием действия какой-нибудь энергии, я заставлю ее так же дрожать, то вы, разумеется, начнете произносить те же самые слова, что вы произносили раньше. Что и требовалось доказать! Поняли?

Личность ухарски вскинула голову и хлопнула себя по бокам.

— Ну что за глупости! — удивилась жена адвоката. — Очень мне нужно повторять, что она там надрожит! Нет, ты совсем не так объясняешь.

— Ах, голубушка, ведь это же принцип!

— Подожди, — вмешался адвокат. — Дайте же мне хоть слово сказать. Слушайте, Гаша, когда вы наблюдаете колебание эфира...

— Ну что ты за вздор говоришь! — рассердилась жена. — Есть ей время заниматься ерундой. Подожди, не мешай, я сама объясню. Слушайте, Гаша, тут совсем нет ничего удивительного. Просто электричество. Ведь зажигаете же вы лампочки по десять раз в вечер и не удивляетесь. Ну, значит, и тут нечего удивляться. А теперь можете идти.

* * *

Гаша раздевалась, всхлипывала и говорила кухарке:

— Ты, говорит, машину маслом мажь и на колесах катай и пыль с ей вытирай, не то, говорит, я тебе такие слова произнесу, что ты у меня задрожишь.

— По нынешним временам тоже и к мировому можно! — утешала кухарка.

— А брат ейный чертыхается. И за что? Что я в пятницу миску разбила, так они вона когда, на третий день, вспомнили да попрекнули! Ты, грят, ходишь да на все натыкаешься. Да лампочки зачем часто зажигаешь. Ходи, мол, впотьмах, да не натыкайся! Ироды! Да у тебя, говорят, фотография на уме! Тебе бы только по фотографиям лазать. И с чего это они?

— А сама, дура, виновата. Зачем у тебя солдат на стенке висит? Спрятала бы в комод, и комар носа не подточит!

— Да ведь кто ж их знает!

— Надо знать! Раззява! Спи уж. Сном пройдет. Завтра, может, Бог даст, забудут.

Долг и честь

Марья Павловна была женщина энергичная, носила зеленые галстуки и резала в глаза правду-матку.

Она пришла к Мединой в одиннадцать часов утра, когда та была еще не причесана и не подмазана и потому должна была чувствовать себя слабой и беззащитной.

— Так-с! — сказала Марья Павловна, глядя приятельнице прямо в среднюю папильотку. — Все это очень мило. А не потрудишься ли ты объяснить мне, кто это вчера переводил тебя под ручку через улицу? А?

Медина подняла высоко неподмазанные брови, развела руками, повела глазами, — словом, сделала все, что было в ее скудных средствах, чтоб изобразить удивление.

— Меня? Вчера? Под ручку? Ничего не понимаю!

— Не понимаешь? Она не понимает! Вот вернется Иван Сергеевич из командировки — он тебе поймет!

Медина собралась было снова развести руками и повести глазами, да как-то ничего не вышло. Поэтому она решила обидеться.

— Нет, я серьезно не понимаю, Мари, о чем ты говоришь!

— Я говорю о том, что ты, пользуясь отсутствием мужа, бегаешь по улицам с дураком Фасольниковым. Да-с! Мало того, полтора часа у подъезда с ним разговаривала. Очень умно!

— Уверяю тебя, — залепетала Медина, — уверяю тебя, что я его совсем не заметила.

— Не заметила, что под руку гуляешь? Ну, это, мать моя, ври другим!

— Даю тебе честное слово! Я такая рассеянная!

— Другой раз смотри, что у тебя под локтем делается. Два часа у подъезда беседовала. Швейцар хихикает, извозчики хихикают, Анна Николаевна проезжала — все видела. Я, говорит, еще с поперечного переулка заметила, что Медина влюблена. Теперь ездит и трещит по всему городу.

Медина всплеснула руками:

— Я? Влюблена? Что за вздор!

— Ври другим, — деловито заметила Марья Павловна и закурила папироску. — Завтра на вечере он у тебя будет?

— Разумеется, нет. Впрочем, я пригласила его, — нельзя же было не пригласить. Так что, может быть, и будет. Ведь на именинах был, так почему же вдруг теперь... Разумеется, придет.

— Поздравляю! Это чтобы все гости за вашей спиной перемигивались? Чрезвычайно умно! Подожди, то ли еще будет! Вернется Иван Сергеевич, станет анонимные письма получать.

Медина притихла.

— Да что ты!

— И очень просто. Анна Николаевна первая напишет. «Откроет глаза».

— Как же мне быть?

— А уж это твое дело. Ты должна поступить, как тебе подсказывают долг и честь.

— А как они подсказывают?

— Ты должна написать своему Фасольникову, что, во-первых, ты — порядочная женщина, а, во-вторых, что он не должен больше у тебя бывать.

— Неловко как-то выходит. Я, мол, порядочная женщина, так что, пожалуйста, у меня не бывайте. Точно он должен только к непорядочным ходить!

— Виляй, виляй! А потом и рада бы, да поздно будет. Впрочем, мне все равно.

Марья Павловна встала, демонстративно отряхнула платье и поправила зеленый галстук. Медина взволновалась:

— Подожди, Мари, ради Бога! Продиктуй мне, как написать!

Медина села и снова закурила папироску.

— Пиши: Милостивый государь!

— Воля твоя, но я не могу писать «милостивый государь» человеку, который бывал у меня запросто!

— Ну, пиши: «Многоуважаемый Николай Андреич».

— Это такому-то мальчишке писать «многоуважаемый»? Да он себе невесть что в голову заберет. По-моему, нужно написать просто «дорогой».

— Ты думаешь? Ну, хорошо; это, пожалуй, можно. Итак: «Дорогой Николай Андреич! Честь имею уведомить вас, что я — честная женщина...»

— Воля твоя, не могу так писать. Это точно официальная бумага!

— Ну, пиши просто: «Я — женщина честная, и прошу вас...».

— Воля твоя, нехорошо выходит.

— Ну, так пиши: «Спешу уведомить вас, что я — честная женщина».

— А он скажет: чего ж она четыре месяца молчала, а теперь вдруг заспешила... Мари, дорогая, не сердись на меня! Может быть, можно это в конце поместить? Знаешь, это даже эффектно выйдет. Уверяю тебя!

— Ну, хорошо. Теперь пиши так: «Не истолкуйте плохо моей просьбы, но я умоляю вас — не приходите ко мне завтра».

— Воля твоя, ужасно грубо выходит. Может быть, лучше и на самом деле завтрашний вечер отменить?

— Делай, как тебе велят долг и честь.

— А как же они велят? Нужно отменить вечер?

— Конечно, отмени. Тогда пиши так: «Не приходите завтра, так как вечер отменен, и никого не будет. Не требуйте от меня объяснений, — ваша чуткость поможет вам догадаться». Вот и все. Подпишись: «Готовая к услугам такая-то», и посылай.

— Воля твоя, как-то грубо! Может быть, немножко смягчить?

— Мягчи, мягчи! Вот приедет Иван Сергеевич, он тебе помягчит!

— Ах, какая ты, право! Всегда умеешь все так неприятно повернуть. Письмо, конечно, очень хорошо, только, — ты уж не сердись, — у тебя совсем нет стиля. Понимаешь, — иногда достаточно переставить или вычеркнуть какое-нибудь самое пустое слово, — и все письмо приобретает особый колорит. А у тебя все как-то так аляповато, уж ты не сердись!

— Дура ты, дура! Сама двух слов слепить не умеешь, а туда же — сти-иль!

— Пусть дура, пусть не умею. Ты зато очень умна. Смотри сама: в четырех строчках четыре раза «не» повторяется. Это, по-твоему, хороший стиль?

— Разве четыре?

— Четыре.

— Ну, вычеркни одно «не» — и делу конец. А мне пора. Надеюсь, ты поступишь, как тебе велят долг и честь. Отошли письмо сейчас же.

Марья Павловна снисходительно потрепала подругу по щеке и вышла. Медина тяжело вздохнула и села переписывать письмо набело.

— Вычеркну одно «не», — вот и делу конец.

Вычеркнула, переписала, перечитала:

— «Дорогой Николай Андреич! Не истолкуйте плохо моей просьбы, но я умоляю вас — приходите ко мне завтра, так как вечер отменен и никого не будет. Не требуйте от меня объяснений, — ваша чуткость поможет вам догадаться. Готовая к услугам В. Медина».

Перечитала еше раз и немножко удивилась.

— Странно! Теперь получается как-то не совсем то... но ведь Мари сама сказала, что из четырех «не» зачеркнуть одно всегда можно. И, во всяком случае, стиль от этого только выиграл.

Надушила письмо «Астрисом», отправила, подошла к зеркалу и улыбнулась просветленной улыбкой.

— Как, в сущности, легко повиноваться голосу долга и чести!

Потаповна

Вере Томилиной

Вот уже пятая неделя, как на кухне происходит что-то особенное.

Кастрюли не чистятся, сор лежит в углу за печкой и не выметается. В дверь с черной лестницы часто просовывают-

ся бабьи носы, иногда по два и даже по три носа разом, и таинственно шепчутся.

Не тревожимые мокрой шваброй тараканы собираются густой толпой около крана и озабоченно шевелят усами.

Старая лиловая собака, видавшая лучшие дни и сосланная на кухню за старость и уродство, печально свесила правое ухо и так и не поднимает его, потому что всем своим собачьим существом предчувствует великие события.

А события, действительно, надвигаются.

Властительница всех этих кастрюль, и сора, и тараканов, кухарка Потаповна собралась замуж.

И об этом ясно свидетельствуют не сходящая со стола наливка и нарезанный ломтиками соленый огурец.

А вечером приходит «он» — жених.

Он седой, с плутоватыми глазками и таким красным носом, какой бывает только у человека, хватившего с мороза горячего чаю, и то лишь в первые пять минут.

Потаповна к приходу жениха не наряжается, потому что свадьба — дело серьезное, и кокетство тут не к месту.

Она человек опытный — знает, что когда нужно. Ей самой давно шестой десяток. Даже видеть стала плохо, так что приходится носить очки, которые она не без шика подвязывает розовой тесемкой от старого барынина корсета.

Голова у нее круглая, как кочан, а сзади, в самом центре затылка, торчит седая косичка, будто сухой арбузный хвостик.

Потаповна — девица, но не без воспоминаний. Одно воспоминание живет у сестры, в деревне, другое — учится у модистки. А над плитой висит старая солдатская фуражка, лет пять назад украшавшая безбровую солдатскую харю. И еще недавно, глядя на эту фуражку, вдохновлялась Потаповна и рубила котлеты с настоящим темпераментом.

Теперь не то. Теперь — брак. Венец. Любовь прочная, законная и признанная. До гроба.

* * *

Вечер.

Посуда убрана кое-как, с грехом пополам; на столе — самовар, наливка и огурец.

Лиловая собака тихо шевелит опущенным ухом. Предчувствует события.

Влюбленные воркуют.

— Я барыне говорю, — рассказывает Потаповна, — подарите вы мне, барыня, к свадьбе-то грипелевое платье. Ладно, говорит, подарю. Барыня-то добрая.

— Платье? — шевелит жених мохнатыми бровями. — Платье — что! Много ли с платья корысти. Лучше бы деньгами дала. А платье тоже, говорят, может из моды выйти.

— Ну, это тоже какое попадется. Вот была у меня муровая юбка, — восемь лет носила, и хоть бы что. Ни моль ее не брала, ни что. Чем больше ношу, тем больше блестит. Маньке отдала донашивать, а она так из моды и не вышла.

— Капитал лучше. Ежели у хороших господ жить, много можно отложить на книжку. А? Так я говорю, Авдотья Потаповна, али нет?

— Скопить, конечно, можно. А только что в этом хорошего? Копишь, копишь, выйдешь замуж, помрешь, — ан все мужу в лапы. Тоже и об этом подумать надо.

— Это вы-то помрете? Авдотья Потаповна, грех вам говорить! Да вы всякого быка переживете, не то что мужа. Вон личность-то у вас какая красная — рожа, тоись.

— От печки красная. Жаришь, жаришь, ну, и воспалишься. А в нутре у меня никакой нет плотности.

Жених смотрит на нее несколько минут пристально.

— А болезни какие у вас были?

— Болезни? Каких у меня только не бывало, спроси. Под ложечкой резь. Как поем капусты, так и...

— Ну, это что за болезнь! Этак кажный может налопаться...

— Зубы болели, все выболели. Глаза плохи стали, ноги гудут. Нашел тоже здоровую.

Жених улыбнулся светлой улыбкой, но улыбка быстро погасла, и он вздохнул.

— Ну, с этим тоже не помирают. Битая посуда два века живет. Вот у меня, можно сказать, здоровье подорвано. Двадцать лет на сукционе служу. Служба тяжелая...

— Нашел тоже сравнить! У меня здоровье-то женское. Разве может у вас быть такая слабость, как у меня, у девицы.

У меня одних ребят пять штук было, — вот и считай! Дети здоровью вредят.

— Эка важность — дети! У меня у самого в прошлом году ребенок был. Помер только скоро. От прачки, от Марьи.

— Ребенок? — выпучила глаза Потаповна.

Лиловый пес тоже встрепенулся и вскинул ухо.

— Нешто в вашем возрасте это полагается?

Щеки у Потаповны вдруг отвисли и задрожали.

— Туда же, стариком себя называет! В женихи лезет! Коли у вас в прошлом году дети были, так вы и через десять лет не помрете. Разве я столько протяну? Какая мне от вас польза? Лысому бесу, прости Господи, от вас польза будет, — ему и завещание делайте.

Она вдруг схватила наливку и сунула в шкап.

Жених, несколько сконфуженный, чесал бороду крючковатым пальцем.

— А мне, как быдто, и собираться пора, не то дворник калитку запрет.

Потаповна яростно терла стол мочалкой, как бы давая понять, что с поэзией любви на сегодняшний день покончено и суровый разум вступил в свои права.

— А который же час? Может, взглянете, а?

Потаповна на минутку приостановилась и сказала задумчиво:

— Все-таки же вам седьмой десяток, как ни верти.

И пошла в комнаты, взглянуть на часы.

Оставшись один, жених пощупал ватное одеяло на постели, потыкал кулаком в подушки.

Вернулась Потаповна.

— Длинная-то стрелка на восьми.

— А короткая?

— Короткую-то еще не поспела посмотреть. Вот пойду ужо самовар убирать, так и посмотрю. Не все зараз.

Жених не поспорил.

— Ну, ладно. Счастливо оставаться. Завтра опять зайдем.

В дверях он обернулся и спросил, глядя в сторону:

— А постеля у вас своя? Подушки-то перовые али пуховые?

Потаповна заперла за ним дверь на крюк, села и пригорюнилась.

— Не помрет он, старый черт, ни за что не помрет! Переживет он меня, окаянный, заберет мою всю худобишку.

Посмотрела на печального лилового пса, на притихших тараканов, тихо, но сосредоточенно шевеливших длинными усами, и почувствовала, как тоскливо засосало у нее под ложечкой.

— Быдто от капусты.

Она горько покачала головой.

— Ни за что он не помрет! Вот тебе и радость! Вот тебе и свадьба!

У гадалки

На окошке фуксия. Над фуксией верещит в клетке канарейка.

Круглый стол покрыт филейной салфеткой. Облупленные кресла.

Из дверей тянет жареным луком.

Все это вещи и явления самые обыденные, но здесь они кажутся необычайными и полными какого-то особого значения, высшего и тревожного, потому что находятся в приемной комнате у гадалки Пелагеи Макарьевны.

Канарейка как будто не совсем так попрыгивает, как их сестре полагается. Уж, видно, недаром у гадалки живет.

Филейная салфетка выглядит так серьезно, что хочется извиниться перед ней за суетное перо на шляпе.

А что луком пахнет — так уж это, видно, так нужно. Уж раз Пелагея Макарьевна, женщина, видящая как на ладони всю судьбу всего мира, находит нужным жарить лук, — тут есть над чем призадуматься.

Принимает Пелагея Макарьевна своих клиенток по одной персоне. Мужчин совсем не пускает.

— Мужчинская судьба известно какая, — объясняет она любопытствующим. — Все больше насчет девиц. А меня за этакую судьбу живо полиция прикроет.

В приемной у нее всегда полно, как у модного врача.

Влюбленная девица с подругой, взятой для храбрости.

Прислуга, на которую хозяева «грешат» из-за пропавшей ложки.

Две тетки в бурнусах — насчет Машенькиной свадьбы, — быть ей или не быть.

Толстая лавочница с дутым браслетом на отекшей руке. Сидит и тупо думает:

— А шут меня знает, чего меня сюда понесло. И как это так, возьмет нелегкая и понесет человека, и шут его знает, зачем? Чесался, видно, полтинник в моем кармане.

Три гимназистки хихикают под канарейкой.

— Нет, она удивительно говорит! Она всю правду говорит. Она мне в прошлом году сказала, что я выйду замуж за Григория. Прямо удивительно!

— Так ведь ты же не вышла.

— Ну да, потому что я еще не знакома ни с одним Григорием. Но ты только подумай, как она может так все знать.

— Мне ужасно неловко, у меня полтинник не целой деньгой, а мелочью. Она может обидеться...

— Действительно, неприлично.

— Ничего, она все равно по картам увидит, что ты ворона... Хи-хи-хи!

— Перестань!

— Хи-хи-хи!

Тетки в бурнусах бросают на них негодующие взгляды и шепчутся про свои дела. Изредка, из уважения к месту, в котором находятся, произносят слова, не выдыхая, а, наоборот, втягивая воздух в себя. Получается как бы свистящее всхлипывание, полное таинственности и значения.

— И не быть тебе, грит, за ним, а быть тебе, грит, за каронным брунетом. И што п вы думали? Пост проходит, а в мясоеде за чиновника выскочила. Ведь как по-писаному.

— Господи, помилуй! Ведь даст же Бог человеку!

— А намедни Силова тоже к ней ходила. И што п вы думали?..

Дверь, ведущая в комнату гадалки, с треском раскрывается.

Через комнату, ни на кого не глядя, сконфуженно проходит в переднюю дама в трауре.

— Пожалуйте, кто следующий по очереди, — говорит певучий, сдобный голос.

Прислуга, «на которую грешат», вскакивает, испуганно оглядывается и, украдкой крестясь, на цыпочках идет к заветной двери.

— Пожалте-с! — приглашает клиентку Пелагея Макарьевна. — Присядьте на стулик.

И тут же, разом прикончив с официальной частью приема, говорит просто:

— Садись, что ли. Полтинник принесла?

Клиентка развязывает узелок платка сначала дрожащими руками, потом щелкающими зубами. Гадалка, внимательно оглядев монету, опускает ее в карман.

— Чем антиресуешься?

— Ложкой! — лепечет клиентка. — Мы ложкой антиресуемся. Ложка ихняя пропала, а они на меня. На что мне их ложка? Не видала я ложки! Я ложек очень даже много видала. Даже большое множество.

Гадалка берет со стола пухлую колоду карт, приобретшую от постоянного общения с потусторонним миром особый, очень неаппетитный вид. Точно смазанные чем-то липким, карты с трудом отставали одна от другой, и гадалка часто, многозначительно скосив глаза на клиентку, облизывала большой палец правой руки.

— Н-да-с. Посмотрим твою ложку. На бубновую кралю... Девица?

— Девица, — виновато отвечает клиентка.

— На бубновую кралю... На сердце у тебя трефонный разговор... Трефонный разговор про червонную дорогу, а может, это и не дорога, а просто к тому выйдет, что бубенный король перечит. Ну, однако, перечить ему это самое не выйдет, потому из трефонного дому через вечерний разговор по утренней дороге вот при своих хлопотах амурное свидание с денежным, значит, антиресом, — ну, только гли кого, еще не известно. Ну, а теперь, все тридцать шесть карт, скажите всю правду, что бубновой крале ждать. Ну-с, гли дому твоего жди семерку трефей — вечерний разговор. Разговаривать, значит, вечером будешь с кем-нибудь. Гли сердцу твоего пиковая дама будет с бубенным королем про свои дела разговаривать. Чем кончится?.. Кончится утренним разговором. Будешь, значит, утром с кем-нибудь разговаривать. На чем сердце успо-

коится?.. Успокоится твое сердце на всяких хлопотах, и болезнь близкого человека, и деньги, быдто, потеряешь. Что удивит?.. Удивишься ты на собственных слезах. Ну, вот и все. Благодарить не надо, а то не исполнится. Ну, чего еще?

— Да я насчет ложки бы. Ложка у меня на душе! — тоскливо лепечет клиентка.

— Ложка? Так бы и говорила! Насчет ложки скажу я тебе, что оченно я это дело хорошо вижу, только не по картам — карты ложку не говорят, — а через воздух. И скажу я тебе прямо, что, кто ложку взял, до поры до времени не узнаешь, потому взял ее человек хитрый, и ни руки своей, ни ноги на месте том не оставил, чтобы никто, значит, его, вора, то есть, узнать не мог. Так вот, значит, и понимай, что взял твою ложку хитрый человек, на хитрого, значит, и думай, за хитрым, значит, и примечай! Кто следующий? Пожалуйте, чья очередь!

Прислуга, «на которую грешили», на цыпочках прошла через приемную, и все, затихнув, с благоговением смотрели на ее растерянное, покрытое красными пятнами лицо и на ее круглые, испуганные глаза, только что так дерзко заглянувшие в сокровенные тайны будущего.

— Пожалуйте, чья очередь!

Летний визит

Жарко. Душно. Парит.

Должно быть, будет гроза.

Глаза слипаются. Спать хочется.

Сидит передо мной дама, моя гостья, и тупо смотрит мне прямо в лоб. Глаза у нее белые, губы распущены, — видимо, тоже спать хочет до отчаяния.

Но ничего не поделаешь.

Она мне делает визит, а я этот визит принимаю. Нужно быть любезной хозяйкой, нужно сказать ей что-нибудь такое визитное. Но когда человеку хочется спать, он прежде всего забывает все визитные слова.

— Может быть, вы хотите чаю? — нашлась я наконец.

— Гм?

Белые глаза смотрят на меня с сонным удивлением.

Чего она удивляется? Ах да, она ведь именно чай-то и пьет.

Что бы ей такое сказать? Я же не виновата, что она уже пьет чай!

— Итак, куда же вы, собственно говоря, собираетесь на лето? — вдруг выдумала я.

Но это далось мне нелегко.

Даже жарко стало.

Она долго моргала, потом сказала:

— Гм?

Но уже не было сил повторить вопрос сначала. Да и, кроме того, она, наверное, прекрасно все слышала, а переспрашивает просто потому, что ей лень отвечать. А мне, подумаешь, не лень спрашивать. Какие, однако, люди, как приглядишься поближе, эгоисты!

Я смотрю на нее, она на меня.

Вдруг она делается совсем маленькой, чуть-чуть качается, на голове у нее вырастает красивый петушиный гребешок... Господи, да ведь я засыпаю!..

Спим, спим, мы обе спим!

Как быть?

— Точить ножи, ножницы, бритвы править! — дребезжит за окном.

Мы обе вздрагиваем, и обе так рады, что проснулись, что даже улыбаемся.

— Не хотите ли чаю? — оживленно спрашиваю я. — То есть, я хотела спросить, куда вы, собственно говоря, собираетесь на лето?

— У вас прелестный браслет, — отвечает она мне на оба вопроса сразу.

Господи! Хоть бы еще разок крикнул разносчик. А то опять глаза что-то заволакивает.

— Скажите, — собираю я последние силы, — не знаете ли вы случайно, сколько лет было этой... как ее? Когда она умерла? Этой... как ее... Па... Паповой?

Я хотела спросить про Варю Панину, а вышло почему-то Попова. Но поправляться мне было уже не под силу.

— Какой Поповой? — вдруг проснулась гостья. — Зина Попова жива!

— Ну, а все-таки, приблизительно? — не уступаю я.

Уж раз начала занимать гостью разговором, так не скоро сдамся.

— Она чудно пела! Все говорили. Голос, как у Цукки! Вы, может быть, хотите чаю?

— Я сама нахожу, что там сыро, но зато дачи довольно дешевые, — ответила она, и правый глаз у нее вдруг закрылся.

Господи! Да она засыпает! Что же мне у нее спросить?

— Послушайте, вы никогда не видали какую-нибудь такую шляпу, которую не носят, — забормотала она и закрыла второй глаз.

Спит! Спит бесповоротно!

И опять сделалась совсем маленькая.

Я привстала, как бы для того, чтобы подвинуть ей вазочку с конфектами, и подтолкнула гостью коленом.

Она вздрогнула и чуть-чуть вскрикнула спросонья. Мне стало совестно. Я села и помолчала немного.

Однако сознание, что я, как хозяйка, должна же что-нибудь у нее спрашивать, не давало мне покоя.

Но что же у нее спросить? Насчет чаю спрашивала, насчет дачи спрашивала. Я долго и мучительно придумывала. Только бы не заснуть! Только бы не заснуть прежде, чем придумаю.

В ушах звенит сладко, тихо. Вытянуть разве ноги. Можно кресло подставить, да лень, и так хорошо. Спят же люди в вагоне и при худших условиях... И куда это мы едем? Может быть, стоим на станции?.. Кондуктор! А кондуктор? Третий звонок был? Нужно купить пирожков...

Я вдруг просыпаюсь от острого сознания, что непременно должна что-то спросить у этой женщины, которая, свесив голову набок, сладко похрапывает на моем диване. Должна спросить, иначе все погибло.

Я хватаю ее за руку и диким голосом кричу:

— Как ваша фамилия?

Потом мы обе долго молча смотрит друг на друга, и по выражению ее лица я понимаю, какое у меня самой лицо.

Как хорошо, что все на свете проходит!

Письма

Я уж и не говорю о телеграфе и телефоне. Но почта — самая обыкновенная почта, которую вынимают из ящиков в 8 ч. утра, 9 ч. 20 м., 10 ч. и т. д., — разве это не величайшее счастье для человечества?!

Слово «разлука» все более теряет свою жестокую окраску, и скоро ее почти не будет.

Ведь мы и теперь узнаем мысли на расстоянии посредством писем, слышим голос в телефон, и, как говорят, не сегодня-завтра вновь изобретенный особый аппарат даст нам возможность передавать свое изображение на расстоянии.

Мы будем и слышать, и видеть того, кого нет с нами, и останется для нас только одна тоска — тоска о касании.

— Ты здесь?

— Здесь! — говорит знакомый голос и улыбается знакомое лицо.

— Дай мне твою руку!

— Нет, милый друг, это — единственное, чего, пожалуй, никогда не будет.

А пока что — будем благословлять почтовое ведомство, ценою одной семикопеечной марки передающее нам всю душу целиком, со всеми ее извивами и переливами.

Летом все мы разбредаемся в разные стороны, расстаемся со словами:

— Пишите!

— Пишите!

И начинаем писать.

Берем кусочек души, кладем его в конверт, лизнем, заклеим и бросим в пространство. И будет он лететь, пока не упадет в другую душу — открытую, ждущую.

Разве это не счастье?

* * *

Сергей Иванович Черников только что отобедал.

Все лицо его выражает одно впечатление — впечатление, полученное от ботвиньи с лососиной, которое не могли изгладить ни последующие цыплята, ни земляничный пирог — словом, ничто.

Сергей Иванович смотрит на жену, сестру и дочку-семилеточку и видит у всех то же выражение.

— А действительно, она была хороша! — машинально говорит он.

Слово «хороша» напоминает ему Веру Павловну.

— А не черкнуть ли ей пару словечек? А то осенью увидимся — начнутся попреки...

Он встал и пошел в свой кабинет.

— Не беспокойте меня до чаю! Мне нужно позаняться немножко.

Выловил мух из чернильницы и стал писать.

«Тверская губ., усадьба Черниковка. Любимая! Где ты?»

— Гм! Я, положим, знаю, что она в Павловске на даче, но ведь должна же она понять, что каждое письмо требует стиля!

«Любимая! Где ты?»

«Сейчас глухая ночь. Я один сижу на скале, слушаю глухой прибой волн...»

— Неудобно, что пишу-то из Тверской губернии! Ну, да куда ни шло!

«...прибой волн и спрашиваю у моря: «Море, где моя милая?» Но море молчит и глухо ревет».

— И действительно, не может же море ответить, что она, мол, в Павловске на даче Чебурякина! Так что выходит вполне естественно.

«...Если бы у меня — увы! — были крылья, я полетел бы к тебе, любимая!»

— Нет, это нехорошо! Это совсем неудачно! Выходит, будто у меня нет денег на железную дорогу!

Нет, так нельзя. Лучше так:

«Если бы у меня были крылья, я бы все время был с тобою...»

— Еще глупее. Точно канарейка! С крыльями и постоянно тут же. Нет. К черту крылья совсем.

«Дорогая! Я так тоскую, что буквально ничего не могу есть...»

— А ботвинья? — уколола вдруг совесть.

Но стиль после краткой борьбы победил ботвинью:

«...а ночью, когда мгновенный сон смежит мои усталые очи, я вижу только тебя, и громкие рыдания потрясают мой организм».

— Ну, кажется, ладно. Какого ей еще рожна?! Теперь можно и всхрапнуть до чаю.

* * *

Вера Павловна с утра была не в духе: тот самый лиф, который еше в прошлое воскресенье так хорошо сидел, сегодня ни за что не хотел застегнуться. Его крючки и петли, точно не желая иметь друг с другом ничего общего, никак не могли преодолеть маленького пространства в какие-нибудь два сантиметра на спине своей хозяйки.

— Ведь не могла же я за одну неделю так растолстеть! — дрожащими губами говорила Вера Павловна. — Неделю назад лиф так хорошо сидел. Верно, просто сел...

— Сидел, сидел, да и сел! — шутил веселый муж Веры Павловны. — Сидел, да и сел! Ха-ха-ха! Вот так чудеса с твоими платьями!

— Это подло с вашей стороны. Сам же виноват: сегодня подавай ему пироги, завтра — пирожки, — ни одна фигура не выдержит.

— А ты не ешь: кто тебя заставляет? Сиди да смотри, как я ем. Другие, может быть, за такое зрелище большие деньги бы заплатили. Ха-ха-ха!

— Я не могу не есть, когда все кругом едят! У меня душа чуткая!

Она ушла надутая и злая к себе в комнату, заперлась, вытащила из-под подушки письмо Черникова и несколько раз перечитала его.

— Н-да! Это действительно — любовь. Какого числа? Двадцать восьмого. А сегодня первое. Какое счастье, что существует почта, а то он там мучится, а я бы и не знала ничего. И за что он меня так любит?!

Она достала бумагу, попрыскала ее белым ирисом и стала писать:

«Твое письмо возродило меня к новой жизни, Сергей!

Я так измучилась! Ты знаешь, как странно, — ведь я тоже ничего не ем. Я так исхудала, что стала совсем прозрачная, и платье, скользнув, падает к моим ногам.

Вся жизнь моя сосредоточена теперь на одном только слове, и это слово — «Сергей Иванович Черников».

Пусть лицемеры забросают меня каменьями, но это так.

Милый! Любимый! Единственный! Не презирай меня! Я вся — один порыв к блаженству с тобой!

Твоя Птичка».

Вера Павловна вздохнула.

— Нет, действительно, я растолстела! Это прямо отчаяние! Я покончу с собой!

Потом перечитала письмо. Оно ей очень понравилось, особенно некоторые фразы, и, как хорошая хозяйка, она решила немедленно сервировать их еще раз.

— Напишу сейчас же Аркадию. Тем более что они с Черниковым даже и незнакомы, да и порядочные мужчины никогда не показывают друг другу письма любимой женщины.

«Аркадий! Любимый мой! Единственный! Твое письмо возродило меня к новой жизни.

Вся жизнь моя сосредоточена теперь на одном только слове, и это слово — «Аркадий Петрович Попов».

Пусть лицемеры забросают меня каменьями, но я вся — один порыв к блаженству с тобой!

Твоя Мышка».

— Это еще лучше вышло. Короче и сильнее.

Она торопливо лизнула оба конверта, запечатала и бросила в пространство кусочек своей души, и он полетел, пока не упал в другую душу, открытую, ждущую.

Загудели поезда, заработали усталые, закоптелые машинисты, выбежали с фонарями в руках невыспавшиеся стрелочники, захлопотали начальники станций, защелкал аппаратом изможденный телеграфист, побежали, спотыкаясь, замученные почтальоны, подхлестнули лошадей сонные ямщики.

— Почту везем! Гей! Дело срочное, не опоздать бы.

Гул, шум, треск, стоны, стоны, стоны...

Это летит душа Веры Павловны, которая «вся — порыв к блаженству» с Сергеем Ивановичем и отчасти с Аркадием Петровичем.

И разве можно сказать, что всех этих хлопот слишком много, чтобы обслуживать великую и могучую человеческую душу?

Какое счастье для всех нас, бедных, разлученных, что существует почта!

Коготок увяз

Супруги Шнурины только что переехали на новую квартиру.

Был вечер. Шнурины бродили по темным, заставленным мебелью комнатам, натыкались на столы, на стулья и друг на друга. Каждый держал по свечке в руке, и оба в своем бестолковом блуждании похожи были на отбившихся от процессии членов какой-нибудь мистической секты.

В передней постукивал и поскребывал проводивший электричество монтер.

— И чего он так долго возится! — волновался Шнурин, капая стеарином на пиджак. — Не могу я больше в потемках бродить. Вон и без того шишку на голове набил. Черт знает что!

— Чего же ты на меня кричишь? Ведь я же не виновата. Ты сам монтера позвал, — отвечала жена, капая на кресло.

В эту минуту вошел монтер.

— Проводка кончена, — сказал он. — Прикажете дать свет?

— Ну, конечно! — закричала Шнурина.

— Позволь, — остановил ее муж. — Ведь там висит пломба от общества. Мы не имеем права срывать ее самовольно.

— Пустяки-с, — ответил монтер. — Я срежу. Я то ждите еще два дня, покуда из общества пришлют.

— Конечно, пусть срежет. Уж он знает, что делает, — сказала Шнурина. — Ты вечно споришь!

Шнурин промолчал; монтер дал свет, получил по счету и ушел.

Шнурины гуляли по залитой огнями квартире, переставляли мебель и радовались.

Весело, когда светло!

Но в радости их было что-то тревожное, какой-то неприятный привкус.

— Скажи, Леля, — вдруг спросила жена, — ты не обратил внимания, что на этой пломбе было написано?

— Видел мельком. Что-то вроде того, что, кто самовольно ее снимет, тот ответит по всей строгости закона, и какая-то еще уголовная статья упомянута.

— Значит, это — преступление?

— Ну, еще бы!

— Так как же мы так легко на это пошли?

— Преступная натура. Отшлифовали воспитанием, ну а натура рано или поздно прорвется наружу.

— По-моему, это не мы виноваты, а монтер. Он нас научил.

— Так ведь ему-то от этого никакой выгоды нет.

— Все-таки он подозрительный. Выгоды нет, а учит. Верно, сам преступник, так ему досадно, что невинных увидел, ну и давай соблазнять. А где эта пломба?

— Не знаю. Он ее, верно, выбросил.

— А то мне пришло в голову, что ведь ее можно как-нибудь опять на место укрепить. Подделать печати...

— Покорно благодарю. Присоединить к краже еще и мошенничество. Крали электричество, взломали печать и потом еще мошенничали. Тут, милая моя, по самой снисходительной совокупности и то на десять лет каторги наберется.

— Господи! Что ты говоришь?

— Ну, конечно.

— Знаешь что? Я на суде скажу, что это он нам велел.

— Ну кто поверит такому вздору?

— Сочиню что-нибудь. Скажу, что он был в меня влюблен... и вот решил отомстить... Ну, словом, вывернусь.

— Как красиво клеветать на невинного человека, да еще такую грязную ерунду. По-моему, уж лучше поджечь стенку в передней и сказать, что вот, мол, начинался пожар, и пломба сгорела.

— А потом на суде выяснится, что сами подожгли, и нас все равно на каторгу.

— Какой ужас, какой ужас, какой ужас! А время идет! А лампы горят!

— Проклятый монтер — и чего он выскочил? Свинья! Только людей подводит!

— Подожди, не волнуйся, мы еще как-нибудь вывернемся.

Оба задумались. Сидели молча друг перед другом, освещенные ярким, краденым светом шестидесятисвечной люстры.

Шнурин посмотрел на жену пристально и тихо сказал:

— А знаешь, Маня, я не знал, что ты такая.

— Какая такая?

— Преступная. Не знал, что ты преступница по натуре. Смотри, вот за какие-нибудь полчаса открылось, что нет такого преступления, на которое ты не была бы способна. Началось с кражи, а потом коготок увяз, и пошло, и пошло. Клевета, мошенничество, поджог...

— Поджог ты выдумал. Сам хорош, а на других валишь.

— Ну, пусть. Пусть я. А все-таки благодаря монтеру я многое узнал.

— Убить бы этого монтера! — вдруг всхлипнула Шнурина. — Попадись он мне, я бы его зарезала и нож облизала!

— Видишь, видишь! Я бы не стал его резать. Я бы эту свинью задушил, как с-собаку!

— Леля, Леля! Какие мы несчастные!

Опять замолчали. Опять сидели, тихие, освещенные краденым огнем.

Потом она спросила тихо:

— А сколько в Сибири тысяч жителей?

А он ответил:

— Не знаю. Но скоро на две персоны больше будет.

Опять помолчали. Потом он сказал:

— И отчего мы такие преступные? Должно быть, вырождение или дурная наследственность. Скажи, Маня, откровенно: в вашей семье не было сумасшедших?

Она взглянула испуганно, даже вздрогнула.

— Нет!.. То есть да. Репетитор младшего брата сошел с ума.

— Вот видишь. Вот оно откуда. Наследственность — ужасное зло. Ты не виновата ни в чем. Ты и сама не знаешь, на что способна.

— А ты?

— Я тоже. На мне тоже проклятие рока. Наследственность. Дядя, брат моей матери, женился на Опенкиной, у которой отец за поджог судился.

— Ага! Видишь, поджог-то когда сказался! Как это все страшно!

Она вся съежилась, села рядом с мужем и прижалась к нему.

— Жалкие мы с тобой, — сказал он.

— Худо нам будет в Сибири, — снова всхлипнула она.

— Пустяки! Подбодрись, дурочка, чего там. С нашими-то талантами мы и там не пропадем. Отбудем каторгу, а там останемся на поселении. Я к какому-нибудь казенному подряду присосусь, деньжищ нагребу, — воровать-то ведь будет уж не впервой. Или игорный притончик открою.

— Я буду гостей завлекать, — бодро сказала жена и вытерла глаза.

— Ну, конечно. Не пропадем.

Она улыбнулась сквозь слезы, он тряхнул головой, и они пожали друг другу руки, готовые бодро вступить на новый путь.

А краденое электричество на шестидесятисвечной люстре подмигивало лукаво и весело.

Счастливая любовь

Наталья Михайловна проснулась и, не открывая глаз, вознесла к небу горячую молитву:

— Господи! Пусть сегодня будет скверная погода! Пусть идет дождь, ну хоть не весь день, а только от двух до четырех!

Потом она приоткрыла левый глаз, покосилась на окно и обиделась: молитва ее не была уважена. Небо было чисто, и солнце каталось по нему, как сыр в масле. Дождя не будет, и придется от двух до четырех болтаться по Летнему саду с Сергеем Ильичом.

Наталья Михайловна долго сидела на постели и горько думала. Думала о любви.

— Любовь — очень тяжелая штука! Вот сегодня, например, мне до зарезу нужно к портнихе, к дантисту и за шляпой. А я что делаю? Я бегу в Летний сад на свиданье. Конечно, можно притвориться, что заболела. Но ведь он такой безумный, он сейчас же прибежит узнавать, в чем дело, и засядет до вечера. Конечно, свидание с любимым человеком — это большое счастье, но нельзя же из-за счастья

оставаться без фулярового платья. Если ему это сказать, он, конечно, застрелится — хо! Он на это мастер! А я не хочу его смерти. Во-первых, потому что у меня с ним роман. Во-вторых, все-таки из всех, кто бывает у Лазуновых, он самый интересный...

К половине третьего она подходила к Летнему саду, и снова душа ее молилась тайно и горячо:

— Господи! Пусть будет так, что этот дурак пождал-пождал, обиделся и ушел! Я хоть к дантисту успела бы!..

— Здравствуйте, Наталья Михайловна!

Сергей Ильич догонял ее, смущенный и запыхавшийся.

— Как? Вы только что пришли? Вы опоздали? — рассердилась Наталья Михайловна.

— Господь с вами! Я уже больше часа здесь. Нарочно подстерегал вас у входа, чтобы как-нибудь не пропустить.

Вошли в сад.

Няньки, дети, гимназистки, золотушная травка, дырявые деревья.

— Надоел мне этот сад.

— Адски! — согласился Сергей Ильич и, слегка покраснев, прибавил:

— То есть, я хотел сказать, что отношусь к нему адски... симпатично, потому что обязан ему столькими счастливыми минутами!

Сели, помолчали.

— Вы сегодня неразговорчивы! — заметила Наталья Михайловна.

— Это оттого, что я адски счастлив, что вижу вас. Наташа, дорогая, ведь я тебя три дня не видел! Я думал, что я прямо не переживу этого!

— Милый! — шепнула Наталья Михайловна, думая про фуляр.

— Ты знаешь, ведь я нигде не был все эти три дня. Сидел дома, как бешеный, и все мечтал о тебе. Адски мечтал! Актриса Калинская навязала мне билет в театр, вот смотри, могу доказать, видишь билет, — я и то не пошел. Сидел дома! Не могу без тебя! Понимаешь? Это — прямо какое-то безумие!

— Покажи билет... А сегодня какое число? Двадцатое? А билет на двадцать первое. Значит, ты еще не пропустил свою Калинскую. Завтра пойдешь.

— Как, неужели на двадцать первое? А я и не посмотрел — вот тебе лучшее доказательство, как мне все безразлично.

— А где же ты видел эту Калинскую? Ведь ты же говоришь, что все время дома сидел?

— Гм... Я ее совсем не видел. Ну, вот, ей-богу, даже смешно. А билет, это она мне... по телефону. Адски звонила! Я уж под конец даже не подходил. Должна же она понять, что я не свободен. Все уже догадываются, что я влюблен. Вчера Марья Сергеевна говорит: «Отчего вы такой задумчивый?» И погрозила пальцем.

— А где же ты видел Марью Сергеевну?

— Марью Сергеевну? Да, знаешь, пришлось забежать на минутку по делу. Ровно пять минут просидел. Она удерживала и все такое. Но ты сама понимаешь, что без тебя мне там делать нечего. Весь вечер проскучал адски, даже ужинать не остался. К чему? За ужином генерал Пяткин стал рассказывать анекдот, а конец забыл. Хохотали до упаду. Я говорю: «Позвольте, генерал, я докончу». А Нина Павловна за него рассердилась. Вообще, масса забавного, я страшно хохотал. То есть, не я, а другие, потому что я ведь не оставался ужинать.

— Дорогой! — шепнула Наталья Михайловна, думая о прикладе, который закатит ей портниха. — Дорогой будет приклад. Самой купить, гораздо выйдет дешевле.

— Если бы ты знала, как я тебе адски верен! Третьего дня Верочка Лазунова зовет кататься с ней в моторе. Я говорю: «Вы, кажется, с ума сошли!». И представь себе, эта сумасшедшая чуть не вывалилась. На крутом повороте открыла дверь... Вообще, тоска ужасная... О чем ты задумалась? Наташа, дорогая! Ты ведь знаешь, что для меня никто не существует, кроме тебя! Клянусь! Даже смешно! Я ей прямо сказал: «Сударыня, помните, что это первый и последний раз».

— Кому сказал? Верочке? — очнулась Наталья Михайловна.

— Катерине Ивановне...

— Что? Ничего не понимаю!

— Ах, это так, ерунда. Она очень умная женщина. С ней иногда приятно поговорить о чем-нибудь серьезном, о политике, о космографии. Она, собственно говоря, недурна

собой, то есть, симпатична, только дура ужасная. Ну, и потом, все-таки старинное знакомство, неловко...

— А как ее фамилия?

— Тар... А, впрочем, нет, не Тар... Забыл фамилию. Да, по правде говоря, и не полюбопытствовал. Мало ли с кем встречаешься, не запоминать же все фамилии. У меня и без того адски много знакомых... Что ты так смотришь? Ты, кажется, думаешь, что я тебе изменяю? Дорогая моя! Мне прямо смешно! Да я и не видал ее... Я видел ее последний раз ровно два года назад, когда мы с тобой еще и знакомы не были. Глупенькая! Не мог же я предчувствовать, что встречу тебя. Хотя, конечно, предчувствия бывают. Я много раз говорил: «Я чувствую, что когда-нибудь адски полюблю». Вот и полюбил. Дай мне твою ручку.

— Как он любит меня! — умилилась Наталья Михайловна. — И к тому же у Лазуновых он, безусловно, самый интересный.

Она взглянула ему в глаза глубоко и страстно и сказала:

— Сережа! Мой Сережа! Ты и понять не можешь, как я люблю тебя! Как я истосковалась за эти дни! Все время я думала только о тебе. Среди всех этих хлопот суетной жизни одна яркая звезда — мысль о тебе. Знаешь, Сережа, сегодня утром, когда я проснулась, я даже глаз еще не успела открыть, как сразу почувствовала: сегодня я его увижу.

— Дорогая! — шепнул Сергей Ильич и, низко опустив голову, словно под тяжестью схлынувшего его счастья, посмотрел потихоньку на часы.

— Как бы я хотела поехать с тобой куда-нибудь вместе и не расставаться недели на две...

— Ну, зачем же так мрачно? Можно поехать на один день куда-нибудь — в Сестрорецк, что ли...

— Да, да, и все время быть вместе, не расставаться...

— Вот, например, в следующее воскресенье, если хочешь, можно поехать в Павловск, на музыку.

— И ты еще спрашиваешь, хочу ли я! Да я за это всем пожертвую, жизнь отдам! Поедем, дорогой мой, поедем! И все время будем вместе! Все время! Впрочем, ты говоришь — в следующее воскресенье, не знаю наверное, буду ли я свободна. Кажется, Малинина хотела, чтобы я у нее обедала. Вот тоска-то будет с этой дурой!

— Ну, что же делать, раз это нужно! Главное, что мы любим друг друга.

— Да... да, в этом радость. Счастливая любовь — это такая редкость. Который час?

— Половина четвертого.

— Боже мой! А меня ждут по делу. Проводи меня до извозчика. Какой ужас, что так приходится отрываться друг от друга... Я позвоню на днях по телефону.

— Я буду адски ждать! Любовь моя! Любовь моя!

Он долго смотрел ей вслед, пока обращенное к нему лицо ее не скрылось за поворотом. Смотрел как зачарованный, но уста его шептали совсем не соответствующие позе слова:

— «На днях позвоню». Знаем мы ваше «на днях». Конечно, завтра с утра трезвонить начнет! Вот связался на свою голову, а прогнать — наверное, повесится! Дура полосатая!

Белое боа

(Коротенький рассказ)

— Постой! Постой! Да подожди же одну минуточку! Я только хотела тебе сказать в двух словах, что случилось с моим белым боа. Подожди, — только два слова, я сама тороплюсь.

Помнишь ты мой синий костюм, который у меня был в прошлом году? Ну, какая ты, право, — вместе еще покупали на Моховой! Ты еще кричала, что зачем зеленый кант, что он совсем не выделяется. А знаешь, это было довольно глупо с твоей стороны уверять, что зеленый кант не выделяется. Все, что угодно, можно, по-моему, сказать про зеленый кант, но сказать, что он не выделяется, это уж, — воля твоя, как хочешь, а по-моему, глупо.

Да ты не сердись, чего ты сердишься? Знаешь древнерусскую пословицу: «Юпитер, ты сердишься, ergo ты не прав». Ну признайся, ну признайся, сделай милость, что с зеленым кантом ты села в лужу! Ведь села! Что уж там! Это в тебе чисто женское упрямство!

Ты и Катю Крышкину уверяла, что нельзя на черную шляпу розовое перо сажать. А потом, как увидела, сейчас же и себе такое навертела. Уж нечего, нечего!

Не понимаю, к чему отрицать, раз факт налицо. Сама напроказишь, а потом на других сваливаешь. Помнишь, с Павловском такая же была история. «Ни за что, ни за что! Там сыро, там скучно!» А потом засела, так до осени с места не сдвинуть было. Мне так хотелось на Иматру проехать — так ведь нет, ни за что. И очень глупо. Нужно всюду бывать, если хочешь чего-нибудь добиться. Знаешь пословицу: «Под лежачий камень и вода не бежит»? Понимаешь? Под лежачий не бежит, а бежит под такой камень, который везде бывает...

А все твое упрямство! Зачем, например, было приглашать Соскина? «Ах, аристократ! Ах, блондин!». Хорош аристократ! Уверяет, что «Пиковую даму» Чехов сочинил. А что блондин, так, по-моему, тем стыднее для него! Да! И все твое упрямство...

Что? Мне самой некогда! Я только хотела сказать тебе про белое боа. Ты воображаешь, что тебе одной некогда. У других, может быть, дела-то больше, чем у тебя.

Вот, например, утром я непременно должна была написать четыре письма. Че-ты-ре! И все деловые. Одно даже анонимное... Потом поговорить по телефону с портнихой, с парикмахером, с доктором, с Андреевой и с этим, как его... Кстати, какой болван этот парикмахер! Я ему заказала подкладку, а он мне изволил сделать накладку. А все твое упрямство! «У его жены такое честное лицо!». На одном лице, милая моя, далеко не уедешь.

Это мне напомнило Агафью. Простого борща сварить не умела, а когда я ее прогнала, так она меня же корила: «Я, барыня, такая честная, щепотки соли у вас не украла, а вы мне отказываете».

Я и говорю ей: «Это очень хорошо, милая моя, что вы честная. Я охотно пожму вам руку, но готовить обед приглашу другую бабу, может быть, стоящую неизмеримо ниже вас в моральном отношении, но зато умеющую варить суп». Ха-ха-ха! Вот потеха! А в сущности, все твое же упрямство.

Ах да, я хотела сказать тебе насчет белого боа.

Тоже была идея покупать белое боа! У тети Лизы было соболье боа, так она его двадцать лет носила. Поседела вся, а боа ничуть. Тетя Лиза вообще все страшно долго носит. Вот Уж, не обижайся, про тебя этого сказать нельзя! Ты если даже в первый раз платье наденешь, оно на тебе имеет такой вид, точно ты в нем три ночи проспала. Уверяю тебя!

А помнишь розовую шляпу? Ты ее прямо из магазина привезла, а я думала, что ты на нее села! Ха-ха-ха! Уж ты не обижайся. И знаешь, я давно хотела дать тебе совет. Если ты хочешь, чтобы шляпа... Подожди, не перебивай ты меня, ради Бога, — мне самой некогда, у меня каждая минута на счету. Мне сегодня нужно было че-ты-ре письма написать, и я ничего не успела. Нужно было телефонировать парикмахеру, Андреевой и этому, как его... и ничего не успела! Потому что ни минутки нет свободной.

Ты представить себе не можешь, до чего я занята!

Володя говорит: «Надо раньше вставать, тогда все успеешь». Очень хорошо! Великолепно! Ну, вот я встану в пять часов утра. Что, спрашивается, буду я делать в пять часов утра? Магазины все закрыты, знакомые все спят. Ведь это же абсурд! А все твое упрямство... Кроме того, нужно же считаться и с нервами. В хорошеньком виде будут у меня нервы, если я стану вставать в пять часов! Можно предъявлять всякие требования к человеку, но нельзя же требовать невозможного! Это — абсурд! Я, вообще, тебя не понимаю!

Зачем, например, тебя понесло в прошлый четверг к Погодиным? Ведь глупо! Ну, сознайся, что глупо! Нет, ты сознайся хоть раз! Кроме того, я хотела тебя попросить... подожди, куда же ты? Да мне самой некогда! Вот чудачка! Воображает, что она одна занятой человек! Я еще утром должна была написать че-ты-ре... Да подожди же, Господи! Я хотела только сказать, что мое белое боа... Ну, ушла, и черт с тобой! Ужасно, подумаешь, огорчила!

Сунься-ка другой раз с разговорами! Я тебя и слушать не стану.

У меня, милая моя, может быть, дела-то побольше, чем у тебя!

Ужасный характер!

Палагея

Из кухни долго неслись всхлипыванья, оханья и вздохи, которые, становясь все громче, перешли, наконец, в гнусавое бабье причитанье:

«И на ка-во-о ты-ы на-ас!..»

Тогда барыня встала, отложила газету, сняла пенсне и пошла в кухню.

На сундуке у окна сидела Палагея, закрыв голову передником, качалась из стороны в сторону и громко выла.

Барыня посмотрела, послушала — и все поняла: у Палагеи, очевидно, был в деревне незаконный ребенок, который умер.

— Палагея! — сказала барыня. — Прежде всего будьте благоразумны. Ваши вопли привлекут к себе внимание соседей, и вам самой же будет неприятно удовлетворять их праздное любопытство.

Палагея показала из-под передника один глаз, голубой с красными жилками, и сказала горько:

— А мне что! А по мне пущай все слышут! И был, и сплыл, и куда я теперь!

— Нехорошо роптать, Палагея! — строго остановила барыня. — Нужно покориться. Бог дал, Бог и взял!

— Бо-ог? — вдруг озлилась Палагея. — Какой же он Бог, коли он ни прачке, ни в мясную — никому не заплатил!

Барыня удивилась и от удивления даже надела пенсне.

— Что такое? Разве он был уже взрослый?

— Старый он был! Кабы не старый, я бы и не поверила! Ведь шутка сказать — восемнадцать рублев! Во-семнаадцать!

— Да о ком ты говоришь?

— Да про него же говорю, про генерала из пятого номеру. Дай, — говорит, — Полинька, взаймы. Я, — говорит, — тебе через месяц по телефону вышлю! А сегодня, — дворник говорит, — квартиру передал, а сам уехал. И на кого-о ты на-ас...

Барыня послушала, покачала головой и поехала к мадам Тузякиной, передовой женщине, посоветоваться насчет Палагеи.

Мадам Тузякина отнеслась к делу очень серьезно, с самой идейной стороны.

— Вы во многом виноваты! — сказала она Палагеиной барыне. — Вы привезли из деревни некультурную женщину и бросили ее в водоворот столичной жизни. Разве вы не сознаете, что на вас лежит обязанность развить ее? Она грамотная?

— Нет.

— Ну, вот видите! Купите ей азбуку, пошлите ее в театр, заставляйте ее рассказывать о своих впечатлениях. Это ваш долг.

Барыня купила азбуку.

— Вот, Палагея, завтра начнем систематически заниматься. Вам необходимо развить себя, иначе вы погибнете в водовороте столичной жизни. Вы были когда-нибудь в театре?

— Еще бы! На Рождестве Дарьин Микита водил.

— Ну, что же, понравилось вам?

— Ничего себе, пондравилось.

— Ну, и что же, хорошо там представляли?

— Очённо даже хорошо!

— А что же там представляли? Постарайтесь изложить последовательно.

— Да разное представляли. Кому пиво, кому закуску. Ну, а нам чай представляли с булками. Мне, ничего себе, понравилось, только Микита говорил, что должны сахару больше давать.

Барыня удивилась и надела пенсне, чтобы лучше понять, в чем дело.

— Палагея! Да вы, верно, просто в трактире были, а не в театре.

— Зачем я в трактир пойду? Я в трактире сроду не бывала. Как Микита обещал, что в киятер сведет и сорок копеек на билет взял, — значит, в киятер и повел.

Барыня подумала и сказала решительно:

— Знаете, Палагея, я лучше уж сегодня покажу вам буквы. К чему откладывать. Вот, видите, это «А». Поняли? «А». Повторите и запомните.

Палагея повторила, но не запомнила, и барыня, посоветовавшись с мадам Тузякиной, купила билет в драму.

— Вот, Пелагея, сегодня, вечером, я вас отвезу в театр. Назад дорогу сами найдете. Смотрите внимательно и вникайте. Это вас разовьет, и вы перестанете верить людям, которые говорят, что деньги можно прислать по телефону.

На другой день барыня отвезла Палагею в театр, научила, куда сесть и куда смотреть, а сама вызвала к себе домой мадам Тузякину. Та лучше сумеет порасспросить Палагею о вынесенном ею впечатлении.

— Первое эстетическое пробуждение души. Это так интересно, — говорили дамы, прихлебывая чай с малиновым вареньем.

Потом собрались поиграть в четыре руки, как вдруг раздался звонок с черного хода.

Барыня удивилась, надела пенсне и пошла открывать.

— Палагея! Что случилось? Почему вы вернулись? Ведь теперь еще только девять часов.

— Ничего не случилось, барыня, а только сегодня никакого представления не было.

— Как так? Что такое?

— Да так вот, не было. Не собрались они, что ли, эти самые-то, которые представляют, — не знаю. А только которые и были, так ничего не представляли. Просто сидели, а потом ихняя прислуга самовар подала — стали они чай пить, да промеж себя разговаривать, а на публику даже и не смотрят. Потом околоточный к ним пришел: говорил, что какая-то девушка весной утопилась, что ли. А они все эту девушку ругали, что нехорошая. Я-то с ней не знакома, может, они и врут А может, и правда, — кто их разберет, в чужое дело не сунешься. Кабы я эту девушку знала, я бы тоже поговорила, а так мне и скучно стало Ну, встала я и говорю прочим, которые поближе сидели, что, мол, вам если время есть, так сидите да ждите, может, они еше и надумают представлять, а у меня дома посуда немытая. Ну и пошла.

Барыня и мадам Тузякина повернулись друг к другу и долго смотрели, не мигая. Потом молча отвернулись и вышли на цыпочках из кухни.

Доброе дело старца Вендимиана

В прекрасной цветущей долине, теперь давно выжженной солнцем и засыпанной горячим песком пустыни, жил некогда благочестивый старец Вендимиан.

Жил он одиноко, как и полагается человеку, углубленному в мысли о спасении своей души, но так как, кроме своей собственной души, заботился он также и о душе ближнего, то и поставил тростниковый шалаш свой недалеко от селения, куда часто ходил, наблюдал за жизнью, помогал, сколько мог, советом и указаниями, склонял богатых не оставлять бедных, и все, что получал сам, раздавал неимущим.

Каждый вечер садился старец Вендимиан у порога своей хижины и, глядя, как медленно погружается солнце в закатно-алые пески пустыни, думал:

«Что сделаю я завтра для ближнего? Стар я и нищ, и нет у меня ни силы, ни денег, чтобы служить брату моему. Премудрая благость вечерняя, научи меня!»

И вот однажды вечером, возвращаясь через селение к себе домой, увидел старец на пороге многих домов выставленные сандалии.

Удивился старец и спросил прохожего:

— Скажи, брат мой, для чего сие, и не могу ли я что-нибудь сделать полезное для сего случая?

Прохожий отвечал с удивлением:

— Разве не помнишь ты, бестолковый старик, что завтра начинается Новый год, который будет продолжаться целый год, вплоть до следующего. Вот каждый, желающий для начала года порадоваться на чужой счет, и выставил свои сандалии в надежде, что прохожий положит в них хорошенький подарочек, и, если у тебя, старик, много денег, — сыпь хоть все: они не откажутся.

Прохожий засмеялся и пошел своей дорогой, а Вендимиан горько задумался

— Вот стоят здесь несколько десятков сандалий, и каждая просит у меня радости для господина своего. А что могу дать я, нищий и старый?!

И долго думал он, сидя на пороге тростниковой своей хижины, и, когда погасли закатно-алые пески пустыни, вспыхнуло лицо его радостью.

— Научила меня премудрая благость вечерняя! Вот поставлю я у дороги свои сандалии, и, если кто из прохожих опустит в них хотя бы самый ничтожный дар, я буду считать себя счастливым, потому что дать ближнему своему возможность сделать доброе дело есть поступок смиренномудрый и великодушный. Это как будто идем мы с ним рядом в царствие небесное, и вот у самых врат остановился я и сказал:

— Брат мой, входи первым!

И выставил свои сандалии старец Вендимиан у порога жилища и уснул умиленный.

Просыпаясь ночью, дважды слышал он шаги прохожих, и тихий говор, и шорох у дверей и радостно улыбался.

И, когда утреннее солнце закружевило тонким золотом тростниковые стенки, встал Вендимиан и, улыбаясь, перешагнул свой порог.

Сандалий на том месте, где он поставил, не было. Но он быстро нашел их. Одна висела на дереве, другая, перевернутая подошвой вверх, валялась на дороге.

В той, что висела, оказалась дохлая полевая мышь. А в той, что валялась, ничего не было, если не считать, что кто-то плюнул в нее.

Понурив голову, понес старец в свою хижину дары ближнего и тихо, без пищи и движения, просидел до вечера.

— Что сделал я? — думал он. — Не искусил ли брата своего на грубый поступок?

А вечером, сидя на пороге хижины и глядя, как медленно погружается солнце в закатно-алые пески пустыни, он уже чувствовал в душе вечернюю тихость и думал, улыбаясь: «Почему огорчился я? Судьба так разнообразна в своей щедрости, что вместо одного счастья дала мне другое. Чего желал я? Я желал дать брату моему возможность сделать доброе дело и тем подарить ему радость праздничную. И вот один подсунул мне дохлую мышь, а другой плюнул в сандалию. Но разве оба они не побежали потом домой, смеясь при мысли, как утром огорчусь я? Разве не подпрыгивали они, веселясь и ликуя, что смогли обидеть меня? И не должен ли я, слабый и нищий старик, быть бесконечно счастливым, что мог подарить брату своему хотя минуту светлой радости на его печальном жизненном пути?»

Так думал благочестивый старец, и, когда упало солнце в злато-пурпуровое ложе свое, и, побледнев, погасли алые пески, встал Вендимиан, спокойный и радостный, и, воздев руки, благословил вселенную.

Крестины

Выработали программу, назначили гонорары, составили приблизительно первый номер, поздравили друг друга с основанием нового журнала, попили чаю с бутербродами и уже собирались разойтись по домам, как вдруг издатель спросил:

— Да, а как же насчет названия?

Все переглянулись.

— Как мы окрестим наш журнал? — повторил издатель.

Редактор почесал карандашом в бороде, но это не помогло.

Тогда он тем же карандашом почесал левую бровь, но и это тоже не помогло.

Он вздохнул и сказал:

— Название — это пустяки. Название мы живо придумаем.

Издатель посмотрел на него пристально.

— Я вполне уверен, что вы придумаете хорошее название, но прошу вас об одном, только об одном, понимаете, — чтобы название это не касалось никаких явлений природы. На явления природы я не согласен. В особенности я против солнца. Чтобы даже самого легкого намека на солнце не сквозило. И без звезд.

— Ну, разумеется! — согласился редактор и, повернувшись к секретарю, прибавил:

— Вот Иван Сергеевич нам поможет. Он — человек молодой, фантазии не занимать стать.

Польщенный секретарь приятно покраснел:

— Да, это, конечно, дело нетрудное… Я вам к завтрашнему утру представлю на выбор названий сто, полтораста.

— Достаточно и пятидесяти, — сказал издатель.

Но редактор поощрил рвение:

— Ничего, пусть старается. А я со своей стороны кое-что придумаю.

Разошлись.

Секретарь, вернувшись домой, заперся у себя в кабинете.

«Название... гм... — думал он. — И непременно чтобы без явлений природы... Гм... А если назвать «Восход»? И красиво, и идейно. Запишу «Восход»... Стоп! Восход-то чего — солнца? Н-да. Досадно! А если восход луны? Впрочем, и луну нельзя: тоже природа. А если человек на гору лезет? Разве это не восход? Так и назвать: «Восход человека». Ну и глупо. Очень глупо».

Он вздохнул, потер лоб:

— Какие еще такие названия бывают? Ну, скажем — «Звездочка»... Гм... нельзя... «Луч»? Ах да, опять. «Гроза». Чудесно. «Гроза»... Ах да, явление природы. Что же это такое, наконец? Неужели же я ничего, кроме природы, не знаю? Нечего сказать! Интеллигентный человек! Культурная бестия!

Он горько усмехнулся.

— Однако всё-таки придумывать-то надо. Гм... «Солнце Жизни»... Опять! «Луч Правды»... Гм... «Под Солнцем»... Господи! Да так с ума сойти можно!

Он приоткрыл двери и робко позвал:

— Маня! Манек! На минуточку!

— И-ду-у-у!

И Манек, секретарева жена, напевая фальшивым голоском «матчиш», прибежала на зов.

— Ну что? Кончил свои дела? Теперь можно поцеловать за ухом?

Но он был сух и официален.

— Подожди! Прежде всего, садись и слушай.

Манек притихла, села и выпучила глаза.

— Слушай. Как тебе уже должно быть известно, мы издаем журнал, приступаем к журналу, и вот на меня возложена миссия придумать журналу название. Но у меня — ты сама знаешь — такая масса дел, а название придумать — сама знаешь — сущие пустяки. Так вот я хотел, чтобы ты придумала.

— Я? Для журнала? Изволь. Назови «Звезда». По-моему, чудесно: «Звезда»!

— Нельзя! — устало сказал секретарь. — Нельзя никакую природу.

— Нельзя природу? Так бы и говорил. Тогда назови... назови «Большая Медведица». По крайней мере, оригинально.

— Нельзя никаких звезд!

— Ах да! Ну, в таком случае назови... назови «Сириус».

— А Сириус, по-твоему, что? Собака?

Манек обиделась:

— Какой ты грубый! Незачем было меня звать, если ты намерен издеваться.

Секретарь извинился. Он был очень расстроен.

— Подожди, Манек. Давай сосредоточимся. Зачем же непременно лезть на небо? Ведь есть же предметы и на земле. Например... например...

— Булка! — печально подсказала Манек.

— Булка? Ну, ведь сама же понимаешь, что булка не годится. Неужели же ничего нет на земле, кроме булки? Ну, подумай хорошенько.

— Компресс.

— Что?

— Я не могу думать, когда ты такой бешеный. Думай сам. Я тебе не кухарка!

— Ради Бога, не сердись! Манек, дорогая, как же быть?

— Подожди! Я придумала! Позвоним Жене. Она всегда в деревне всем лошадям имена придумывала. Так она живо! Вот увидишь.

— Ну, звони.

— 110—02! Женя, ты? Голубчик, выручи! Придумай скорее название для журнала, только без сил природы. А?

— Что она говорит? — взволновался секретарь.

— Она говорит: «Звездочка».

— О, Господи!

— Она говорит: «Луч»!

— С ума сойду! С ума сссойду!

— Она говорит: «Заря».

— Дай отбой! Дай отбой! Уф!

Сели, надулись, отвернулись в разные стороны.

— Не надо было беспокоить Женечку, если тебе ничем нельзя угодить!

— Боже мой! Боже мой! — стонал секретарь. — А время все идет и идет.

— А что, если назвать «Зарница»?

— Гм... пошловато. Но все-таки хоть одно придумали. Запишу: №1 — «Зарница».

— Видишь, ты все бранишь меня, а я же и придумала. Небось сам не мог!

— Ну, нечего, нечего! Велика важность — одно название придумала, а я обещал полтораста.

— Ну, теперь уж легче пойдет. Лиха беда — начало.

— Ну?

— Да что ты все понукаешь! Я тебе не лошадь. Выдумывай сам — теперь твоя очередь.

— Легко сказать... Гм... Какие предметы бывают на земле?.. Булка...

— Я уже говорила булку.

— Подожди, не перебивай! Булка... гроб... чулки... Тьфу! Ничто не годится! А редактор, наверное, за это время сотню придумал.

— Уж и сотню! Спроси у него по телефону.

Секретарь позвонил.

— Это вы, Андрей Петрович? Виноват, я только хотел спросить, как у вас насчет названий? Я уже придумал несколько, но до полутораста еще далеко. Может быть, у вас что-нибудь есть.

— Гм... да-м... — загудел в ответ сконфуженный бас. — У меня, конечно, есть, кое-что надумано...

— Много?

— Гм... да-м... порядочно... То есть, по правде сказать, одно.

— А какое? Не секрет?

— Извольте. Несколько, положим, экзотическое, да ведь я и не настаиваю: «Солнечное Сияние».

Сердце секретаря сжалось завистью, но вдруг он воспрянул:

— Андрей Петрович! — закричал он радостно. — Да ведь это же нельзя! Ведь это же про солнце!

Трубка около секретарского уха долго, тяжело сопела и, наконец, передала фразу:

— Н-да, пожалуй, вы и правы. Да мне, знаете ли, некогда было. Ну, а у вас что? Прочтите ваши.

— У меня не особенно много... то есть довольно мало... у меня одно.

— Негусто. Но зато, может быть, хорошее.

— «Зарница»!

— Что?

— У меня «Зарница». «Зарница»!

— Скажи, что я придумала, — запищала жена. — Рад чужими лаврами!

— Подожди, не мешай! Здесь серьезно, а она... Андрей Петрович! Вы слышите? «Зарница»!

Трубка гулко ухнула, вздохнула.

— Слышу, дорогой мой! И очень горюю. «Зарница» есть тоже явление природы.

Секретарь выронил трубку и посмотрел на жену с тоскою и ужасом.

Но Манек выбежала, хлопнув дверью, и уже из гостиной закричала тонко и звонко:

— Подлый хвастун! Чужими лаврами!

Инкогнито

Кондуктора долго-культяпинской железной дороги окончательно зазнались.

Об этом печальном факте свидетельствовали все жалобные книги всех вагонов третьего класса, многочисленные протоколы и бесчисленные письма пассажиров.

Выходило, что, обращаясь вежливо с публикой первого и второго классов, кондуктора властвовали в третьем классе столь дерзновенно и жестоко, что вынести их обращение не было никакой возможности.

«А кондуктор всю дорогу от Цветкова до Культяпина оскорблял и меня, и весь мой багаж невыносимо», — жаловалась старуха помещица.

«Билеты прощелкивает с столь вызывающим видом, коего нельзя допустить и в цензурных словах описать невозможно», — доносил другой пассажир.

«Кондуктор ваш лается, как лиловый пес», — просто и ясно излагал третий.

Все эти жалобы встревожили наконец управляющего дорогой.

— Нужно принять меры. Нужно обуздать их как-нибудь. Самое лучшее — проехать самому инкогнито в третьем классе и поймать их с поличным, — заявил он на заседании.

— Нет, ваше превосходительство, это не годится, — возразил управляющему умный человек. — Все кондуктора так изучили вашу наружность, что моментально узнают вас, как вы ни переодевайтесь, хоть в женское платье.

— Так как же быть?

— Да очень просто: послать кого-нибудь из служащих, выбрать позахудалее.

— Вот у меня в канцелярии есть одна такая крыса — Овсяткин. Такой, какой-то от природы общипанный, что посади его в первый класс, так и то видно, что он должен ехать в третьем. Уж такая у него от Бога третьеклассная наружность.

— Ну, что ж, можно его командировать. Купить ему билет и пусть проедет инкогнито по всей линии.

* * *

— Пришила новые пуговицы к пальто? — спрашивал Овсяткин у своей перепуганной жены.

— Приш-шишила, Кузьма Петрович. Как вы сказали, так в един дух и пришила.

— То-то «пришишила»! Ты должна понимать! На меня возлагается ответственнейшее поручение высочайшей важности. Я, служащий долго-культяпинской железной дороги, имеющий даровой билет второго класса, еду ин-ког-нито, как самый простой смертный, в третьем классе. Сам начальник сказал мне: «Вы поедете ин-ког-нито». Следовательно, как я должен себя держать? С достоинством. Вот как человек, имеющий даровой билет, едет по собственной железной дороге, как Гарун аль-Рашид, в третьем классе. Понимаешь? Если не можешь понять, то хоть чувствуй.

Он надушился одеколоном «Венецианская лилия» и отправился на вокзал.

— Эт-то что-о? — спросил он кондуктора, указывая на лесенку вагона.

— Ступенька, — удивился кондуктор.

— Ступенька-а? — переспросил Овсяткин, зловеще прищуривая один глаз. — А почему же на ступеньке арбузная корка? Может быть, для того, чтобы пассажиры ломали себе ноги, а дорога потом плати? Вы этого добиваетесь? А? Добиваетесь разорения долго-культяпинской железной дороги? А?

Кондуктор совсем уж было собрался выругаться, но посмотрел на величественную осанку Овсяткина и осекся.

Овсяткин полез в вагон.

— Это еще что за фря? — спросил кондуктор у товарища.

— Может, и просто с винтом, а может, в ем личность какая-нибудь. Надо пойти взглянуть.

Овсяткин сидел на скамейке в позе распекающего генерала. Ноги вывертом, руками уперся в колени, губу выпятил.

— Та-ак-с! Хорошо-с! Очень хорошо-с! Даже чрезвычайно хорошо-с! — ядовито и надменно говорил он сам себе. — Вы думаете, я не замечаю? Я очень даже хорошо все замечаю.

Кондуктор подтолкнул товарища локтем в бок.

— Слышишь?

— Слышу.

— С чего бы это он так?

— Я ж тебе говорю, что в ем личность, не нажить бы беды. Держи ухо востро.

— Позвольте ваш билет, господин!

Овсяткин прищурился и посмотрел на кондуктора испытующе.

— Мой билет? Вам нужен мой билет? Извольте-с. Вот-с. Представляю вам билет третьего класса, специально для меня купленный. Не беспокойтесь, все в порядке. Ха-ха!

От этого смеха, короткого и сухого, как щелканье взводимого курка, оба кондуктора вздрогнули и слегка попятились.

— Вам, может быть, от окошечка дует, — вдруг весь забеспокоился один.

И не успел он закончить фразы, как другой уже потянулся закрывать.

— Не-ет-с! Окошко тут ни при чем! — зловеще торжествовал Овсяткин. — Ни при чем! «И не в шитье была тут сила». Да-с!

Кондуктора вышли на площадку.

— Слышал?

— Да, уж что тут. Дело дрянь. Я сразу заметил, что за цапля едет.

— Пронеси, ты, Господи!

— А я еще, как на грех, рядом с ним мужика посадил. Личность необразованная, — сидит, воблу жует. Бе-еда!

А Овсяткин ехал в позе распекающего генерала и думал:

— Жил-жил и дожил. Служил-служил и дослужился. Секрет-нейшее предписание высочайшей важности! Н-да-с! Ин-ког-нито! Я им покажу! Я их подтяну! Будут знать! Попомнят! Кондуктор!

— Чего прикажете, ваше высокобла...

— Отчего там четверо сидят, а тут пустая скамейка? А? Я тебя спрашиваю, — отчего? А?

— Виноват-с, это они сами так пожелали-с. Народ, значит, семейный, так целым гнездом и едут-с!

— Гне-здо-ом? Вот я вам покажу гнездо. Будете знать!

— Ну и штучка! — шептались кондуктора, стоя на площадке. — И кто бы это такой был?

— Може, управляющий?

— Нет, какой там. У управляющего лицо величественное, в роде редьки. А этот — мочалка — не мочалка, шут его знает.

Овсяткин щурил глаза, перекидывал ногу на ногу, саркастически обнажал с левой стороны рта длинный коричневый зуб, ежеминутно подзывал кондуктора, сначала предлагая ему грозные вопросы, потом просто мычал:

— Кондуктор! Эт-то у вас что, мм... Ну, можете идти.

Кондуктора с ног сбились. Лица у них стали растерянные, лбы вспотели.

— Ваше высокопревосходительство! Разрешите перейти, то есть, вашей личности в первый класс! — взмолились они. — Там как раз для вашей милости отдельное купе приготовлено.

Овсяткин усмехнулся не без приятности и разрешил.

— Ревизия моего инког-нито дала благоприятный результат, — думал он, укладываясь спать на бархатном диване отдельного купе первого класса. — Кондуктора нашей дороги — народ смышленый и, безусловно, благовоспитанный. Это безусловно. Воспитание они получили.

А кондуктора крестились на площадке и облегченно вздыхали.

— Кажется, пронесло!

— Я же тебе говорил, что в ем личность.

— А мужичонка, что рядом с ним сидел, бунтует. Я, говорит, тоже хочу в купу.

— Дать ему хорошего раза в зубы, так расхочет.

Второй кондуктор лениво почесал за ухом, подумал, и чувство долга взяло верх.

— Лень чего-то. Ну, да уж все равно — пойду дам.

Оттоманка

Как бы вы ни были счастливы вашей квартирной обстановкой, это счастье недолговечно.

Оно только до весны.

Уже летом при воспоминании о вашей столовой, или гостиной, или кабинете вас начинает смущать неясная, но неприятная тревога.

К осени тревога усиливается и по возвращении из летней поездки выливается в определенную, безысходно зловещую форму: надо купить новую мебель.

Это не значит, что вам непременно нужно купить всю мебель. Нет. Не всегда дело обстоит так мрачно. Иногда запросы вашей души можно утолить одной оттоманкой или креслом-качалкой.

Но и это не пустяки.

Купить оттоманку совсем не то, что купить каменный дом или доходное имение. И дом, и имение покупаются просто, способом сухим, деловым и прозаическим.

Приносят планы, объявляют цену, производят осмотр, платят деньги, совершают купчую, вводятся во владение — и вся недолга.

С оттоманкой дело не так просто.

Прежде всего, выискиваете вы подходящее объявление в газете. Вырезаете и дня три носите его в бумажнике. Потом оно пропадает.

А утром в намеченный для покупки день вы встаете пораньше, моетесь и пьете чай с особенным, деловым видом, в котором все окружающие должны чувствовать укор своей лености, и просите не лезть с пустяками к человеку, которому и без того дел по горло.

Затем идете в комнату, куда намереваетесь поставить будущую оттоманку, и начинаете соображать, поместится она между дверью и шкапом или не поместится.

— Надо смерить аршином, — советуют близкие.

Но у какого порядочного человека найдется в доме аршин? Аршин если и появляется в силу крайней необходимости, то существует, во всяком случае, недолго и гибнет, едва успев выполнить свою прямую функцию. Затем им выгоняют залезшую под диван кошку, достают закатившуюся под комод катушку, а потом ему капут. Он сам куда-то заваливается и пропадает бесследно.

Но существование его чувствуется где-то поблизости и препятствует покупке нового аршина.

— Зачем покупать? Ведь есть же где-то старый!

И тогда начинают подлежащее измерению пространство мерить шагами, руками, пальцами и просто взорами.

— Итак, мне нужна оттоманка в два шага.

— В четыре! — поправляет близкое существо, у которого шаг меньше.

— В два шага, в шесть рук.

— В четыре шага, в тринадцать рук.

— Ты вечно споришь!

Тут разговор переходит на личную почву и интересовать нас, посторонних лиц, не может, потому что оттоманка играет в нем только косвенную роль.

Смерив таким образом предназначенное для оттоманки место и выяснив, что она, может быть, поместится, а, может быть, нет, вы начинаете искать вырезку с адресом магазина.

— Черт возьми! Ведь положил же я ее в бумажник! Куда же она запропастилась!

— Ты, верно, отдал ее кому-нибудь вместо трехрублевки, — говорит близкое существо.

И разговор снова принимает интимную окраску. Когда, наконец, интимная окраска с разговора сползает, и беседующие успокаиваются, посылают за газетой и ищут новых объявлений.

— Нет, уж это все не то! Там было именно то, что нужно. И синего цвета, и крайне дешево, и дивной работы. Все, что нужно. Так верно описано, что прямо как живая. А это уж все не то!

Вырезав более или менее подходящие объявления, вы едете в ближайший склад мебели.

Входите.

Перед вами узкий коридор, образуемый шкапами и буфетами. Вы долго стоите один, озираетесь и то тут, то там встречаете растерянный взгляд собственного изображения в заставленных мебелью зеркалах.

И только что мелькнет в вашей голове лукавая мысль: стянуть бы этот буфет да удрать, как из самого неожиданного места, из-под какой-нибудь кушетки, между тумбой и умывальником, где, казалось бы, не могло найтись места даже порядочной кошке, вдруг вылезает прямо на вас мебельный приказчик.

Вылезет, остановится, выпучит глаза и зашевелит усами, как испуганный таракан.

— Чего угодно?

— Оттоманку.

— Какую прикажете?

— Плюшевую.

— Плюшевую? А какого цвета?

— Синюю.

— Нет-с, синей не найдется.

— Ну так зеленую.

— Зеленой, извините, тоже не найдется.

— Ну так какие же у вас есть?

— У нас плюшевых вообще нет.

— Так чего же вы про цвет спрашиваете? Ну давайте ковровую.

— А какого цвета прикажете?

— Синюю.

— Виноват-с, синей тоже нет.

— А зеленая?

— И зеленой нет-с.

— Ну покажите, что есть.

— Оттоманок, виноват, вообще нету.

— Так чего же вы публикуете?

— Да они у нас были-с. Сегодня утром были-с. Пятьсот штук. Один господин пришли и все для своей квартиры купили. Все пятьсот штук.

Вы смотрите на приказчика.

Он опускает глаза и, видимо, страдает. Но у него сильная воля, и вместо того, чтобы разрыдаться у вас на плече, он тихо, но отчетливо прибавляет:

— У них обширная квартира.

В эту минуту что-то вдруг начинает мелькать, двигаться. Несколько пар глаз испуганно и растерянно устремляются на вас. Это вошел новый покупатель и отразил лицо свое во всех прямых, кривых и косых зеркалах.

Воспрянувший приказчик мгновенно бросает вас и кидается к новому пришельцу.

— Вам чего угодно-с?

— А мне нужно тот кабинет, что я у вас смотрел, только больше трехсот я вам не дам. Моя фамилия Гугельман.

— Господин Гугельман! — вопит приказчик. — Верьте совести — не могу! Верьте совести, господин Гугельман.

Но господин Гугельман совести не верит.

Тогда из самых неожиданных мест — из-под комода, кровати и дивана — вылезают союзные силы — новые приказчики.

— Господин Гугельман! — вопят они. — Войдите в положение! Кабинет на шестьдесят персон! Весь на волосе! Господин Гугельман! Ведь мы вам не смеем мочалу предложить. Вы привыкли сидеть на волосе.

Но господин Гугельман поворачивается и медленно начинает уходить. Приказчики с воплями — за ним. Когда господин Гугельман приостанавливается и поворачивает голову, вопли делаются сильнее, и в них слышатся звуки нарождающейся надежды. Когда господин Гугельман прибавляет шагу, вопли гаснут и превращаются в унылый стон.

Процессия поворачивает за платяной шкап и исчезает из глаз.

Вы остаетесь одни и хотя знаете, что ждать нечего, словно окованный странными чарами, уйти не можете.

Вот возвращаются приказчики.

Они идут понуро, истощенные, слегка высунув языки, как собаки, которые отлаяли.

Они смотрят на вас растерянно и не сразу понимают, в чем дело.

— Чего угодно-с?

— Мне оттоманку.

— Какую прикажете?

— Синюю плюшевую.

— Синей-с не имеем. Может быть, можно другого цвета?

— Ну так зеленую.

Вы не верите ни во что. Ни в синюю, ни в зеленую, ни вообще в какую бы то ни было, но человек с выпученными глазами и отлаявшим ртом гипнотизирует вас, и вы не можете уйти.

— Зеленой нету-с.

— Так какая же есть?

— Виноват, никакой-с. Может быть, чем-нибудь замените? Имеем роскошные комоды, умывальники чистейшей воды...

И беседа налаживается снова, прочная, долгая и безысходная...

* * *

Вернувшись домой поздно вечером, вы скажете перепуганной вашим видом родне, что оттоманок ни синих, ни зеленых, ни плюшевых, ни вообще на свете не бывает и не было, и попросите никогда не произносить перед вами этого бессмысленного и неприятного слова.

На даче

Полдень.

Все мамы заняты серьезными делами.

Надина и Варина мама бранит кухарку.

Петина мама штопает Петины штаны.

Катина мама отдыхает.

Сережина и Олина мама завивается.

Дети собрались на междудачном дворике у забора палисадника и чинно беседуют.

Надя рвет что-то с куста и, сморщившись, жует.

— Ты это что ешь? — спрашивает Оля.

— Черную смородину ем.

— Черную?

— Ну да, черную.

— Так отчего же она красная?

— Оттого что зеленая.

Помолчали.

— Зеленый цвет ядовитый, — сказал Петя и сделал умное лицо. — Один мышь наелся зеленого цвету и раньше времени помер.

— Я мышев боюсь! — ежится Оля.

— А я ничего не боюсь! — хвастает Петя. — Прежде, когда маленький был, боялся, а теперь ровно ничего не боюсь. Ни покойников, ничего.

— А тебе сколько лет?

— Мне? Шесть лет, десятый.

Все долго с уважением смотрят на Петю.

Но Сережа, как мужчина, не может не позавидовать доблести товарища. Он хочет побороться с ним:

— А у нас в прошлом годе жил на даче один мальчик, так ему было сорок лет. Даже больше — сорок десять.

— Сорок десять не бывает, — говорит Надя. — Сорок пять бывает.

— Нет, бывает! Очень даже бывает.

— Нет, не бывает!

— Нет, бывает!

— Нет, не бывает!

— Ду-ура!

Надя срывается с места и бежит к обидчику с поднятым кулаком, но в это время из калитки выходят два гуся, вытягивают шеи, озираются с оскорбленным недоумением и, медленно переваливаясь, идут в сарай.

— Какие большие гуси! — с почтением шепчет Варя. — Сколько им лет?

— Это еще молодые, — деловито хмурит брови Сережа. — Лет по двадцать.

— А у нас сегодня Катя осрамилась, — рассказывает Надя. — Пошла на балкон в одной юбке, а там гуси гуляют.

— Она еще маленькая, не понимает про неприличное, — заступается Оля.

— А к нам скоро Митя приедет, — рассказывает Петя. — Он большой. В корпусе учится на генерала. Будет генералом — он вас тут всех подтянет! Го! Го! Он как поедет на лошади, так будешь знать! Он тебе покажет!

Девочки притихли. Сережа покраснел, посопел носом.

— Мне все равно! Я сам генералом буду. Пожарным. Это, небось, получше, чем простой генерал. Пожарным даже жениться нельзя.

— Мо-ожно!

— Нет, нельзя!

— А я тебе говорю, что можно!

— Ну и дурак!

— Сам болван!

— Няня, они дерутся! — кричит Оля в сторону дачи.

Но из дачи никто не выходит, и разговор продолжается.

— Папа на автомобиле катался, — рассказывает Петя. — Очень скоро. Пятнадцать верст в час.

— Это что! — не уступает Сережа. — А вот бывают такие лошади — иноходцы называются — так те бегают ух как скоро. Ни за что не догонишь! Я умею ездить верхом, а ты нет.

— А когда же ты ездил верхом?

— Да уж ездил, тебя не спросил.

— И никогда ты не ездил.

— И не ездил, да умею, а ты не умеешь!

— А Катина мама умеет на пароходе ездить, — говорит Оля. — Ей-богу!

— Врет она все!

— Нет, вот тебе крест, ей-богу!

— Не надо божиться, — делает Надя бабье лицо. — Божиться — грех. Бог накажет.

— А я раз черта видел, — говорит Петя.

— Врешь! — решает Сережа.

— Нет, видел.

— Ну так какой же он?

— Как какой? Известно, какой — противный.

— А что же он, летает?

Петя молчит минуту, чувствуя какой-то подвох, потом деликатно меняет тему разговора:

— Я никогда не буду жениться. Нынче приданого-то не дают.

— А няниной Поле стеганое одеяло дали! — говорит Сережа. — Вот бы мне стеганое одеяло!

— А я буду акробатом. Вот так! Вот так!

Петя ложится животом на забор и болтает ногами.

— Петька! Петька-а! — кричит голос из окна. — Опять штаны рвать! Слезешь ты мне или нет?! Этакий скверный мальчишка!

Петя слезает смущенный, но делает вид, что все это — сущие пустяки.

Остальная компания тоже сконфужена за него.

Надя опять рвет что-то с куста и, сморщившись, жует и сплевывает.

— Ты что ешь? — спрашивает Оля.

— Черную смородину.

— А отчего она красная?

— Оттого что зеленая

— Теперь я буду есть, а ты спрашивай.

Начиналась новая игра.

— А когда я буду генералом... — сказал Сережа.

Мальчики обнялись и зашагали, толкуя о своих генеральских делах.

Митенька

Митенька проснулся и очень удивился: вместо веселой, голубенькой стенки своей детской он увидал серую суконку с гвоздиками. Суконка чуть-чуть шевелилась, глухо пристукивала, и Митенька от этого сам немножко потряхивался.

— Зареветь, или, уж так и быть, не реветь? — призадумался он на одну минутку и вдруг понял, что с ним происходит

самое любимое и самое радостное: он едет по железной дороге.

Понял, брыкнул ногами и свесил голову вниз. Ух, как высоко. А внизу люди живут, с корзинками, с чемоданами.

— Мама! Вставай! Приехали в Вержболово! Эка какая лентюшка, все проспишь. Так, братец мой, нельзя!

Мама подошла, совсем маленькая — одна голова видна.

— Чего ты вскочил? Спал бы еще. Рано.

Митенька покрутил круглым, веснушчатым носиком.

— Нет, братец ты мой. Мне работать пора. Подай-ка сюда моих солдат.

Мама дала ему коробочку. Солдаты были хорошие, крупные, все как на подбор. У одного был отломан кусок сабли, но это значило только, что он храбрее всех.

Началось строевое ученье.

Митенька знал только одну команду: «Напле-чо!» Но и с этими небольшими познаниями, если применять их толково и умеючи, можно достигнуть великолепных результатов.

— Напле-чо! — рычал Митенька басом и, нахмурив те места, где у взрослых бывают брови, сажал солдата к себе на плечо.

— Ну, иди, воин, одеваться пора.

Митеньку сняли с верхней скамейки и стали одевать. Внизу, кроме мамы, оказались две дамы, которые притворялись, будто им решительно все равно, что они едут по железной дороге. Одна читала книжку, другая зевала.

Мимо окошка пробежал длинный товарный поезд, а они даже головы не повернули. Вот хитрые, как притворяются!

— Мама! А как же железная дорога ночью ходит? А?

Мама не отвечала, собирая Митенькины вещи.

— Мама! Как же она ходит ночью?

— Ходит, ходит, не приставай.

— А как же волки? А? Мама, как же волки?

Мама опять молчала.

— Ведь волки могут ее съесть. А? Как же она не боится?

Но мама, видно, сама не много понимала в этих делах, потому что вместо прямого и точного ответа предложила Митеньке хоть на минутку заткнуть себе рот.

— Не мешай. Нужно папины сигары подальше спрятать, а то найдут на таможне — беда будет.

— Искать станут?

— Ну конечно.

— Где им найти! Вот я бы живо нашел. Стал бы тебя щекотать, ты бы засмеялась, да и призналась.

Одна из дам улыбнулась и спросила маму:

— Сколько лет вашему молодцу?

— Четырнадцать! — поспешил Митенька удовлетворить ее любопытство.

— Ему пятый год, — ответила мама, совсем не считаясь с тем, что Митенька, как вежливый мальчик, уже ответил.

Пришлось поставить ее на место:

— Я же ответил, чего же ты отвечаешь? Я, братец мой, тоже с языком.

— Какой большой мальчик, — говорила дама. — Рослый. Ему шесть лет дать можно.

— Да. Многие думают, что ему седьмой.

Митенька доволен, польщен, и от этого ему делается совестно. Чтобы скрыть свои чувства от посторонних глаз, он начинает бить ногой по дивану.

— Го-го-го!

Попадает по колену второй дамы, и та сердито что-то говорит не по-русски.

Подъезжают к станции. Выходят. Потом идут в большой зал с длинными-длинными столами. На столы кладут узлы и чемоданы, а сами становятся рядом.

— Это ваши вещи? Это ваши вещи?

Митеньке новая игра понравилась. Он поднял как можно выше свой круглый, веснущатый носик и кричит на все голова:

— Это ваши вещи? Это ва-ши ве-щи?

Вот подошли какие-то бородатые. Мама забеспокоилась.

— Ничего нет! Ничего нет!

Люди раскрыли чемоданы и стали искать.

— Ха-ха-ха! — заливается Митенька. — Где уж вам найти! Мы папины сигары так спрятали, что и волку не достать.

Мама покраснела, а они вдруг и вытащили коробку.

Митенька запрыгал на одной ножке вокруг мамы.

— Нашли! Нашли! Вот те и запрятала. И щекотать не пришлось.

А мама совсем не смеялась, а пошла за бородатыми в другую комнату, а бородатые еще какую-то кофточку из чемодана вынули.

Вернулась мама красная и надутая.

— Чего сердишься? Нельзя, мама, братец ты мой. Не умеешь прятать, так и не сердись.

— Господи! Да помолчи ты хоть минутку!

Опять поехали.

Теперь вагон был деревянный.

— Отчего деревянный? — спросил Митенька.

— Оттого, что ты глупый мальчишка, — неприятно отвечала мама. — Пришлось на таможне пошлину платить, а теперь должны в третьем классе ехать.

От мамина голоса Митеньке стало скучно, и захотелось утешиться чем-нибудь приятным.

— Мама, ведь мне седьмой год? Да? Все говорят, что седьмой?

Подошел кондуктор, спросил билеты.

Митенька смотрел со страхом и уважением на широкое лицо и на машинку, которой он прощелкивал билеты.

— Мальчику сколько лет?

Митенька обрадовался, что можно похвастать перед этой знатной особой.

— Седьмой!

— Ему пятый год! Пятый год! — испуганно затараторила мама.

Так он ей сейчас и поверит.

— Это ты, мама, братец мой, другим рассказывай. Все говорят, что седьмой, — значит, седьмой. А тебе откуда знать?

— Доплатить придется, — серьезно сказал кондуктор.

Мама что-то запищала, — ну да кондуктор, конечно, на Митенькиной стороне.

— Мама, чего же ты надулась? И смешная же ты, братец мой!

Каникулы

Только слово, что каникулы, а на самом деле у всех было дела по горло.

Лялечка целые дни занималась худением, так как с осени решила учиться декламации, а декламировать она люби-

ла все веши чрезвычайно нежные и поэтичные: «Разбитая ваза», «Я чахну с каждым днем», «Я умерла весною», «Отчего побледнели цветы»...

— Ну как я скажу перед публикой, что я умерла, когда у меня щеки красные и трясутся?! — мучилась Лялечка и отказывалась от супа.

Младшая сестра Лялечки, гимназистка Маруська, тоже была сильно занята. Чтобы направить ее мысли на математический путь, учитель арифметики велел ей за лето решить пятьдесят задач.

И каждый день от завтрака до пятичасового чая, в самое жаркое время, когда мухи жужжат, лезут в рот и путаются в волосах, стонала Маруська над задачами, но, несмотря на все свое усердие, не смогла решить ни одной.

— Господи! Да что же это такое?! Здесь, верно, ошибка в ответе. Либо опечатка. Не может же быть, чтобы это все было неверно.

Шла за помощью к Лялечке. А Лялечка сидела злая, с поджатыми губами, и думала о пироге с налимом, который заказан к обеду, и который все будут есть, кроме нее.

— Не для меня... не для меня, — горько думала Лялечка, — Чего тебе еще? Только мешаешь сосредоточиться!

— У меня задача не выходит, — плаксиво тянула Маруська. — Видишь: молочник продал три аршина яблоков... То есть три десятка молока... Господи, ничего не понимаю! Я совсем заучилась! Я не могу летом задачи решать, у меня все в голове путается.

— Ну чего ты ревешь, как корова! — урезонивала сестру Лялечка. — Такую ерундовую задачу не можешь решить.

— Так что же мне делать?

— Очень просто. Что у тебя там, молочник? Ну, раздели молочника и отвяжись.

— Да когда он не делится! Хм!

— Ну помножь!

— Тебе легко говорить! Сама бы попробовала.

— Пошла вон и не лезь с ерундой. Раз тебе задано — значит, сама и решай. А какая же тебе польза будет, если я за тебя учиться стану?

— Скажи лучше, что не умеешь.

— Дура!

— Сама дура. Старая девка!

— Вот я папе скажу — он тебе задаст.

Последнее педагогическое средство помогало лучше всего: Маруська удалялась с громким ревом, оставляя Лялечку наедине с ее горькими думами о пироге с налимом.

— Не для меня... не для меня придет весна...

Приходила старая ключница, подпирала по-бабьи щеку и долго смотрела на Лялечку с глубоким состраданием, как на больную корову.

— И чего же это ты, желанная, не ешь-то ничего, ась? Нонеча к завтраку картофельные лепешки особливо для тебя пекла. В прошлом годе как ела-то, матушка моя, — все пальчики облизывала, а нынче и в рот не взяла! Прямо ума не приложу, чем не угодила. Коли сметаны мало положила, — скажи. Отчего же не сказать-то? Дело поправимое.

— Просто мне ничего не хочется, — тоскливо говорит Лялечка.

— Ну, погоди, милая моя, Митрий обешал раков наловить; я тебе раковый суп сварю, любимый твой. Уж этим не побрезгаешь.

— Нет, ради Бога! — всколыхнулась Лялечка. — Ради Бога, не надо ракового супа. Мне даже подумать о нем противно, даже тошнит.

— Так ведь это так, за глаза, родная ты моя. А как увидишь, — ей-богу, слюнки потекут, верь совести.

Лялечка тихо стонет.

— Не хочу! Не хочу! Не мучьте меня! Уйдите!

Старуха испуганно качает головой и уходит на цыпочках.

Лялечка подходит к зеркалу, втягивает, сколько можно, твердые красные щеки, подымает брови и декламирует замогильным голосом:

«Отчего я и сам все бледней? и печальнее день ото дня?!»

Красные крепкие щеки прыгают и напоминают глупую дерзость, сказанную перед отъездом из города старшим братом:

— Какие, дюша мой, у вас щеки красные — плюнешь, так зашипит!

Лялечка смолкает, настроение гаснет и падает. Нос поворачивается к открытому окошку и тянет, втягивает аромат поджариваемых в кухне котлет.

Вдруг вбегает Маруська. Лицо у нее испуганно-счастливое и растерянное:

— Лялька! Лялька! У меня задача вышла! Ей-богу! Смотри — ответ верный.

— Быть не может! — пугается Лялька.

— Смотри сама — ответ верный.

— Не может быть! Ты, верно, где-нибудь ошиблась, оттого и ответ вышел верный. Давай-ка, проверим вместе.

Стали проверять.

— Это что? — спрашивает Лялечка. — Ты тут зачем делила 40 на пять? А?

— А как же? — лепечет Маруська. — Сорок человек съели по пяти яблок…

— Так ведь множить надо в таком случае! Множить, а не делить! Эх ты! Математик! Я говорила, что ответ случайно совпал. Пойди-ка, переделай.

Маруська краснеет, надувает губы и уходит, понурив голову.

— Не для меня придет весна! — шепчет Лялечка.

Из кухни дерзко и настойчиво потянуло теплым пирогом с налимом.

Без стиля

Дмитрий Петрович вышел на террасу.

Утреннее солнышко припекало ласково. Трава еще серебрилась росой.

Собачка, любезно повиливая хвостом, подошла и ткнулась носом в колено хозяина. Но Дмитрию Петровичу было не до собаки.

Он нахмурил брови и думал:

— Какой сегодня день? Как его можно определить? Голубой? Розовый? Нет, не голубой и не розовый. Это пóшло. Особенный человек должен особенно определять. Как никто. Как никогда.

Он оттолкнул собаку и оглядел себя.

— И как я одет! Пошло одет, в пошлый халат. Нет, так жить нельзя.

Он вздохнул и озабоченно пошел в комнаты.

— Жена вернется только к первому числу. Следовательно, есть еще время пожить по-человечески.

Он прошел в спальню жены, открыл платяной шкап, подумал, порылся и снял с крюка ярко-зеленый капот.

— Годится!

Кряхтя, напялил его на себя и задумчиво полюбовался в зеркало.

— Нужно уметь жить! Ведь вот — пустяк, а в нем есть нечто.

Открыл шифоньерку жены, вытащил кольца и, сняв носки и туфли, напялил кольца на пальцы ног.

Вышло по ощущению и больно, и щекотно, а на вид очень худо.

— Красиво! — одобрил он. — Какая-то сплошная цветная мозоль. Такими ногами плясала Иродиада, прося головы Крестителя.

Достал часы с цепочкой и, обвязав цепочку вокруг головы, укрепил часы посредине лба. Часы весело затикали, и Дмитрий Петрович улыбнулся.

— В этом есть нечто!

Потом, высоко подняв голову, медленно пошел на балкон чай пить.

— Отрок! — крикнул он. — Принеси утоляющее питие.

Выскочил на зов рыжий парень, Савелка, с подносом в руках, взглянул, разом обалдел и выронил поднос.

— Принеси утоляющее питие, отрок! — повторил Дмитрий Петрович тоном Нерона, когда тот бывал в хорошем настроении.

Парень попятился к выходу и двери за собой прикрыл осторожно.

А Дмитрий Петрович сидел и думал:

«Нельзя сказать ни розовый, ни голубой день. Стыдно. Нужно сказать: лиловый!»

В щелочку двери следили за ним пять глаз. Над замком — серый под рыжей бровью, повыше — карий под черной, еще повыше — черный под черной, еще выше-голубой под се-

дой бровью и совсем внизу, на аршин от пола, — светлый, совсем без всякой брови.

— Отрок! Неси питие!

Глаза моментально скрылись, что-то зашуршало, зашептало, заохало, дверь открылась, и рыжий парень, с вытянувшимся испуганным лицом, внес поднос с чаем. Чашки и ложки слегка звенели в его дрожащих руках.

— Отрок! Принеси мне васильков и маков! — томно закинул голову Дмитрий Петрович. — Я хочу красоты!

Савелка шарахнулся в дверь, и снова засветились в щелочке глаза. Теперь уже четыре.

Дмитрий Петрович шевелил пальцами ног, затекшими от колец, и думал:

«Нужно вырабатывать стиль. Велю по всему балкону насыпать цветов — маков и васильков. И буду гулять по ним. В лиловый день, в зеленом туалете. Крраснво! Буду гулять по плевелам, — ибо маки и васильки суть плевелы, — и сочинять стихи.

В лиловый день по вредным плевелам
Гулял зеленый человек.

Крраcота! Что за картина! Продам рожь, закажу художнику Судейкину, — у него есть дерзость в красках. Пусть напишет и подпишет:

«По вредным плевелам. Картина к стихотворению Дмитрия Судакова».

А в каталоге можно целиком стихотворение напечатать:

В лиловый день по вредным плевелам
Гулял зеленый человек.

Разве это не стихотворение? Что нужно для стихотворения? Прежде всего размер. Размер есть. Затем настроение. Настроение тоже есть. Отличное настроение».

— Управляющий пришел, — высунулась в дверь испуганная голова.

— Управитель? — томно закинул голову Дмитрий Петрович. — Пусть войдет управитель.

Вошел управляющий Николай Иваныч, серенький, озабоченный, взглянул на капот хозяина, на его ноги в кольцах, часы на лбу, вздохнул и сказал с упреком:

— Время-то теперь уж больно горячее, Дмитрий Петрович. Вы бы уж лучше после.

— Что после?

— Да вообще... развлекались.

— Дорогой мой! Стиль — прежде всего. Без стиля жить нельзя. Каждая лопата имеет свой стиль. Без стиля даже лопата погибнет.

Он поправил часы на лбу и пошевелил пальцами ног.

— Вы, Николай Иваныч, человек интеллигентный. Вы должны со мной согласиться.

Николай Иваныч вздохнул и сказал с упреком:

— В поле не проедете? Нынче восемьдесят баб жнут.

— Жнут? Мак и васильки?

— Рожь жнут, — вздохнул Николай Иваныч. — Велели бы запрячь шарабан, а то потом жарко будет.

— Это хорошо. Это я приемлю. Отрок! Коня!

— Шарабан прикажете? — выпучил глаза рыжий парень.

— Ты сказал! — ответил Дмитрий Петрович с жестом Петрония.

— Так вы переоденьтесь, я подожду, — вздохнул управляющий.

Дмитрий Петрович машинально пошел одеваться.

Снял кольца, надел сапоги, косоворотку, картуз.

Сели в шарабан. Управляющий причмокнул, лошадь тронула, и Дмитрий Петрович невольно подбоченился.

— Эх-ма! Хороша ты, мать сыра земля!

Но тут же устыдился и сказал тоном Петрония:

— На колеснице, о друг, следовало бы ехать стоя.

Выехали на поля.

Замелькали, то подымаясь над желтыми колосьями, то опускаясь за них, пестрые платки жниц.

Где-то с краю зазвенела, переливаясь, визгливая и укающая бабья песня.

И снова подбоченился Дмитрий Петрович, усмехнулся, шевельнул бровью, ухарски заломил картуз и ткнул локтем в бок Николая Иваныча.

— А что, Пахомыч, уродил нынче Бог овсеца хорошего, — сказал он, указывая на полосу гречихи. — Ась?

Управляющий молчал.

— Этаких бы овсов побольше, так и помирать не надо. Правда аль нет, Пахомыч? Ась? Прости, если что неладно согрубил.

— Овес плох в этом году, — уныло ответил Николай Иваныч. — Покупать придется.

— А ты, Пахомыч, не тужи, — не унимался Дмитрий Петрович. — Чать, сам знаешь: быль молодцу не укор.

Он спрыгнул с шарабана и молодецки зашагал по сжатому полю.

— Здорово, молодицы!

Сел на копну и долго пел, фальшивя и перевирая слова, единственную русскую песню, какую знал:

Во саду ли, в огороде
Собачка гуляла,
Ноги тонки, боки звонки,
Хвостик закорючкой.

Потом сказал сам себе:

— Эх, малый, спроворить бы сюда жбан доброго квасу нутро пополировать.

Прибежал рыжий Савелка звать к завтраку.

— Може, прикажете еще васильков нарвать, — осведомился парень. — Там Никита принес охапку, да не знает, куда ее девать. Пелагея говорит, припарки из их делать будете. Так можем еще нарвать.

— Нет, не надо! — отрывисто сказал Дмитрий Петрович и грустно опустил голову.

— Что я наделал! Пел про боки звонки... сапоги надел, квас пить собирался. Зачем? К чему? Кому это нужно? Разве это мой стиль? Что я наделал! О, красота, как скоро я забыл о тебе!

Он поплелся домой пешком, печально меся ногами бурую, мучнистую пыль.

— И зачем я создал это:

В лиловый день по вредным плевелам
Гулял зеленый человек.

Зачем? Несчастный я человек. Кружусь без стиля на одном месте, как козел на привязи.

«Зеленый человек»! Далеко тебе, брат, до зеленого человека, как кулику до Петрова дня. Зеленым человеком родиться надо, а насильно в себе зелени не выработаешь. Так-то-с.

Он вздохнул и прибавил шагу.

— Иди, брат, в русской косоворотке на немецком фрыштыке итальянские макароны с голландским сыром есть! Ешь да похваливай. И так тебе и надо!

Открыли глаза

В столовой маленького немецкого курортика сидели двое почтенных русских: мировой судья Гусин и помещик Усветников.

Они были новички, приехали с утренним поездом, никого еще не знали и, сидя за отдельным столиком, с любопытством осматривали обедающих, стараясь по внешности их определить, кто они такие.

— Посмотрите, Павел Егорыч, — сказал судья Гусин, — посмотрите на этого кривого верзилу с заросшим лбом. Типичнейший палач!

— Н-да! — согласился Усветников. — С этаким не приведи Бог ночью на большой дороге встретиться. Ни за грош укокошит.

— Ну, что вы! Чего же ради. Он только по приговору суда. А вот тот, около носатой дамы, с тем не посоветую даже в коридоре с глазу на глаз остаться. Зарежет, как куренка. Убей меня Бог, если это не сам Джек, вспарыватель животов.

— Будем осторожны, и не видать ему наших животов, как ушей своих. Но вот кто, по-моему, интересен, так это черная старуха, что около окна. Кто бы она могла быть? Отставная певица, что ли?

— Какое там певица! Разве певица станет так куриную лапу обсасывать. По-моему, она тетка того господина, что рядом с ней, с мокрыми волосами и красной рожей.

— На банщика похож.

— Ну да. Так вот она, значит, банщикова тетка, да еще, наверное, богатая, как говорится — икряная тетка, иначе

бы он ее с собой по курортам не таскал, а нашел бы кого получше. А так дело ясное — увез он ее из какого-нибудь Франкфурта от глаз подальше, да и выжидает минутку, когда ее удобнее придушить.

— А эта долговязая девица — верно, дочь палача?

— Ну, конечно. Рыжая Зефхен. Это ничего, что она брюнетка. Кому же и хитрить, как не ей.

— А вон посмотрите: на другом конце стола — интересный господин. Высокий, элегантный, бритый, на мизинце брильянт. Это, по-моему, Арсен Люпен, вор-джентльмен.

— Ну разумеется. С очевидностью не поспоришь.

— А вот эти два маленькие, плюгавенькие. Это, по-моему, просто железнодорожные воры. Мелкота, мелюзга. Посмотрите, как Арсен Люпен их презирает. Они ему салат передали, а он даже головой не кивнул.

— Ну еще бы, станет он мараться!

— А вот интересный типик за отдельным столиком. Видите? Как он жрет! Как он жрет! Типичнейший женоубийца.

— А дама с ним какая тощая, бледная!

— Еще бы, будешь тут бледная! Ведь это — труп его жены. Трупы румяные не бывают.

— Молодчина, женоубийца! Сам на курорты ездит, но и труп жены не забывает. Нужно, мол, и трупу повеселиться.

— Это он ее для свежести возит, чтобы не так скоро разложилась. Собственную каторгу оттягивает.

— Молодчина, женоубийца!

Обед кончился. Все разошлись в разные стороны, кто куда. Банщик с икряной теткой поехали на лодке, железнодорожные воры уехали верхом, женоубийца пошел гулять под руку с трупом своей жены. Судья Гусин и помещик Усветников пошли к хозяйке наводить обо всех справки.

Хозяйка, женщина любезная и разговорчивая, рассказала всё про всех.

Палач оказался нотариусом, а рыжая Зефхен — его дочерью-художницей.

Банщик — известным французским журналистом, а икряная тетка — его женой.

Арсен Люпен, вор-джентльмен, — дантистом из Лодзи.

Железнодорожные воры — певцами из Америки.

Джек, вспарыватель животов, — московским купцом.

Женоубийца — слабоумным миллионером, а труп жены — его сиделкой.

Гусин и Усветников долго хохотали и удивлялись.

— А и психологи мы с вами, Павел Егорыч!

— Я-то что? Мне простительно. А вам стыдно. Вы — судья. Вы на своем веку должны были ко всяким мошенникам приглядеться и с порядочными людьми их не путать.

На другой день за обедом у них оказалась соседка, пожилая безбровая испуганная немка. Немка смотрела на них с тихим ужасом и почти ничего не ела.

А приятели разговаривали.

— Что-то сегодня как будто не все в сборе, — говорил Усветников. — Банщика нету.

— Верно, душит где-нибудь в уголке свою икряную тетку.

— Он ее вчера заманил на лодке покататься; верно, думал утопить, да не удалось.

— Тетка, наверное, кое-что подозревает и с пузырями поехала.

— И палач сегодня куда-то пропал.

— Должно быть, заперся у себя в комнате и мучится угрызениями совести.

— Просто спит. Ночью-то, небось, призраки казненных не дают покоя, вот днем и отсыпается.

— А рыжая Зефхен пока что глазки делает железнодорожным ворам. Верно, пронюхала, что они за ночь два вагона обокрали.

— Джек, вспарыватель животов, третий раз говядину берет. Хочется ему, видно, свежей кровушки, добирается до чьего-нибудь живота.

— А женоубийца тут как тут. Небось, на труп жены и не взглянет.

— А сегодня с утренним поездом шулер приехал. Борода лопатой, лицо честное и два чемодана крапленых колод привез. Будет дело!

Испуганная немка не дождалась конца обеда, вскочила и торопливо вышла.

— Что с ней?

— Острый припадок эпилепсии. Побежала дом поджигать.

На другой день за завтраком испуганной немки не было, а вечером судья Гусин получил с почты письмо из соседнего городка.

Письмо было написано по-русски.

«Милостивый государь! Не знаю, как и благодарить вас, что вы открыли мне глаза на весь ужас, который окружал меня, беззащитную женщину!

Я, помещица Холкина, из Тамбовской губернии, приехала в этот курорт по предписанию врача. Вероятно, врач — кто бы мог подумать — находится в стачке с содержателем этого ужасного притона воров и разбойников.

Может быть, мне не следует вовсе благодарить вас, потому что, беседуя откровенно со своим другом, вы не предполагали, что я понимаю вас. Тем не менее, благодаря вам, я счастливо избегла опасности.

Мне известно, кто вы. Когда вы подходили к столу, один из обедающих преступников сказал довольно громко: «А, вот и фальшивые монетчики in corpore».

Это ужасно! Одумайтесь! Бросьте ваше ужасное ремесло! Вы еще молоды! Вернитесь на честный путь, и вы увидите, как новая трудовая жизнь покажется вам приятной, и сладок честно заработанный кусок хлеба.

Болеющая о вас душой помещица Холкина.

P. S. Бегите из вертепа!»

Самовор

Молодой беллетрист Аркадий Кастальский написал очень недурной рассказик. По крайней мере, сам он был об этом рассказике именно такого мнения.

Когда рассказик был напечатан, Кастальский пошел в литературный ресторанчик и, выпив пива на весь гонорар, почувствовал прилив гордости такой сильный, что не излить его в чью-нибудь дружескую душу было очень тяжело и неудобно.

К счастью, за соседним столиком усмотрел он художника Бякина, мирно приканчивавшего телячьи ножки.

Мирная поза и мирное занятие Бякина располагали к откровенности.

— Здравствуйте, Бякин! Слышали, Бякин, интересную новость?

— Какую?

— Да вот, видите ли, я написал рассказик — нечто поразительное! Ей-богу. Все находят: фабула — вроде Уэллса, язык — вроде Флобера, а сам коротенький, вроде этого, как его... вроде Мопассана. И, кроме того, с диалогом, вроде Шницлера, и с юмором, вроде Чехова, так что не скучно читать. Вообще, нечто замечательное. Разве вы еще не читали?

— Н-нет... должен признаться, — не успел.

— Ай-ай-ай! Как же вы так! Теперь только об этом и говорят, а вы еще называете себя другом литературы, знатоком, чутким ценителем. Как же это вы так! Почему же вы не следите? Все только об этом и говорят, а вы вдруг...

Художник сконфузился.

— Да, да, я очень много слышал о вашей вещи, — закривил он душой. — Очень много. Но, знаете, все так зачитываются, что ни у кого и на полчасика ее не взять.

— Серьезно? Много о ней говорят? — неожиданно для самого себя засуетился Кастальский. — Удивительно! А кто же вам говорил?

— Да так... гм... вообще... все... Виноват, я только забыл, как он называется, этот ваш рассказик. Вот так здесь и вертится, так и вертится, — показал художник на свою переносицу, — а вспомнить не могу!

— «Сгоревший чулок»

— Ах да, да, «Согревший чулок». И как я только мог забыть такое оригинальное название!

— «Сгоревший чулок», — строго повторил Кастальский.

— Вот именно! Вот именно! — воскликнул сконфуженный художник и поспешил распрощаться с гордым автором.

Выходя из ресторана, художник Бякин встретил печального переводчика Шмельзона. О чем бы ни говорил Шмельзон, о чем бы он ни думал, лицо его носило всегда такое выражение, будто говорило:

— Эт! Платят худо!

— Здравствуйте, Шмельзон, видели Кастальского?

— Ну, видел. А что?

— Зазнался он уж очень. Успех так вскружил ему голову, что теперь с ним ни о чем и говорить нельзя, кроме этого рассказа. Слышали? Читали? «Сгоревший чулок»?

— Как? «Чулок»? Ну, конечно. Кто же не читал «Чулок». Так это недавно вышло, да?

* * *

На следующее утро печальный переводчик, громко вздыхая и шурша словарем, переводил «Сгоревший чулок» на немецкий язык.

Дело шло туго, потому что печальный переводчик знал немецкий язык столь же скверно, как и русский, и часто, не поняв русской фразы, переводил ее на немецкий, причем очень бы удивился, если бы кто-нибудь объяснил ему, что у него получилось.

Не понравившееся ему заглавие он переделал на «Небольшой пожар» и подписал всю эту штуку: Артур Зон (псевдоним Шмельзона для краденых вещей).

Затем отослал рукопись в немецкую газетку и через месяц заплатил за свою комнату свеженьким гонораром.

* * *

Анна Павловна работала в «Модных Известиях», и на обязанности ее лежало переводить, с какого пожелает языка, небольшие рассказики для воскресного номера.

Просматривая газеты, Анна Павловна обратила внимание на «Небольшой пожар».

— Из русской жизни — это забавно. Это понравится читателям.

Она перевела рассказ, как могла и умела, причем сильно выиграла юмористическая сторона произведения и значительно обновилась вся фабула.

Поместила было Анна Павловна под рассказом: «Артур Зон», но сочла своей обязанностью честно перевести это имя и написала: «Артемий Сын». Заглавие же переделала на «Бурю в стакане воды».

Номер «Модных Известий» с рассказом Артемия Сына попал в руки Шмельзона.

Рассказ показался ему забавным.

Он вздохнул и стал переводить его на немецкий.

Опять, по прихоти судьбы, лингвистические намерения переводчика не соответствовали результатам.

Но заглавие он переделал намеренно — уж слишком трудно было перевести его гладко.

Таким образом, получился новый рассказ Артура Зона — «Несчастье», с сознательно измененными именами и с развихлявшейся по своему произволу фабулой.

Рассказ этот в немецком своем виде очень полюбился Анне Павловне, был немедленно переведен с присущим этой честной женщине прилежанием и искусством и напечатан в «Модных Известиях» под заглавием «Приключение с Анетой».

Но печальный перводчик Шмельзон, облюбовавший один раз Артемия Сына, привязался к нему всей душой и напечатал «Приключение с Анетой» под видом «Долой смерть» в той же немецкой газетке.

Затем Артемий Сын напечатал в «Модных Известиях» рассказ «Прочь покойников», а Артур Зон в немецкой газетке — презабавный рассказ «Что такое?».

* * *

Молодой беллетрист Аркадий Кастальский был в самом мрачном настроении: ему обещали аванс, если он пришлет хоть небольшой рассказик, а темы в кастальской голове не находилось буквальной никакой.

И вдруг выручил случай. Сидя у парикмахера, он машинально просматривал немецкий листок. Прочел рассказик — забавный. Улыбнулся и вдруг испугался и обрадовался мелькнувшей мысли:

«А что, если?.. Ведь делают же это другие, что же я за святой? Тема презанятная, даже жалко, что она так пропадает. Ну кто эту дурацкую газетку читать станет, кроме немецких парикмахеров да сапожников?»

Он сунул в карман газету, перечитал дома еще раз понравившийся ему рассказик и, слегка переделав имена, фамилии и заглавие, сел писать.

А рассказик этот был не что иное, как «Что такое?», или седьмое преломление рассказа Аркадия Кастальского «Сгоревший чулок».

Но Аркадий Кастальский так искренно стыдился этой первой в его жизни литературной кражи, что, отдавая рукопись редактору, покраснел, как вечерняя заря перед бурей, а вечером пропил весь полученный аванс.

— Эх! Что уж там! Опускаться так опускаться!

Сильна, как смерть

Андрей Степанович был влюблен, и влюблен не совсем-то просто.

Предметом его страсти была очаровательная венецианская графиня из рода дожей, стройная и златокудрая.

Андрей Степаныч несколько лет подряд ездил на Лидо терять голову. Терял он ее до тех пор, пока догаресса не уехала в Америку, выйдя замуж за богатого американца.

Тогда Андрей Степаныч ушел в себя, затих и засел в провинции.

И вдруг, после долгого отсутствия, вынырнул на удивление друзьям счастливым молодоженом.

— Приходите ко мне в четверг обедать все, все! Вы увидите мою жену, мою догарессу.

Взволнованные и завидующие друзья сбежались в четверг как на пожар.

Он встретил их сияющий, потирал руки, улыбался.

— Пожалуйте, пожалуйте! Сейчас выйдет моя догаресса... Анна Антоновна, ты скоро? Я, между прочим, должен предупредить вас, господа, что жена моя не имеет ничего общего с той венецианкой, которою я так увлекался. Сходство между ними чисто внешнее. Вот увидите. Я ведь вам показывал портреты той... Анна Антоновна, догаресса моя, ты скоро?

И вошла догаресса Анна Антоновна.

Это была очень толстая особа, лет под сорок, темноволосая, круглая и такая курносая, что казалось, будто ноздри у нее прорезаны не под носом, а как раз посредине.

— Боже мой! — тихо ахнул один из приятелей. — Да ведь это Анна Антоновна! Я ее знаю. Она была бонной у Еремеевых.

— Совершенно верно! — радостно подхватил счастливый молодожен. — Бонной у Еремеевых. Я сразу увидел, что это неподходящее для нее место. Женщина с наружностью догарессы не может утирать носы еремеевским поросятам. И вот — она моя жена!

Гости слушали, смотрели, удивлялись, ничего не понимали.

А когда стали расходиться по домам, один из них, человек упорный и настойчивый, сказал:

— Нет, как хотите, если только он не сошел с ума, он объяснит мне, в чем состоит сходство между красавицей венецианкой и бонной Анной Антоновной.

— Неужели ты не видишь этого сам? — искренно удивился Андрей Степанович вопросу приятеля. — Впрочем, может быть, это происходит оттого, что ты видишь только два крайних звена — догарессу и Анну Антоновну, а всей цепи не знаешь. Ну-с, так вот, я расскажу тебе, и ты все поймешь.

Когда я потерял свою венецианку, я с горя поехал в Харьков. Там на одном благотворительном вечере представили меня одной купчихе. Взглянул я на нее мельком — и обомлел. Купчиха смотрела на меня глазами догарессы. Та же бездонность, та же зеленая прозрачность. Ах, ты не можешь себе представить, что это за глаза! Прямо два зеленых озера — глубоких, чистых, хоть рыбу уди, — иллюзия полная.

Я, конечно, сейчас же потерял голову. Но купчиха оказалась замужняя и через неделю уехала с мужем в Нижний на ярмарку. Увезла с собою, конечно, и глаза догарессы.

Я совсем затосковал. И, как ни странно, мне казалось, что харьковская купчиха нравится мне гораздо больше, чем венецианская красавица, хотя красива она не была. Верхняя губа у нее была толстая, оттопыренная, будто она все время на молоко дует... Н-да, а вот нравилась.

После купчихиного отъезда познакомился я на катке с молоденькой гимназисткой. Рожа была страшная, но почему-то понравилась мне несказанно.

Стал я приглядываться и понял, что меня к ней так привлекает: у нее была точь-в-точь такая губа, как у харьковской купчихи. Посмотришь на нее сбоку, и кажется, будто она на горячее молоко дует.

Ужасно она мне нравилась. Совсем уж было собрался голову терять, но настала весна, и увезли мою гимназистку в деревню.

В сущности, некрасивая ведь она была. Волосы белые, как у альбиноски, а лицо красное, темнее волос. Ну, Бог с ней.

Стал уж было я поуспокаиваться, как вдруг прохожу раз по базару, вижу — сидит баба и торгует пряниками. Баба как баба, пряники как пряники, и ничего в этой картине не было бы удивительного, если бы не волосы этой бабы, — белые, как у альбиноски, гораздо светлее, чем ее загорелая рожа.

Глазки у бабы были юркие, плутоватые, бегали, как мышки.

И стал я каждый день пряники покупать. Покупал, покупал, пока не поехал гостить к помещику Иволгину.

А у Иволгина оказалась свояченица, высокая, смуглая, красивая. Красивая, — ну, и Бог с ней. Ее счастье, а мне до этого дела нет.

Живу в деревне, угощаю всех бабьими пряниками, которые купил у нее на прощанье. Только раз за ужином говорит помещик Иволгин.

— Кто это у меня сегодня в столе рылся, интересно знать?

Взглянул я случайно на свояченицу и ахнул: глазки у нее стали юркие, плутоватые, бегают, как мышки.

Тут я и влюбился.

Сох, сох, пока она в Москву не уехала. Потом сох без нее, но долго не вытерпел — поехал и сам за ней.

Ехал, мечтал, вздыхал. Вдруг входит в вагон дама. Дама как дама, на голове — шляпа, в руках — картонка.

И вдруг говорит дама:

— Здесь место свободно?

А я обомлел и молчу. Голос-то у нее оказался точь-в-точь такой, как у свояченицы. Даже смешно!

Ну, что долго рассказывать! Влюбился я в нее из-за этого голоса, как безумный. Стреляться хотел, да меня ее муж — умный был человек — урезонил:

— К чему, говорит, вам умирать? Всякая смерть есть небытие. Ну, и на что вам небытие, посудите сами!

Уехал в Киев. В Киеве встретил рыжую хористку с такой же фигурой, как у моей дамы.

Влюбился. Измучился. Встретил белошвейку, такую же рыжую. Потом познакомился с какой-то ломжинской чиновницей, у которой ноги были, как у этой модистки. Потом познакомился с учительницей, которая дергала носом точь-в-точь как ломжинская чиновница; влюбился, томился, расстался; встретился со старой губернаторшей, смотрю — а она, старая ведьма, смеется совсем как учительница. Влюбился, испугался, удрал в Петербург, пошел к Еремеевым, смотрю — а у их бонны губернаторшин нос. Тут я и пропал.

Даже к психиатру ходил советоваться. Хоть плачь.

Так влюбился я в эту бонну, что где там догаресса — и сравнить не смею.

Так сильна была любовь к догарессе в двенадцатом преломлении.

Есть теория такая относительно некоторых ядов, будто в двенадцатом делении они действуют сильнее всего.

Пускают каплю яда в стакан с водою, потом из этого стакана берут одну каплю в новый стакан воды и так далее, до двенадцатого. Одиннадцатый стакан можно выпить без всякого ущерба для здоровья, глоток же из двенадцатого убивает мгновенно.

Вот как я, в силу вечной любви моей к прекрасной венецианской догарессе, женился на курносой бонне Анне Антоновне.

Ибо сильна, как смерть, любовь.

Кроткая Талечка

Цветков с радостью согласился на предложение жены пригласить к ним погостить в деревню молоденькую племянницу Талечку.

Он уже несколько раз встречался с ней в городе, и она всегда производила на него самое чарующее впечатление. Свеженькая, беленькая, чистенькая, с розовыми пальчика-

ми и кроткими, ясными глазками, она сразу располагала к себе все сердца.

Талечка быстро отозвалась на приглашение и через неделю пила свой первый утренний кофе на веранде у Цветковых.

— Дорогая тетечка! — щебетала она, глядя на Цветкову детски-влюбленными глазками. — Как все у вас здесь красиво! Я никогда ничего подобного не видала.

Цветковы слушали ее восторженные похвалы с удовольствием. Их дом был действительно отделан со вкусом, изящно и стильно.

— Дорогой дядечка! — захлебывалась Талечка. — Как я счастлива, что я с вами! Я должна теперь приложить все усилия, чтобы быть вам не в тягость, а, напротив того, полезной.

— Ну, полно, Талечка! Пейте лучше ваш чай, а то он совсем простыл.

— Ах, дорогая тетечка! Я вам непременно свяжу колпачок на чайник, — тогда чай никогда не будет простывать. Непременно! Сейчас же свяжу.

Она быстро побежала в отведенную ей комнату и, вернувшись с мотком коричневой шерсти и костяным крючком, принялась за работу.

Работала она усердно до самого вечера, забавно надув розовые губки и быстро шевеля розовыми пальчиками.

— Талечка! Бросьте! Вы устанете! — говорила ей Цветкова.

— Какая милая девочка! Такое кроткое, нежное существо. Все для других и ничего для себя! — говорили супруги, оставшись вечером наедине.

На другое утро они застали Талечку уже за работой. Оказалось, что бедняжка вскочила в шесть часов утра и чуть не плакала, что все-таки не успела закончить работу к теткиному пробуждению.

Утешили как могли, и Талечка, снова надув от усердия губки, завертела крючком.

К пятичасовому чаю она торжественно напялила на изящный, датского фарфора, чайник коричневый кривой колпак, похожий на вывернутый шерстяной чулок.

— Вот, дорогая тетечка! И дайте мне слово, что вы всегда будете надевать его на чайник и всегда вспоминать про вашу Талечку.

Глазки ее так мило и ласково блестели, она так сама была рада своей работе, что Цветковым оставалось только расцеловать ее.

— Собственно говоря, этот ужасный колпак портит мне весь стол, — думала хозяйка. — Но не могу же я обидеть этого милого ребенка! Выброшу, когда она уедет.

— Какие у вас красивые салфеточки, дорогая тетечка! — щебетала Талечка.

— Это все в финском стиле, — объяснял Цветков.

Талечка минутку подумала и вдруг улыбнулась лукаво и радостно.

— А я задумала вам один сюрпризик! — сказала она.

И сразу после чаю принесла моток бумаги и снова быстро закрутила крючком.

Работала она несколько дней, и так как это был сюрприз, то никому не объяснила, в чем дело, только лукаво улыбалась.

Недели через полторы сказала:

— Завтра все будет готово.

Всю ночь виднелся свет в ее комнате. Она работала.

Утром Цветковы вышли на веранду пить кофе и ахнули: все их очаровательные стильные салфетки были обшиты связанными Талечкой корявыми, толстыми кружевами.

— Ах, зачем это вы? — вскрикнула Цветкова, но тут же замолчала, так как Талечка кинулась ей на шею, торжествующая и сияющая, и лепетала:

— Это потому, что я люблю вас! Я так рада, что могу быть вам полезной!

— Милая девочка! Она такая трогательная! — говорили вечером друг другу супруги Цветковы. — А кружева можно будет после ее отъезда спороть.

Талечка оказалась, что называется, золотым человеком. Ни минуты не оставалась она праздной.

— Тетечка! У вас такая чудная мебель! Нужно ее поберечь. Я вам свяжу антимакассары.

И через десять дней Цветковы не могли без ужаса проходить мимо гостиной, потому что на спинках всех кресел,

стульев и диванов Талечка нашпилила связанные ею красные гарусные салфетки.

— Ты бы как-нибудь отвлекла ее! — умолял жену Цветков. — Жалко, что она так утомляется, и все, в сущности, понапрасну.

Цветкова предложила Талечке поехать к соседям в гости.

— Нужно немножко развлечься, деточка, а то вы все за работой, даже похудели.

— Нет, тетечка, я хочу сначала сделать метки на ваших платочках. Уж у меня такое правило: сначала заботиться о других, а потом — о себе. Уж вы не мешайте мне! Я вас так люблю! Для меня такая радость быть вам полезной.

И на тонких, кружевных платочках Цветковой появились огромные метки крестом из красных ниток.

«А» точка и «Ц» точка.

Кресты были так велики, что на любом из них можно было бы распять по два христианских мученика, и Цветкова застыла от ужаса.

Те же метки появились через несколько дней и на ее белье.

— Милая тетечка, я вам на рубашках поставила метки сзади, потому что на груди слишком много кружев, и их совсем не было бы видно.

Яркие красные метки сквозили через легкие летние платья, и Цветков говорил жене:

— Знаешь, Аня, ты словно каторжник с бубновым тузом на спине.

А Талечка, между тем, не дремала. Она затеяла сделать собственноручно рамки на все портреты в кабинете Цветкова.

С этой целью она мочила гусиные перья, что-то резала, клеила, и, когда с торжеством показала первую рамку из малинового бархата с цветочками из гусиных перьев, — Цветкову затошнило.

— Это очень мило, дорогая моя! Это похоже на настриженные ногти.

— На перламутр, дорогая тетечка. Не правда ли? Совсем перламутр! Я вам сделаю много, много таких рамок! Я вас так люблю!

Вечером Цветков приуныл и сказал жене:

— Знаешь, мне как-то надоело в деревне. Если бы не предстоящие земские выборы, я бы уехал. А как ты думаешь, Талечка скоро уедет?

— Н-не знаю. Ей, кажется, здесь так понравилось. Она такая милая, что ее грешно обидеть... Только зачем она стрижет эти ногти!..

Талечка сделала пятнадцать рамок и изуродовала ими шесть комнат. Особенно круто досталось кабинету Цветкова. Он уже не мог там больше сидеть.

— Знаешь, Аня, плюнем на все, поедем за границу. Хоть на две недели. Иначе неловко ее отсюда... гм... того... Так лучше уж надуть ее.

— А как же выборы? Ведь ты можешь пройти в предводители... Так мечтал об этом, и вдруг...

— Да что там! Все равно никого нельзя в дом пригласить. Я прекрасно сознаю, что Талечка — дивное существо, но ведь она за один месяц так загадила нам весь дом, что порядочного человека пригласить стыдно!..

— Ну, подождем еще немножко. Одного боюсь: она опять что-то крючком крутит.

Страх Цветковой был не напрасен: Талечка отпорола на ее белье все кружева и заменила их прошивками своей работы.

— Посмотрите, тетечка, какие они толстые и прочные. Белье ваше давно порвется и сносится, а они будут целы. Вот увидите. Вы будете их отпарывать и перешивать на новое белье и вспомните при этом вашу Талечку!

Цветкова кусала губы от досады, а вечером всплакнула и решила надуть Талечку.

— Талечка, — сказали супруги на другое утро. — Милая, маленькая Талечка, мы едем на всю осень за границу, а сначала завезем вас к вашей маме.

Талечка подумала минутку, вздохнула и сказала решительно:

— Нет! Вы знаете мое правило: сначала все для других, и потом для себя. Я останусь здесь еще месяца полтора и закончу вам один сюрпризик. Я так люблю вас!

Цветкова истерически засмеялась, а муж ее выбежал из комнаты и хлопнул дверью.

— Что ж, Аня, — сказал он потом жене, и лицо у него было бледное и решительное. — Укладывайся. Едем за границу.

— А как же выборы?

— А черт с ними. Меня только бесит, что ты не могла прямо сказать этой девчонке, чтобы она отвязалась от нас.

— Попробовал бы сам!

— Мне неловко — я мужчина!

— А мне неловко — я женщина! Я тетка!

— Попробуем еще. Может быть, как-нибудь...

Через четыре дня они уехали за границу.

Талечка провожала их, кроткая, преданная, заботливая.

— Тетечка! Дядечка! Не забудьте вашу Талечку.

Цветков шипел сквозь зубы:

— Выжила нас, гадюка, из родного гнезда!

И тут же прибавлял:

— Милая девочка! Ласковая! Кроткая! Все для других!

А жена его молча утирала глаза кружевным платком, зажав в кулак раздражавшую ее красную метку: «А» точка и «Ц» точка.

Бухгалтер Овечкин

Бухгалтеру Овечкину повезло. На вечере у Егоровых сама Гусева пригласила его быть ее кавалером за ужином.

От волнения он ничего не ел и молчал, как убитый. Лицо у бухгалтера Овечкина было совсем особенное.

— Овечья морда! — сказал про него за ужином сидевший vis-a-vis[1] муж Гусевой. Но сказал он это просто из ревности, потому что овечьей у Овечкина была только фамилия. А лицо его было похоже на мелкий перелесочный кустарник: брови — кустиками, усики — кустиками, бачки — кустиками, и на лбу хохол — кустом. И смотрел Овечкин из этих зарослей и порослей тоскливо и тревожно, как заяц, забившийся от собак в можжевельник.

---

[1] Напротив (*фр.*).

Бухгалтер Овечкин был очень польщен. Он ведь не слышал, как Гусева шепнула перед ужином Мишелю Рукоятникову:

— Сегодня нельзя сидеть вместе. Центавр следит.

В ее романе с Мишелем Рукоятниковым центавром назывался сам Гусев.

Безнадежно скучая от соседства зайца в можжевельнике, Гусева, как женщина практичная, решила использовать свое положение с наибольшей выгодой и помучить Мишеля ревностью. Для этого она ежеминутно чокалась с бухгалтером, щурила глаза и грозила ему пальцем, точно он говорил невесть какие тонкие штучки, а он, бедняга, только вздыхал и шептал:

— Это все одни насмешки. Женщины вообще насмехаются.

Мишель Рукоятников особого волнения, однако, по поводу измены Гусевой с бухгалтером не выказывал. Впрочем, он умел обращаться с женщинами и знал себе цену, как человек, привыкший везде играть видную роль. На свадьбах он занимал место шафера, в моторе — место шофера, в танцах — дирижера, а по служебной части — коммивояжера. Поэтому мудрено ли, что он понимал насквозь игру Гусевой и был спокоен.

Зато сам Гусев был далеко не спокоен. Он старался поймать взгляд жены, чтобы строго выкатить ей глаза и тем напомнить о своих правах мужа и ее обязанностях жены.

Но подведенные глазки Гусевой бегали так быстро с бухгалтера на Рукоятникова и обратно, что перехватить их не было ни малейшей возможности.

Тогда Гусев бросил мысль о правах и обязанностях и всю душу свою отдал ненависти к бухгалтеру Овечкину.

— Овечья морда! — указал он на него соседу. — Наверное, и развратен, как овца.

— Эге, батенька, — отвечал веселый сосед. — А Марья Петровна как будто другого мнения. Вон, даже щечки горят. Верно, этот франт — преопасная шельма. Хе-хе-хе!

А Гусева откидывала голову, смеялась, стараясь показать нижние зубы, которые, по ее мнению, были лучше верхних, и думала про Рукоятникова:

— Ага! Тебе все еще мало? Тебе все равно? Так вот же тебе! Вот! Получай!

И она совершенно неожиданно, повернув руку ладонью, прижала ее к губам Овечкина.

Сразу после обеда Гусев увез жену и всю дорогу молчал, и только дома, сняв пальто, сказал веско:

— Передайте от меня вашему любовнику, что я раскрою надвое его овечью морду. Слышали?

— Ко… которому? — искренне спросила Гусева.

Но муж сразу понял, что она бесстыдно притворяется.

— Вам лучше знать, о ком я говорю!

Через три дня он спросил жену.

— Позвольте узнать, кто вас вчера провожал от Уткиных?

— Этот… как его… никто. Я одна приехала.

— Одна? А швейцар мне только что сказал, что вас провожал какой-то господин. Имени его швейцар не знает, но зато я знаю имя это очень хорошо. Слышали?

На другой день Гусев спрашивал:

— С кем вы изволили быть вчера в театре?

— Ах, с этим… как его… с Катей Поповой.

— Вот как! А Иван Иваныч видел вас с каким-то господином. Это становится скандалом на весь город. Слышали?

— Через два дня Гусев уже кричал и топал:

— Так вот где вы пропадаете весь день! Вы изволите разгуливать по Захарьевской с вашим бесстыдником! Все вас видели! Вы треплете мое имя по Захарьевской! Я этому скоро положу конец. Предупредите вашего любовника. Слышали?

В тот же вечер Гусева томно вздыхала на плече у Мишеля Рукоятникова.

— Мишель! Центавр все узнал. Мишель! Центавр убьет тебя!

Мишель не грешил излишней храбростью, и поэтому у него как раз кстати на другой же день подвернулась командировка. Печаль Гусевой не поддавалась описанию, поэтому выходило очень бледно и вяло, когда она в тот же вечер пыталась описать ее акцизному Кобзику.

— Вы знаете, я до сих пор не могу его забыть! — стонала она.

Кобзик утешал, как умел, до пяти часов утра.

— С кем вы прощались на лестнице? — спросил муж. — Это переполнило чашу моего терпения! Слышали?

К Кобзику скоро приехала жена из провинции и опустевшее место около Гусевой заняли одновременно поэт Веткин и купец Мотин. У обоих было так много недостатков, что, сложив их достоинства вместе, едва можно было получить одного сносного человека.

— Я знаю, с кем вы вчера ездили на выставку! — говорил муж.

Поэт декламировал стихи. Купец зато был веселее, и Гусев спрашивал:

— С кем вы изволили ужинать у Контана? Если вы забыли, то я никогда не забуду его имени.

Она пошла к поэту в его келью, потому что он обещал показать ей одну редкую вещицу.

Вещица оказалась просто обгрызанным карандашом Фабера № 2.

— Да, но он, по легенде, принадлежал когда-то Тарквинию Гордому! — оправдывался поэт.

А муж сказал утром:

— Я знаю, где вы вчера были. Сегодня я узнаю его адрес и положу всему конец. Слышите?

Бухгалтер Овечкин был очень испуган, увидав грозный лик Гусева.

— Милостивый государь! — ревел Гусев. — Я не предлагаю вам дуэли, потому что она запрещена полицией, но если вы сейчас же не дадите мне клятвы, что вы раз навсегда оставляете мою жену в покое, то я немедленно выбью из вашей головы всю вашу гнусность вот этой самой тростью.

Овечкин глядел из-за своих кустов таким тревожным и печальным зайцем, что на него не посягнула бы даже самая разъяренная борзая.

Гусев, встретив его взгляд, немножко осел и перевел крик на простой разговор.

— И как это вам не стыдно, милостивый государь, соблазнять честную женщину, семьянинку? Я еще тогда понял, когда вы очаровывали ее своими гнусными прелестями за ужином у Егоровых, — что вы за птица. Я знал, что вы свою жертву не выпустите! И я предлагаю вам еще раз дать

мне клятву, и если вы не сдержите ее, то узнаете, что такое Андрей Гусев! Слышите?

— Я к... к... клянусь! — тоскливо лепетал Овечкин. — Клянусь и об-бешаю.

Все его кусты взъерошились, и глаза покраснели.

Гусев усмехнулся презрительно:

— Прощайте-с! Аполлон Бельведерский!

Оставшись один, Овечкин долго вздыхал, качал головой и разводил руками, потом прокрался на цыпочках в хозяйкину комнату и подошел к зеркалу.

— Ничего не понимаю! Почему именно Аполлон? Неужели, действительно, они это находят?

Он выставил ногу, вытянул руку, и долго оглядывал свое отражение с тоскливой тревогой.

— Нет! — недоумевал он, — В конце концов, вернее, что не особенно похож! Но в чем же дело? Боже мой, в чем же дело?!

Острая болезнь

Он был до такой степени похож на барана, что даже собаки лаяли на него как-то особенно, не так, как лают на человека — со страхом и озлоблением, — а тихо, лениво потявкивали:

— Гав-гав!

— Знаем, мол, сами, что ты баран, существо безобидное, да уж обязанность наша такая, нужно порядок блюсти.

Люди относились к нему добродушно. Люди любят баранов. И говорили с ним, будто тпрукали.

— Здравствуйте, Павел Павлыч! (Тпру-тпру!) Какой вы сегодня оживленный (ах, ты, бяшка-барашка!). Пойдем, погуляем вместе (тпру, глупый, не бойся, бяшенька!).

Он был всегда очень серьезен и говорил вещи, чрезвычайно веско обоснованные.

— Вот вы сегодня надели пальто, вам будет теплее, — сообщал он, — а вчера вы были без пальто, и вам было холоднее.

Собеседник не мог ничего возразить, и Павел Павлыч гордо подымал свой крутой бараний лоб.

— Больные люди должны поправляться. А то что же хворать-то, — нехорошо.

— Полные не должны много есть. От еды полнеют.

И тут опять не поспоришь.

В немецком курортике, где Павел Павлыч поправлял свой желудок, маленький кружок русских больных относился к барану очень дружелюбно.

— Он, собственно говоря, очень милый, — говорили о нем. — Любезный и ни о ком плохо не отзывается.

Русский кружок, как всегда в курортах, часто менялся, — одни уезжали, другие приезжали, — но основное ядро составляли пять человек: две курсистки — толстая, с прической à la Клео де-Мерод, и тощая, совсем не причесанная, — два адвоката — Ротов и Бирбаум — и дама Анна Ивановна — не то капиталистка, не то анархистка, простая, веселая, с веснушками на руках.

И все пятеро дружили с бараном и находили его премилым.

Но вот однажды утром, после холодной ванны, Ротов сказал Бирбауму:

— Сегодня идем в горы?

— Конечно, как условились, в три часа. Не знаю только, сможет ли Павел Павлыч: он, кажется, занят.

И вдруг Ротов сказал удивительную, неслыханную вещь. Он сказал:

— А собственно говоря, это к лучшему, если он не сможет.

Бирбаум посмотрел на товарища с недоумением.

— Как вы сказали?

— Да, знаете, что-то он мне на нервы действует. Болтает какую-то ерунду.

— Да что вы! Он такой серьезный, такой милый, у вас просто нервы не в порядке.

Ротов сконфузился.

— Да я ничего и не говорю, — он действительно очень милый. Кроме любезности, я ничего от него не видел. Итак, значит, идем в горы?

Павел Павлыч смог принять участие в прогулке. Шли бодро, весело болтали.

Только Ротов был как-то задумчив и то бежал впереди всех, то плелся сзади, молчаливый и безучастный.

Баран был в хорошем настроении.

— Под гору-то идти куда легче, чем на гору, — сообщал он всем по очереди.

— Идите, идите, Марья Петровна, — подбодрял он толстую курсистку в прическе à la Клео де-Мерод. — Кто хочет похудеть, тот должен много ходить. От сидячей жизни люди полнеют.

Никто не мог ничего возразить ему, и разговор мог бы навсегда оборваться, если бы Павел Павлыч оказался менее находчивым и оживленным. Но он так и сыпал:

— Только бы дождь не пошел, а то мы смокнем. Ужасно неприятно, когда, этак, дождик застигнет. И платье испортит, да и простудиться можно. В сыром платье очень легко схватить простуду. Что? Никак опять подъем? На гору-то, знаете, тяжело идти, а с горы — живо! С горы легко.

Бирбаум отстал немножко и шепнул уныло шагающему Ротову:

— А ведь он и правда какой-то утомительный. Хотя, в сущности, очень милый...

— Ну, конечно, очень милый, — кротко вздохнув, согласился Ротов и вдруг весь вспыхнул и затряс кулаками.

— А черт бы его драл с его милостью! Всю прогулку испортил. Ведь я из-за него не вижу ничего. Кругом горы, долины, красота, а я иду и все время мысленно повторяю: «Чтоб ты сдох! Чтоб ты сдох! Чтоб ты сдох!» Нарочно подальше держусь, чтоб не выругаться.

— Ну, Бог с вами! — успокаивал его Бирбаум. — Он, в сущности, такой милый, нехорошо, если заметит.

— А пусть его замечает. Чтоб он сдох!

Но через несколько минут Ротов, видимо, успокоенный, присоединился к обществу, стал болтать, острить и даже подпирал барана, когда тот устал лезть на гору. Щеки у Ротова порозовели, и он снова имел вид здорового и веселого человека.

Через четверть часа Бирбаум отозвал его и, крепко взяв под руку, зашептал смущенно и испуганно:

— А знаете, вы правы. Он, собственно говоря, очень мил, но трудно с ним как-то... Он вдруг говорит — вы слышали?

«Седые волосы чаще бывают у стариков, чем у молодых». А? Слышали вы это?

Бирбаум вдруг весь задрожал, злобно оскалился и заметил сквозь судорожно стиснутые зубы:

— Да как он смеет это говорить, идиот проклятый! Что он, нас всех дураками считает, что ли? Ведь это же нахальство! Это — издевательство над людьми! Его проучить надо!

Ротов, испуганный и удивленный, не знал, что делать.

— Да полно, голубчик! Ну что за вздор. Ведь он, в сущности, такой милый, обязательный, любезный... Ну, конечно, он немножко того... доктринер. Ну, успокойтесь! Право, неловко.

Бирбаум вздохнул глубоким, вздрагивающим вздохом, как дети после плача, и притих.

Через десять минут он уже принимал участие в общем разговоре и ласково хлопал барана по плечу.

На другое утро Ротов встретил Анну Ивановну. Она издали махала ему своим красным зонтиком и кричала:

— Идемте сегодня опять в горы? А? Чего тут зря болтаться. А?

Ротов задумался:

— Я, собственно говоря, занят, то есть я пойду с удовольствием, если... А Павел Павлыч идет?

— Должно быть. Как же без него-то?

— А знаете, скажу вам откровенно — он мне надоел!

Анна Ивановна поджала губы, выпучила глаза и вдруг сочувственно покачала головой:

— А знаете, голубчик, ведь и правда, он надоедливый. Тошный какой-то. Представьте себе, вчера, во время прогулки, вдруг говорит: «Красивые женщины всегда больше нравятся, чем некрасивые». Ну, не глупо ли? Ну кто, скажите, этого не знает? Подумаешь — новость сообщил. Это меня почему-то так обозлило, что прямо вспомнить не могу.

Она стукнула зонтиком, и на глазах у нее выступили слезы.

— Дурак поганый!

Ротов успокаивал ее, как мог, неубедительно и вяло.

— А знаете, курсистка Вера уже давно не может его выносить. Она только показывать не хочет.

— Ну как же можно показывать! За что же обижать человека?

Прогулка состоялась без барана. Баран был занят. Но он невидимо присутствовал, потому что не проходило и десяти минут, как с кем-нибудь делался острый припадок ненависти. Первая начала курсистка Вера.

Длинная, тощая, она махала руками, визжала и чуть не скатилась с обрыва.

— Как он смеет говорить мне, что зубная боль неприятна! Как он смеет! Это — нахал, это — подлец! Это — зверь!

Остальные хором успокаивали ее.

— Как не стыдно, он такой милый! Такой любезный!

Вторым был Бирбаум, третьей — Анна Ивановна, четвертой — два раза подряд толстая курсистка Марья Петровна. После нее схватило Ротова, потом снова Анну Ивановну, и опять перебрало всех по очереди.

Возвращаясь домой, все дали друг другу слово вести себя так, чтобы Павел Павлыч отнюдь не заметил этой горькой перемены в отношении к нему.

— За что же обижать человека? Он такой милый... такой услужливый.

На следующий день барану объявили, что без него прогулка ни за что не состоится. Баран, давно сознававший себя душой общества, не удивился, поломался немножко и милостиво согласился. Но вечером идти вместе в кафе почему-то отказался.

— Господи! Он, кажется, все понял! — в отчаянии твердила Анна Ивановна. — Ведь это ужасно! За что? За что? Нужно быть с ним полюбезнее. Я завтра пошлю ему букет роз.

— Господь с вами, Анна Ивановна, но ведь это неловко! Посылать мужчине цветы!

— Ну, чем же он виноват, что он — мужчина? Вы вечно так! Он такой милый, и это прямо грешно так относиться к человеку! Стыдно! Стыдно! — кричала она на Ротова и вдруг забилась в остром припадке: — Он вчера сказал, что на даче летом хорошо, а зимой плохо, потому что холодно. Я не могу этого больше выносить! Я сегодня же уеду!

Еле ее успокоили. Но цветы барану она все-таки послала и даже после обеда играла с ним в шахматы, а все кругом сидели и ласково улыбались. Только изредка кто-нибудь подхватывал соседа под руку, увлекал в другую комнату, и все

общество вздрагивало, прислушиваясь к глухим подавленным воплям, доносившимся через запертую дверь.

Баран, видя общее исключительное к себе внимание, стал немножко зазнаваться. Подсмеивался над толстой курситской, игриво подталкивал Анну Ивановну и говорил с Бирбаумом и Ротовым не иначе как презрительно прищурив глаза, и не упускал при случае лягнуть их копытом.

— Это у вас что на голове? Луна? — спрашивал он лысого Бирбаума.

Все кругом, и сам Бирбаум, делали вид, что это очень мило, весело и тонко сказано.

— Ах, только бы он не догадался! Только бы не догадался! — мучались все.

А баран лягал направо и налево и катался как сыр в масле.

Компания бледнела, худела, чахла и таяла на глазах. Даже толстая курсистка ушила себе платье на три сантиметра.

— Я рада, что стала тоньше, — грустно говорила она, — но покупать себе стройность такою ценою слишком тяжело.

И вдруг совершенно неожиданно нарыв лопнул.

Как-то вечером, прощаясь, баран кинул вскользь:

— А я завтра утром уезжаю.

Все затрепетали, взметнулись.

— Как? Что? Куда? Быть не может!

— Не век же тут жить, — холодно ответил баран. — Пора и домой.

Пять пар глаз переглянулись с тоской и тревогой.

— Догадался!

— Неужели догадался?!

— О, ужас!

— Обиделся!

— Стыдно! Стыдно! Стыдно!

Прощались с бараном нежно и трогательно. Обещали писать и просили на память бараньи портреты. Хотели все бежать на вокзал провожать, но баран уехал рано утром, и к поезду поспел один Ротов.

— Павел Павлыч! Дорогой! Надеюсь, вы сохраните не совсем плохое воспоминание обо всей нашей маленькой компании, душой которой вы были все время, — лепетал он, стараясь расчувствоваться.

— Хе-хе, дорогой мой, — надменно прервал его баран. — Вам надо еще полечиться. Уж очень вы все какие-то чувствительные. Само собою разумеется, что я думаю обо всех вас, как об очень милых людях, но, по правде говоря, — уж вы не сердитесь, — надоели они мне все до истерики.

— Как? Что? — выпучил глаза Ротов.

— Ну, да уж вы не сердитесь. Я, конечно, не о вас, но эта Анна Ивановна с ее цветами и требованиями водить ее под ручку. Ведь это прямо не-при-лично! Это нагло! Ни малейшего женского достоинства! Эти курсистки, которые, очевидно, только о том и думают, как бы выскочить за тебя замуж.. эти адвокаты с заискивающими физиономиями, словно просящими: «Поручи нам дельце! Дай заработать!» Я, конечно, не о вас... Согласитесь сами, что это противно. Вы им только не передавайте. По-моему, нехорошо людей обижать. А? Но уж очень они мне опротивели. Виснут. Я из-за этого и уезжаю, а то бы еще пожил. Здесь недурно. В хорошую погоду, по-моему, приятно погулять. Вот в дождик — хуже. Можно промокнуть. Не правда ли? По-моему, можно. До свидания, дорогой мой, адье-с! Кланяйтесь им всем. Они, в сущности, милые люди, и все-таки я рад, что развязался. Адье-с!

Поезд давно уже отошел, а Ротов все стоял и смотрел на то место, где только что обрисовывалось в окошечке баранье лицо и откуда только что блеял на него откровенный бараний рот...

— Так за что же мы губили себя так жестоко и так глупо?!.

Жест

На улице было и темно, и мокро.

Фонари горели тускло.

Фонари такие подлые: когда человеку на душе худо, они, вместо того чтобы подбодрить, назло начинают гореть тускло.

У Молоткова на душе было очень худо. А в кармане всего рубль.

Молотков хлюпал калошами и бранил погоду.

— Все вместе! И скверная погода, и дождь! Небось, в хорошую погоду дождь не пойдет, а вот, когда и без того мокрель, тут-то он и припустит.

Домой возвращаться не хотелось. Дома было сыро; под платяным шкапом крыса выводила свое молодое поколение и от полноты бытия пищала по ночам тонким, свирельным писком. А квартирная хозяйка сказала, что печи топить начнет только «в дектябре». А что такое «дектябрь» — кто ее знает? Хорошо еще, если октябрь, а как декабрь — тогда что?

Нет, домой возвращаться не стоило.

А кроме дома, в целом мире был еще только Петухин. Но к нему идти невозможно, потому что рубль, покоящийся в кармане Молоткова, был занят именно у Петухина.

Печальные мысли Молоткова внезапно были прерваны отрадной и живописной картиной: из дверей маленького ресторанчика швейцар выводил под руки упирающегося господина с котелком на затылке. Господин ругался громко, но бессвязно.

— Вот где жизнь кипит! — подумал Молотков, и душа его вспыхнула.

Он вспомнил далекое прошлое, кутежи, попойки.

— Вот ведь и меня когда-то выводили так же из ресторана под ручку, и лакей подталкивал сзади. Кто бы теперь этому поверил? Сколько было выпито, съедено... Турнедо а ля... даже забыл, а ля что! Да! Были когда-то и мы рысаками! Согрей мне, братец, бутылочку Понте... ка... как ее там?..

Машинально поднялся он по лестнице, почувствовал, как с него снимают пальто, с удивлением посмотрел в зеркало на седенькую, мохрастую бородку и засаленный галстук жгутиком.

Но когда сел за столик, тотчас забыл про то, что увидел в зеркале, постучал по столу и молодцевато заказал чашку кофе.

— Я, может быть, уже пообедал где-нибудь почище. Да-с! А сюда зашел по дороге выпить кофе. Давненько я не бывал в ресторанах. Как-то у них теперь? Так ли все, как в наше время? Я, может быть, помещик и живу уже несколько лет в своем имении. В благоустроенном имении. У кого, братец

мой, есть благо-устро-енное имение, тот не станет, братец мой, шататься по ресторанам.

Он медленно прихлебывал кофе, с интересом оглядывал публику.

Вон какие-то три господина пьют водку и что-то заказывают лакею. Лакей почиркал в книжке, побежал в буфет.

— Пст! Пст! — перехватил его Молотков и, приподняв брови, спросил таинственно: — Что они заказали?

— Борщок-с!

— Дур-рачье! — фыркнул Молотков. — Есть не умеют! Им надо уху с расстегаями, а не борщок! Выдумали тоже — борщок!

— Виноват-с! — метнулся лакей к буфету.

Но Молотков удержал его:

— Постой, братец! Скажи им, что я им советую заказать уху. Скажи: господин Молотков советуют.

— Виноват-с... не могу-с... хорошо-с...

Лакей убежал, а Молотков долго еще сердито фыркал и повторял:

— Борщок! Дуррачье! Туда же в ресторан лезут! Ха!

За соседний столик села какая-то парочка. Заказала что-то непонятное.

Молотков снова подозвал лакея и полюбопытствовал:

— Что заказали?

— Раков по-русски.

— Раков? — Молотков сдвинул брови и серьезно обдумал. — Раков? Это еще ничего, это можно. А сказали, чтоб в квасу варил? Этого, небось, сообразить не могут. Вот-то дурачье! Раков нужно в квасу варить. Скажи им, что это я им посоветовал. Господин Мо-лот-ков. Запомнишь? Вели повару, чтобы в квасу.

Но лакей убежал с таким видом, точно ему решительно все равно, как нужно варить раков.

Молотков оглядел зал и горько усмехнулся.

— И это люди! Хлебают какой-то борщок. А что такое борщок? Кому он дорог? Кому он нужен? Живут, как слепые. Вот тот, рыжий, сидит с дамой, а сам газету читает. Хам! Пст! Челаек! Посмотри-ка, братец, какой там у вас невоспитанный сидит. С дамой, а читает. Правда, братец, нехорошо? А? А? Ведь, это же не того, нехорошо?

Он заискивающе глядел в глаза лакею, искал сочувствия. Но тот усмехнулся криво, неискренно и отошел.

— Служить не умеют! — подумал Молотков. — Разве это лакей! Я, может быть, богатейший золотоискатель, одеваюсь просто, потому что не хочу бросаться в глаза. Я, может быть, только сегодня кофе пью, а завтра приду да две дюжины шампанского вылакаю. Да я, может быть, завтра все зеркала у них переколочу! Да меня, может быть, завтра под руки выводить придется, за шиворот выволакивать! Почем они, черти, знают, что у меня один петухинский рубль, занятый на предмет керосина и подлежащий отдаче в четверг полностию? А?

Воспоминание о рубле засосало под ложечкой, но в эту минуту загудела граммофонная труба:

В час роковой, когда встретил тебя-а.

— Дуррачье! Жить не умеют. Пст! Чела-ек! Какое ты им, братец, вино подавал? Как? Лафит? Дурачье! Пить не умеют! Им нужно было это… Понте-ка… как его там, а не лафит. Ну, иди, иди!

Три господина, безрассудно съевшие борщок, расплатились и вышли.

Молотков подозвал лакея.

— Сколько, братец, они тебе дали?

— Сорок копеек.

— Сорок копеек за три персоны? Сами лакеи!

Он вскочил, негодующий, гордый. Ему даже показалось, что он очень высокий человек в смокинге.

— Сколько с меня? — спросил он, поворачиваясь к лакею в профиль.

— Двадцать пять.

Он сунул руку в карман; глаза его сверкнули.

— Вот вам! — сказал он, бросая рубль лакею. — Сдачи не надо!

* * *

«Да, это был жест! — думал он, напяливая в передней свое серое пальтишко и стараясь не замечать в зеркале старичка, трясущего мохрастой бороденкой. — Пусть поймут, с кем имели дело!»

Легенда и жизнь

I

Легенда

Колдунья Годеруна была прекрасна.

Когда она выходила из своего лесного шалаша, смолкали затихшие птицы и странно загорались меж ветвей звериные очи.

Годеруна была прекрасна.

Однажды ночью шла она по берегу черного озера, скликала своих лебедей и вдруг увидела сидящего под деревом юношу. Одежды его были богаты и шиты золотом, драгоценный венчик украшал его голову, но грудь юноши не подымалась дыханием. Бледно было лицо и в глазах его, широко открытых, отражаясь, играли далекие звезды.

И полюбила Годеруна мертвого.

Опрыскала его наговорной водой, натерла заклятыми травами и три ночи читала над ним заклинания.

На четвертую ночь встал мертвый, поклонился колдунье Годеруне и сказал:

— Прости меня, прекрасная, и благодарю тебя.

И взяла его Годеруна за руку и сказала:

— Живи у меня, мертвый царевич, и будь со мной, потому что я полюбила тебя.

И пошел за ней царевич, и был всегда с нею, но не подымалась грудь его дыханием, бледно было лицо, и в глазах его, широко открытых, отражаясь, играли далекие звезды.

Никогда не смотрел он на Годеруну, а когда обращалась она к нему с лаской, отвечал всегда только «прости меня» и «благодарю тебя».

И говорила ему Годеруна с тоскою и мукою:

— Разве не оживила я тебя, мертвый царевич?

— Благодарю тебя, — отвечал царевич.

— Так отчего же не смотришь ты на меня?

— Прости меня, — отвечал царевич.

— Разве не прекрасна я? Когда пляшу я на лунной заре, волки лесные вьются вокруг меня, приплясывая, и медведи

рычат от радости, и цветы ночные раскрывают свои венчики от любви ко мне. Ты один не смотришь на меня.

И пошла Годеруна к лесной Кикиморе, рассказала ей все про мертвого царевича и про любовную печаль свою.

Подумала Кикимора и закрякала:

— Умер твой царевич оттого, что надышался у черного озера лебединой тоской. Если хочешь, чтобы он полюбил тебя, возьми золотой кувшинчик и плачь над ним три ночи. В первую ночь оплачь молодость свою, а во вторую — красоту, а в третью ночь оплачь свою жизнь; собери слезы в золотой кувшинчик и отнеси своему мертвому.

Проплакала Годеруна три ночи, собрала слезы в золотой кувшинчик и пошла к царевичу.

Сидел царевич тихо под деревом, не подымалась дыханием грудь его, бледно было лицо, и в глазах его, широко открытых, отражаясь, играли далекие звезды.

Подала ему Годеруна золотой кувшинчик.

— Вот тебе, мертвый царевич, все, что у меня есть: красота, молодость и жизнь. Возьми все, потому что я люблю тебя.

И, отдав ему кувшинчик, умерла Годеруна, но, умирая, видела, как грудь его поднялась дыханием, и вспыхнуло лицо, и сверкнули глаза не звездным огнем. И еще услышала Годеруна, как сказал он:

— Я люблю тебя!

* * *

На жертвенной крови вырастает любовь.

II

Жизнь

Марья Ивановна была очень недурна собой. Когда она танцевала у Лимониных «па д'эспань» с поручиком Чубуковым, все в восторге апплодировали и даже игроки бросили свои карты и выползли из кабинета хозяина, чтобы полюбоваться на приятное зрелище.

Однажды ночью встретила она за ужином у Лягуновых странного молодого человека. Он сидел тихо, одетый во

фрак от Тедески, грудь его не подымалась дыханием, лицо было бледно, и в глазах его, широко открытых, отражаясь, играли экономические лампочки электрической люстры.

— Кто это?

— Это Куликов, Иван Иваныч.

Она пригласила его к себе и поила чаем с птифурами и кормила ужином с омарами и играла на рояле новый «Ту-степ», припевая так звонко и радостно, что даже из соседней квартиры присылали просить, нельзя ли потише.

Куликов молчал и говорил только «пардон» и «мерси».

Тогда пошла Марья Ивановна к приятельнице своей, старой кикиморе Антонине Павловне, и рассказала ей все об Иване Иваныче и о любовной печали своей.

— Что делать мне? И пою, и играю, и ужин заказываю, а он сидит, как сыч, и, кроме «пардон» да «мерси», ничего из него не выжмешь.

Подумала кикимора и закрякала:

— Знаю я твоего Куликова. Это он в клубе доверительские деньги продул, оттого и сидит, как сыч. Все знаю. Он уже к Софье Павловне занимать подъезжал и мне тоже намеки закидывал. Ну, да с меня, знаешь, немного вытянешь. А если ты, действительно, такая дура, что он тебе нравится, так поправь ему делишки — он живо отмякнет.

Позвала Марья Ивановна Куликова.

Сидел Куликов на диване, и не подымалась дыханием грудь его, бледно было лицо, и в глазах его, широко раскрытых, отражаясь, играли экономические лампочки электрической люстры.

Сидел как сыч.

И сказала ему Марья Ивановна:

— Сегодня утром прогнала я своего управляющего, и некому теперь управлять моим домом на Коломенской. Как бы я рада была, если бы вы взяли это на себя. Делать, собственно говоря, ничего не нужно — всем заведует старший дворник. Вы бы только раза два в год проехали бы по Коломенской, чтобы посмотреть, стоит ли еще дом на своем месте или уже провалился. А жалованья получали бы три тысячи.

— Пять? — переспросил Куликов, и лампы в глазах его странно мигнули.

— Пять! — покраснев, ответила Марья Ивановна и замерла.

Но, замирая, видела, как грудь его поднялась дыханием и вспыхнуло лицо его, и сверкнули глаза не экономическим светом.

И еще услышала Марья Ивановна, как сказал он:

— Я совсем и забыл сказать вам... Маруся, я люблю тебя!..

* * *

На жертвенной крови вырастает любовь.

В вагоне

— Извините меня, мадам, вам фамилия Вигдорчик?

— Извините, мадам, мне фамилия вовсе Цуккерман.

— Цуккерман? Таки Цуккерман! Я бы никогда не подумала! А вам родственники Цуккерзоны?

— Нет, таких не имею.

— Ну, они же очень богатые люди. Кто не знает Цуккерзонов! Своя фабрика, свои лошади, да еще хочут свой автомобиль купить, уже два года хочут. Бедный человек ничего подобного хотеть себе не позволит. А раз человек хочет автомобиль, а не селедку с луком, значит, у него где-то в кармане что-нибудь деньги есть. Цуккерзоны — ого! Цуккерзоны богатые люди.

— А может, они и родственники, разве я знаю. Даже, наверное, родственники. Только я этим гордиться не стану. Мне гордиться некогда. У нас бумажное дело.

— А где вы, извините мене, имеете постоянное жительство?

— Мы живем себе в Риге.

— В Риме? Ой, мадам, мадам, так вы же счастливый человек, мадам!

— Фа! Чего там!

— Да ведь это же-ж, наверное, такая красота! Я бы дорого дала, чтоб хоть одним глазом посмотреть!

— Может, одним так и хорошо, а как я двумя смотрю, так мне уж и надоело.

— Ну, вы, наверное, шутите! А скажите, мадам, вы, конечно, по-итальянски говорите? Ой, хотелось бы мне хоть одним ухом послухать!

— По-итальянски? Ну, чтобы да, так нет. Зачем я имею говорить по-итальянски?

— Ну, а если вам что у итальянцев купить надо, так вас не поймут?

— Ой, что вы говорите? Если там какой паршивец с обезьяном станет мне фальшивые янтари предлагать, так я буду из-за него итальянский язык ломать? Фа! Очень мне надо!

— Ой, мадам, вы меня удивляете! А скажите, как там природа, очень жаркая?

— Ну, чтобы очень, так нет. Летом таки ничего себе.

— А у меня одно знакомое лицо там было, так уверяет, что вспотело.

— Может, врет.

— Чего он станет врать? Что я ему платить буду, чтоб он врал, или что?

— Так вы, мадам, не обижайтесь. Господин Люлька богатый человек, имеет свою аптеку, а врет, как последний голодранец. Если он утром кофе кушал, так непременно всем скажет, что чай пил.

— Ну, пускай себе. Пусть мои знакомые не вспотели. Я спорю? Что? Ну, а скажите, какая у вас там красота в природе? Верно поразительная? Я уж себе представляю различный кактус и прочих животных и деревьев!

— Ну, чего там! Ничего особенного. Вы разрешите открыть окно? Тут душно.

— Позвольте, я вам сама открою...

— Ну чего же-ж вы беспокоитесь...

— Так мне же-ж не трудно... Ну, вот. Теперь вам приятно? Я очень рада, что могла услужить. Так все-таки природа у вас чего-то замечательного?

— Фа! Это — природа!

— Ну, конечно, кто привык к красоте, тому уже не удивительно. Ах, мадам, прямо смотреть на вас приятно. И вот, думаю, и человек, который наслаждается. Прямо на вас какой-то особенный отпечаток. Эта брошечка... там купили?

— Эту? В Вильне. А вы, мадам, имеете деток?

— Имею дочку. Ах, что это за дитя! Прямо чего-то особенного. Красавица, прямо даже говорить стесняюсь. Но только одно плохо: глаза, можете себе представить, такие чудные, как у меня, брови также мои, лоб, щеки, даже, если хотите, нос, а внизу все — отец, отец и отец! Прямо чего-то удивительного! Такая молодая девочка — и вдруг глаза, брови, если хотите, даже нос — все мое, а внизу — отец, отец и отец! Такое замечательное дитя! Хочу повезти ее на будущий год показать ваш великий город. Только возня — а заграничные паспорта, а то, а другое...

— А на что вам заграничные паспорта? Чтобы к нам ехать, вам заграничных паспортов не надо!

— Ну, вы меня удивляете?

— Вы, пожалуй, в Москву поедете с заграничным паспортом?

— Так то же-ж Москва!

— Ну, а чем вам Рига не Москва?

— А на что мне Рига, что вы мне Ригу в нос тычете?

— Так вы же-ж хотите в Ригу.

— В Ригу? Я хочу в Ригу? Нет, слыхали вы что-нибудь подобное!

— Извините, мадам, только вы как услышали, что я из Риги, так вы совершенно сами себя потеряли. Вы в мене прямо вцепились зубами в глотку! Я никогда не слыхала, чтоб человек так через Ригу помешался!

— Извините, мадам!.. Но только вы сами...

— Нет, вы мене извините, а не я вам!

— Нет, уж извините, а это вы мене извините. Потому что вы тут нахвастали, а теперь сами не знаете что! И потрудитесь закрыть окно, потому что мне в зуб дует.

— Будете мне толковать, что дует! Выправляйте себе заграничный паспорт на Ригу. Ха-ха!

— И она еще уверяет, что Цуккерзоны ей родственники! Да Цуккерзон вас знать не желает. Я ему расскажу, что вы в родню лезете, так он так засмеется, что у него жилет лопнет! Вот вам!

— Ах, очень мне важно! Прошу не трогать окошко — мне душно.

— Едет себе из Риги, так уж думает, что она Сара Бернар!

— Такой неинтеллигентной встречи нигде не найдешь! Прошу оставить мое окно.

— Это уже ее окно! Слыхали вы это! Что, вы Виндаво-Рыбинская дорога или что?

— Прошу вас помнить, с кем вы говорите!

— С мещанкой из Риги!

— Очень интеллигентно! Прошу вас оставить окно.

— А когда мене дует в зуб...

— Извините, мадам...

— Нет, вы извините...

— Нет, извините, это вы мене извините. Кондуктор! Кондуктор! Прошу вас пересадить меня на другое место. Здесь у вас рижские пассажирки сидят!

— Фа!

В сетях логики

Людмила Александровна вскочила в восемь часов утра.

Мы всегда определяем наше пробуждение следующими вариациями: если пробуждение произошло в десять часов, то говорим:

— Я сегодня проснулся в десять.

Если в двенадцать, то:

— Я сегодня встал в двенадцать.

Если в девять, то:

— Я поднялся в девять.

Но если в восемь часов, то непременно скажут: «вскочил».

Как бы медленно это ни совершилось, с зевотой, потягиваньем, ворчаньем, — все равно, нужно говорить:

— Я вскочил в восемь!

Итак, Людмила Александровна вскочила в восемь.

Села и сразу стала соображать, что вскочила она не даром и что ей надо успеть за день проделать великое множество всяких дел: купить чемодан, заказать спальное место, заехать к шляпнице, корсетнице, портнихе, в аптекарский магазин и сделать два визита.

С чего начать?

— Глупо метаться без толку, нужно составить план и маршрут, иначе никуда не поспеешь. Итак, поеду я прежде всего к шляпнице...

Людмила Александровна уже спустила ноги с кровати, как вдруг приостановилась.

— К шляпнице? Почему же именно к шляпнице? Почему не к портнихе? Почему не в аптекарский магазин?

Ответа в душе своей она не нашла. Оглядела широко раскрытыми глазами пол, потолок и все стены, кроме той, которая была за спиной.

Но и здесь, к великому своему недоумению, ответа не нашла.

— Нет, нужно сосредоточиться, — решила она наконец. — Аптекарский магазин ближе всего, следовательно, с него и надо начинать.

Ясно?

Но тут навстречу аптекарскому магазину всплыла другая мысль — острая и веская.

— Умно! Буду болтаться по городу, волосы растреплются, а потом изволь шляпу примерять? Конечно, прежде всего нужно к шляпнице.

Правильно?

— Но, с другой стороны, шляпа раньше двенадцати, наверное, готова не будет, и я только время потеряю. Тогда почему бы не съездить к корсетнице? К корсетнице? Очень хорошо, пусть будет к корсетнице. Но почему же я непременно должна ехать к корсетнице, а не за чемоданом? Ну, ладно! Поеду за чемоданом. Гм... Аптекарский магазин? Чем аптекарский магазин хуже чемодана? Но, с другой стороны, чем чемодан хуже аптекарского магазина? Умный человек должен рассуждать правильно, а не валять наобум, как попало. А аптекарский магазин ближе всего — значит, с него и надо начинать. Но, с другой стороны, корсетница дальше всех — следовательно, надо начинать с нее, а потом на обратном пути к дому все остальное. Или начать с ближайшего, сделать все постепенно, а потом прямо домой.

А визиты?

Тут Людмиле Александровне стало так плохо, что пришлось немедленно принять валерьянки.

Но и валерьянка не успокоила.

— Что со мной делается! — мучилась Людмила Александровна. — Что со мной будет! Логика меня заела! Нет, нужно сосредоточиться. Начнем опять сначала. Главное — не волноваться и рассуждать правильно.

— Итак, начну с корсетницы. Поеду прежде всего к корсетнице, то есть к шляпнице. Но почему к шляпнице, когда ближе всего в аптекарский магазин? Но почему же начинать с ближайшего, когда можно начать с дальнейшего?

Тут у нее сделалась мигрень, и она прилегла отдохнуть.

Отдохнув, стала думать снова:

— Допустим, что я поеду в аптекарский магазин. Допустим! Но почему? Почему я должна ехать именно в аптекарский магазин прежде всего?

Холодный пот выступил у нее на лбу. Она чувствовала, что выхода нет и она гибнет.

Вскочила, подбежала к телефону:

— 553-54! Ради Бога, барышня, скорее, — 553-54!

— Я слушаю, — раздалось в ответ.

— Верочка! Дорогая! Со мной большое несчастье! — залепетала дрожащим голосом Людмила Александровна. — Понимаешь, большое несчастье! Мне нужно к портнихе, к корсетнице, в аптекарский магазин, за чемоданом.

— Нужно, так и поезжай! — раздался возмутительно-спокойный ответ.

— Так как же мне быть? С кого же мне начинать? Ради Бога, скажи! Тебе со стороны виднее!

— Конечно, поезжай за чемоданом! — был решительный и быстрый ответ.

— За чемоданом? — удивилась Людмила Александровна. — А почему же не в аптекарский магазин, раз он ближе всего?

— Да плюнь ты на аптекарский магазин! Мало ли что.

— Так почему же тогда не к корсетнице? Она дальше всех, тогда с того конца?..

— Да плюнь ты на корсетницу! Вот еще! Очень нужно!

— Так ведь удобнее было бы...

— А мало ли что! Плюнь, да и все тут. Поезжай за чемоданом!

— Ты думаешь? — робко переспросила Людмила Александровна.

— Ну, разумеется. Ясно, как дважды два — четыре. Поезжай за чемоданом.

Людмила Александровна вздохнула, улыбнулась и бодро стала одеваться.

— Как много значит посоветоваться с другом. В каком я была безвыходном положении! Теперь, когда я знаю, что нужно ехать за чемоданом, все для меня стало легко, просто и ясно. Великое дело — посоветоваться.

Она быстро оделась и поехала… к шляпнице.

На подоконнике

Те, кому судьба не уготовила ни Ривьер, ни Карлсбадов, ни даже Черной речки для летнего отдыха, ложатся животом на собственный подоконник и проводят время не без приятности, получая чисто летние впечатления.

Зимой ведь ни за какие деньги не услышишь, как соседняя чиновница ругает свою кухарку.

Жителям нижних этажей видно, как дворники таскают дрова из подвала, а счастливцу, живущему в шестом, порой достаточно высунуть голову, как на него тотчас капнет прямо из ласточкина гнезда, из-под крыши, а уж это, как хотите, сама природа!

Павел Павлыч Самокошкин по дачам не ездил, но досуга имел летом достаточно. Поэтому устроился на подоконнике прочно и со вкусом. Пил чай, набивал папиросы, читал газету, смотрел вниз, вверх, вправо, влево — словом, жил полной жизнью.

На одиночество пожаловаться он не мог. Всюду кругом — и сверху, и снизу, и справа, и слева — торчали головы всех сортов, полов, возрастов, положений, состояний и настроений.

Головы обеспеченные, так сказать, барские, торчали с утра до вечера.

Головы бедные торчали только по вечерам, а днем высовывались лишь на несколько минут, движкмые соображениями коммерческими, когда надо было зазвать разносчика, либо запросами высших эстетических потребностей, когда загнусит внизу шарманка «Последний нонешний денечек».

Так как голова у Павла Павлыча Самокошкина была барская, обеспеченная, то и торчала она из окна с утра до вечера.

Павел Павлыч ни в чем себе не отказывал, и, когда у него от вечного лежанья на подоконнике устали локти, он приспособил себе подушечку.

Каждое утро он прежде всего оглядывал небо, озабоченно, деловито хмуря брови, как строгий хозяин, осматривающий, все ли в порядке в его владениях.

— А нынче как будто дождик собирается. И с чего бы это?

Жена Павла Павлыча, белобрысая и равнодушная, стучала швейной машинкой и делами потуоконными не интересовалась, так что говорил он больше для собственного самоудовлетворения.

— Огурчики зеленые! — кричит внизу разносчик.

— А почем у тебя, братец, огурцы? — любопытствует Павел Павлыч.

— Восемь гривен, отборные!

— Дорого хочешь, братец. Тут намедни по шесть гривен покупали.

— Возьмите десяточка три — уступим! — предлагает разносчик.

— Мне твоих огурцов, братец, не нужно, и уступки никакой от тебя не требуется, это я только так справился о цене, потому что каждое знание человеку на пользу.

Так мирно и приятно протекало время.

Даже когда дождь шел, Павел Павлыч находил в этом свое удовольствие. Он то подбодрял, то порицал это скучнейшее из явлений природы.

— Ишь как запузыривает! Лихо! А ну еще! А ну еще! — подзадоривал он.

Или укорял:

— Да перестанешь ли ты, Господи! Ведь этак одуреть можно.

Но вот однажды пришел во двор какой-то господин с кокардой, в сопровождении пузатого человека в картузе, долго шагали по двору, размеряли веревкой, рассуждали руками, крутили головой.

На другой день пришли мужики с лопатами, стали выковыривать булыжник и землю рыть.

— И чего это они? — волновался Павел Павлыч.

На следующий день, к вечеру, все понял: во дворе стали строить новый флигель.

Теперь Павел Павлыч стал вставать пораньше. Встанет — сейчас к окну. Пересчитает, все ли мужики на месте. Потом смотрит, все ли работают, не лодырничает ли кто.

Одного мужика в зеленой рубахе невзлюбил, зачем рыжий и зачем часто курит. Хотел даже домовладельцу анонимную жалобу написать, но вспомнил, что пишут анонимные письма только низкие души, и раздумал.

Потом плотники поставили леса.

Павел Павлыч смотрел, как вбивают сваи, и при каждом ударе приговаривал:

— Тэ-эк! Тэк ее! Тэ-эк!

Когда поднимали балки, он от сочувствия так кряхтел, что чуть не надорвался.

Мало-помалу приноровил всю свою жизнь к рабочим.

Не успеют они собраться в шесть часов утра, а он уже торчит у окошка. Злой, не выспавшийся, от вчерашней потуги еще спину ломит.

Когда рабочие уходили обедать, он наскоро закусывал и успевал полчасика всхрапнуть.

Потом снова за дело.

Газеты уже не читал. Некогда.

За погодой следил тоже кое-как, из пятого в десятое.

Не до этого было.

Когда стал подходить к концу его короткий отпуск, он начал сильно тревожиться и призадумываться.

— Придется попросить докторского свидетельства о болезни, чтобы хоть немножко отсрочили. Не могу я, теперь у меня самая горячая пора — за третий этаж принялись.

Свидетельства достать не удалось, но тем не менее Павел Павлыч на службу не пошел. Некогда было. Поднимали леса

на четвертый этаж. Потом тащили рельсы. С семи часов утра Павел Павлыч кряхтел у окна, так что даже жилы на лбу надулись.

Жена бросила швейную машинку и сказала, скосив глаза:

— Ты чего же это баклуши бьешь? Бездельник ты несчастный! Ведь погонят тебя со службы, так думаешь на мою шею сесть? Нет, миленький мой, мне родители шею-то не для лентяев поили-кормили ростили. Я, спины не покладая, день-деньской муку-мученскую на машинке принимаю, а ему бы только лодыря гонять да слонов слонять! У-у, бездельники!

Павел Павлыч всего мог ожидать, но только не этого.

Он весь побледнел от этой наглой несправедливости и дрожащими от гнева и скорби губами пролепетал:

— И я же еще и лентяй! И я же еще и лодырь!

Он развел руками в тоскливом недоумении, как бы обращаясь со своим горьким вопросом ко всему человечеству.

Но человечество, в лице его жены, хлопнуло дверью и застучало машинкой.

Тогда он перевел глаза на небо.

— И я же еще и лодырь?! — тихо повторил он.

Но небо молчало.

Автор

Дмитрию Щербакову

Директор Нового театра был в очень хорошем настроении. Вчера праздновали открытие сезона, говорили горячие и трогательные речи о служении искусству.

При слове «служение» директор закрывал глаза и ему казалось, что надето на нем церковное облачение и что он машет кадилом. И это приводило его в восторженное умиление.

Теперь он предавался сладким воспоминаниям и приведению в порядок счетов.

— Именно, служение... Актеру Завещанскому аванс тридцать, плотника выгнать... Служение — как высоко и красиво! Карманской — сорок два...

Вошел сторож.

— Автор хочет вас видеть.

— Автор? Какой автор? Пусть войдет.

И вошел. И вошел корявый, с бородатым носом, потому что, кроме носа и бороды, ничего в этом человеке не было, и поддерживалось это все кривыми ногами.

— Здравствуйте, добрейший!

Из-под бороды протянулись щупальца и облепили руку директора.

— Чего вы на меня смотрите? Можно подумать, что не узнали!

Директор смутился.

— Ну, что вы, помилуйте... Как же не узнать... Э-э-э, даже очень...

— Ну, то-то! Меня, милый мой, не только Европа — меня вся заграница знает! Недавно еще из Саратова письмо получил, что, мол, пишут, давно вас не видно, и так далее..

«Кто бы это такой мог быть? — пыжился директор. — Леонид Андреев не таков, Куприна тоже знают, Сологуба видал... Будем надеяться, что как-нибудь он сам проговорится»...

— Ну-с, так вот, добрейший, произведения мои вы, конечно, знаете?

— Н-да... ну, разумеется... с детства знаю... (Уж не Гончаров ли? Да Гончаров как будто помер...)

— Ну-с, так вот, был я в вашем театрике, — ничего себе. Еще не все потеряно. Еще можно кое-что из него сделать.

— Да?.. Еще не все?.. — похолодел директор и подумал:

«Значит, все было скверно, а я-то думал, что хорошо! Странное дело, — газеты хвалят, билеты нарасхват, а вот настоящие-то люди как относятся. Верно, это сам покойный Островский».

— Ну-с, — продолжала борода. — Принес я вам свою пьеску. Штучка небольшая, четырехактная.

— Простите, но ведь у нас жанр миниатюры.

— Ну, вот она и пойдет у вас вместо четырех миниатюр. Называется она «Жизнь проклята», драма.

— Простите, но у нас жанр с уклоном юмористическим.

— Так вы напечатайте «драма» с четырьмя «р». «Дррррама». Вот вам и будет юмористический уклон.

— А как же насчет содержания?

— Содержания я от вас потребую рублей пятьсот в месяц...

— Виноват, я насчет содержания пьесы.

— Пьеса моя... бытовая, но с преобладанием густокомических мест. Например, в третьем акте, там один безработный юноша хочет застрелиться, но так как у него нет средств на покупку револьвера, то ему приходится повеситься. Ха-ха-ха!

— Ха-ха-ха! — рассмеялся с перепугу и директор.

— Ну-с, и еще много в том же роде. Ваши актеры сумеют это разделать; это ведь не «Дама с камелиями» — вполне в ваших силах.

«Дама с камелиями», — мелькнуло в голове у обалдевшего директора. — Почему вдруг «Дама с камелиями»? Что он, Дюма-фис, что ли? Господи, хоть бы режиссер пришел, может, он знает!»

— Ну-с, а теперь поговорим об авансе. Пятьсот рублей. Четыреста пятьдесят сейчас, а с пятьюдесятью могу обождать. Ну-с?

— Простите, но у нас таких больших авансов вообще не...

— Позвольте, дорогой мой, мне некогда терять время. Вы сами взяли от меня пьесу, я должен был подгонять ее под ваш вкус и требования, делать густокомическую и так далее. Теперь, когда подходит дело к расплате, вы поете уже другую песню, и мне, человеку, известному не только в Европе, но и за границей, приходится кланяться за свой собственный труд. Ну, что ж, я вам уступаю. Я согласен на триста.

Сконфуженный директор полез в бумажник.

— Потрудитесь расписаться, — сказал он, подавая автору книгу.

Автор обмакнул перо, написал что-то вроде «Бря» и расписался.

— Бря! — прочел про себя директор. — Господи, вразуми раба твоего Алексия. Кто же это может быть этот

«Бря»? Куприн не Бря, и Арцыбашев не Бря, и... и никто не «Бря». Брямс, кажется, какой-то был, да и то, вернее, что Брамс, да и вернее всего, что помер. Все на «Бря» давно перемерли.

Автор ушел, стукнувшись обо все стулья по очереди.

И вдруг директор с отвагой отчаяния кинулся за ним.

— Виноват! Простите, ради Бога! Я только хотел спросить, как ваша фамилия... Как она произносится?

— Прямо как пишется! — с достоинством отвечал автор.

— Я в смысле ударения... Тут многие спорят и ошибаются.

— Прямо Брюквин — чего же тут спорить?

Он пошел вдоль коридора, а директор стоял растерянный и думал:

«Как литература нынче быстро шагает. Вот такой Брюквин. Вчера еще никто об его существовании не знал, а нынче, глядите-ка — по триста рублей авансу рвет. Удивительно!»

Сам

Антон Петрович пил чай с малиновым вареньем, но смотрел при этом на яблочную пастилу, и в глазах его мелькало нечто мыслящее. Это нечто после третьей чашки чаю нашло свою форму, облеклось в нее и вылилось вопросом:

— Почем пастила?

— Сорок копеек фунт, — отвечала Евгения Михайловна, жена Антона Петровича. — У Васильева брала.

— Умно! — сказал Антон Петрович.

— То есть, что же это умно?

— Умно брать пастилу у Васильева — вот что умно. Ты думаешь, эта пастила сорок копеек стоит? Нет, милая моя, — пятак она стоит, а не сорок копеек. А этими тридцатью пятью копейками ты купчишке Васильеву только его магазин оплачиваешь да приказчиков, да разные там торговые права, да взятки, да всякую мелкую дрянь, до которой порядоч-

ному человеку, если только он не философ, и дела никакого быть не должно.

— Не могу понять, к чему ты клонишь. Не ешь пастилы, коли дорога.

— Логика! — горько усмехнулся Антон Петрович. — Не отказываться мы должны от потребления продукта, а продукт приноровить к нашей... гм... гм... кредитоспособности... Впрочем, ты этого все равно не поймешь! Скажу тебе короче: если я сам сделаю этот продукт, т. е. пастилу, то фунт таковой обойдется мне ровно в пять копеек.

— Ну и делай сам!

— И сделаю. Раз тебе некогда заняться делом, то уж, видно, придется мне самому. Есть у тебя поваренная книга?

— Нету.

— Ну, еще бы! Где же нам! Нам нужно Мопассана читать, а семья пусть с голоду пухнет. Пошли Феню к тетушке. Дай ей на извозчика, — мне ждать некогда. Пусть привезет книгу.

Через час Антон Петрович перелистывал поваренную книгу.

— Гм... маринад... маринад... Яблочные сухари. Это еще что за штука? Заготовка впрок, вот умеют же люди! Яблочный цукат на другой манер... Не всем же охота оплачивать прихоти купца Васильева! Пастила яблочная, ага! Пастила яблочная. Вот сейчас мы ее, матушку, посмотрим. Ошпарить два десятка яблок, гм... цедры лимонной... два фунта сахару... белков... Феня, сходи в лавку. Принесешь два десятка лучших яблок, сахару, яиц и этой, как ее, цедры. Живо! Мне не разорваться!

К обеду пришла замужняя дочка. Очень удивилась, увидя отца в переднике.

— Что с вами, папочка? Больны?

— Иди в кабинет, поможешь цедру драть. У нас ведь, если человек делом занимается, так он в глазах общества либо больной, либо сумасшедший.

Под вечер пришел сослуживец. Антон Петрович выглянул на минутку, весь красный, взъерошенный.

— Недосуг, дорогой мой. У меня яблоки перепарятся.

Гость посидел пять минут и ушел с таким видом, будто торопился как можно скорее кому-то что-то рассказать.

К вечернему чаю Антон Петрович не вышел. Он сбивал белки́.

В девять часов вечера выглянул на минутку, осунувшийся, с блуждающими глазами, и сказал, что выгнал кухарку.

— Эта дура не имеет ни малейшего понятия о белка́х! Словом, я или она? Выбирай!

Через полчаса выглянул еще и сказал, что завтра же съедет с квартиры. Этот болван, хозяин, сдает квартиру с плитой вместо русской печки. Порядочному человеку пастилы попарить негде. Свинство!

В одиннадцать часов вылез озабоченный и попросил чего-нибудь плотного.

— Какого-нибудь этакого канифасу, что ли. Мне отцеживать надо.

Канифасу никакого не нашли, и Антон Петрович пожертвовал новую фрачную жилетку.

В полночь пошел прилечь на полчасика. Измаялся. Но вздремнуть не смог. Мысли замучили. Лежал и считал:

— Яблок вышло фунта три, да сахару два, итого — пять. Белки считать нельзя — они воздушные. За яблоки заплачено рубль шестьдесят, за сахар — двадцать шесть, итого — рубль восемьдесят шесть. Извозчик к тетушке, туда и обратно, — шесть гривен. Два рубля сорок шесть. Два рубля сорок шесть разделить на пять — сорок девять копеек и одна пятая. Ну, к черту одну пятую. Сорок девять копеек — фунт чудеснейшей яблочной пастилы. Всего на девять копеек дороже лавочной мерзости. И притом сознание полной своей независимости. Чуть захотел яблочной пастилы, — взял да и сделал. Хоть в два часа ночи. И посылать никуда не надо. Взял да и сделал.

На рассвете Евгения Михайловна вдруг проснулась как от толчка.

Перед ней стоял Антон Петрович с каким-то коричневым комочком на блюдечке в одной руке и с ножом — в другой.

Антон Петрович улыбался жалко и растерянно, как нищий, которого упрекнули его рубищем.

— Вот, Женя, вот!

Он дрожащей рукой протягивал ей комочек.

— Вот, Женя, вот.

Евгения Михайловна вся задрожала.

— Кого ты там убил, несчастный?

— Па-пастила! — пролепетал он. — Ты все-таки попробуй. Только ее никак нельзя разрезать, не поддается... Если тебе не противно — лизни ее... Сделай милость, лизни! Женя, дорогая! Стоит всего сорок девять копеек и одна пятая. К черту одну пятую... Всего сорок девять копеек, и все свежее... И главное — независимость... Захотел — взял да и сделал.

Он сел на кровать, вытер лоб и повторил с безнадежным отчаянием:

— Когда угодно. Хоть ночью... Взял, да и сделал!..

Амалия

Госпожа Амалия Штрумф обладает сорокапятилетним возрастом, шестипудовым весом и небольшим поместьем в окрестностях Берлина.

В санаторию она приехала, чтобы утереть нос всем своим соседям. Пусть поймут, что она — птица важная. Может ездить за триста километров. Но первые же дни лечения потрясли всю душу Амалии до основания: доктор запретил ей кофе со сливками и кухены[1].

Амалия покорилась, но душа ее стонала. Утром, проходя мимо булочной, Амалия приостанавливалась, смотрела на печенья, торты и пирожные и шептала их названия шепотом тихим, глубоким и страстным, как шепчут влюбленные женщины имя своего любовника:

— Занфткухен!.. Шмандкухен!.. Беренкухен... Цвибак... Цвибак.. Цвибак...[2]

С трудом отрывалась она от окна и шла, качаясь, с полузакрытыми, опьяненными глазами.

---

[1] Пироги (от *нем* kuchen)

[2] Нежный пирог[1]. Пирог со сливками!.. Ягодный пирог... Сухарный пирог . (*Нем.* Sanftkuchen; Schmantkuchen; Beerenkuchen; Zwieback)

Шла в санаторию, тупо жевала салат с лимонным соком и молчала весь день. Молчала потому, что о чем же можно говорить, когда душа плачет, и стонет, и шепчет:

— Цвибак... Цвибак... Цвибак!..

А ночью, когда сон (сон — счастье несчастных!) смежал ее посоловевшие очи, она видела себя в своей собственной столовой, и в одной руке у нее была чашка кофе, а в другой — кусок торта с битыми сливками. А кругом сидят соседи с благоговейными лицами и с начисто утертыми носами.

От постоянного тихого, заглушенного страдания Амалия сделалась сентиментальной, и однажды вечером, когда в зале санатории молоденькая венка спела модный романс:

Du kannst sie wohl verlassen,
Vergessen kannst du sie nicht[1], —

Амалия опустила голову и тихо заплакала.

Да! Конечно, она могла отказаться и от занфткухена, и от шмандкухена, и от цвибака. Да! Отказаться, но не забыть. Забыть — никогда!

Но вот наступил перелом.

Отрешенная от земных радостей, Амалия стала искать удовлетворения в области тонких душевных переживаний. Она стала интересоваться чужими флиртами, чужими романами, чужими цветами, чужими письмами и чужими скандалами.

Вот идет по улице дама.

Амалия приостанавливается и смотрит, куда она идет.

— Эге!

С другой стороны улицы идет господин. Ну, конечно, он сейчас встретится с дамой. О, ужас! Ужас! Какие нравы! Она, наверное, замужняя. Бедные ее дети!

Но что это! Господин не подошел к даме и даже не поклонился. Странно. Неужели они незнакомы? Ну, нет! Амалию не так легко провести. Она отлично понимает, что это только притворство. Это все делается, чтобы отвести глаза! Несчастные дети — такая мать!

---

[1] Ты можешь ее покинуть, забыть ты ее не можешь (*нем.*).

Амалия спешит к своей единомышленнице, к фрау Нерзальц из Франкфурта, почтенной и честной женщине, томящейся по жареной колбасе с капустой.

— Вы слышали, фрау Нерзальц, какой ужас! Та дама, что носит красную шляпу... О, я даже не могу сказать. Бедный муж! Несчастные дети.

— Ну, как так не можете сказать? Вы все-таки скажите.

— О нет, я не могу. Но вы, вероятно, уже сами догадываетесь?

Но фрау Нерзальц трудно оторвать свое воображение от жареной колбасы, и она настаивает:

— А все-таки скажите!

Тогда Амалия наклоняется к ее уху и шепчет:

— Она и тот длинный господин делают вид, что даже незнакомы. А? Каково!

Фрау Нерзальц забывает и колбасу, и капусту.

— А сами, значит, уже... ай-ай-ай! Ну, как это можно держать их в санатории, где живут честные женщины.

— Ужасно! Я сегодня подумала: вдруг бы здесь была моя дочь и увидела такую сцену; он идет, она идет — и не кланяются. Что бы могло подумать невинное дитя? Ужас!

В коридоре своего пансиона как-то утром Амалия встретила новую жиличку, молодую веселую даму. Дама шла, постукивая каблуками, и напевала что-то, прижимая к лицу большой букет красной гвоздики.

Все это Амалии не понравилось и показалось подозрительным. Зачем стучит, зачем поет и зачем букет?

Жиличка оказалась соседкой по комнате.

И это было обидно.

— Туда же, поселилась рядом! Хороши порядки! Каждый может приехать и поселиться!

Вечером Амалии послышалось, будто соседка с кем-то разговаривает. Приложила ухо к стене — тихо.

— Ну, конечно, они говорят шепотом. Разве можно такие вещи вслух говорить — самим стыдно себя слушать. Несчастные дети — такая мать!

Уходя ужинать, Амалия сказала горничной:

— Напрасно вы подобных дам к себе пускаете...

— А что? — удивилась та.

— Да вот увидите.

Амалия была загадочна и зловеща.

Ночью, проснувшись, вдруг услышала она шорох в соседней комнате.

— Ага! Началось! Подождите, голубчики. Я вам покажу, как разводить романы в честном доме.

Она долго прислушивалась. Наконец решилась: вышла на цыпочках в коридор и приложила ухо к соседкиной двери. Было тихо. Долго было тихо. Но вдруг раздался спокойный, густой и мерный храп. Это был мужской храп. В этом Амалия ошибиться не могла. Так храпел ее покойный отец, так храпел ее муж и так будет храпеть ее сын. В этом ошибиться нельзя.

Женский храп бестолковый, неровный, короткий, сконфуженный.

А за дверью храпел мужчина, и вдобавок с полным сознанием своих на то прав.

Амалия застыла и ждала. Она дождется его пробуждения и увидит, как он, испуганно озираясь, проскользнет на крыльцо. Хо-хо! Красивая история. Не придется больше этой бесстыднице петь песни и засовывать нос в гвоздику. Хорошенький скандальчик устроит завтра Амалия на всю санаторию.

А бас за дверью все храпел да храпел. А Амалия все ждала да ждала.

У нее застыли ноги, и голова кружилась от усталости. Но она не сдавалась.

Часы пробили половину шестого. Через час все начнут вставать — значит, каждую минуту «он» должен выскочить. Уходить нельзя. Усталый взор ее опустился, и вдруг она вздрогнула: у самых дверей соседней комнаты стояли выставленные для чистки мужские сапоги. Толстые американские мужские сапоги.

— Зачем же было так долго ждать!

Она схватила сапоги, как тигр свою добычу, и кинулась к себе в комнату. Заснула, улыбаясь.

— Попробуй-ка теперь выпустить своего красавца! Без сапог. Ха-ха.

В семь часов утра сердитый мужской голос разбудил ее. Какой-то немец громко ругался в коридоре, и в ответ так же громко визжала горничная.

Амалия позвонила и вдруг вспомнила о своей радости.

— Это что? — спросила она вошедшую горничную, указывая на сапоги. — А? Это как называется?

— Это — сапоги! — испуганно захлопала глазами горничная.

— Да, это сапоги! И сапоги эти отнесите от меня в соседнюю комнату, и скажите, что фрау Амалия Штрумф всю ночь стояла в коридоре у дверей и слушала, как храпит хозяин этих сапог. Да, всю ночь. Так и скажите.

Она сделала эффектную паузу, но горничная вдруг обиделась и затараторила:

— Gnȧdige Frau[1], конечно, может подслушивать, как храпят мужчины, если это ей доставляет удовольствие, но уносить сапоги она не имеет никакого права. Господин гофрат[2] страшно сердился, и это так неприятно, потому что он постоянно здесь останавливается и вчера приехал с десятичасовым поездом, а он не привык к беспорядкам, и она будет жаловаться, и... тра-та-та и тра-та-та...

— Какой гофрат?! — завопила Амалия. — Ведь там живет дама!

— Дама вчера уехала в девять часов.

— Уехала?! Подлая! Подлая! Я всегда знала, что она сделает какую-нибудь гадость.

Амалия опустилась на кровать растерянная и подавленная, глаза у нее сделались сантиментальными, и вдоль носа потекла крупная слеза.

— Какая подлая!

Подарок

Какая радость получить какой-нибудь, хоть самый неприхотливый, подарочек!

Во-первых, это дает вам лишний случай убедиться в добром отношении к вам дарящего, а во-вторых, вы приоб-

---

[1] Милостивая государыня (*нем*)

[2] Советник (*нем* Hofrat).

ретаете изящный предмет, который, может быть, сами и не собрались бы купить.

Так сказать, и духовная, и грубо-материалистическая сторона вашего существа должны быть удовлетворены.

Конечно, и у этой розы есть шипы.

Так, например, получая подарок и любуясь им, вы должны испытывать некоторую тревогу при мысли о том, что вам во что бы то ни стало придется отдаривать. А отдаривание — дело очень сложное: нужно подыскать вещь, подходящую по цене к полученному подарку, да еще ждать случая для подношения.

Кроме того, подарки часто приносят с собой и некоторые неудобства.

Представьте себе, что у вас очаровательная гостиная, нежно-голубая, в стиле «Помпадур», а любящее существо вышьет вам подушку восточного рисунка, в коричневых тонах.

Вы не захотите огорчить любящее существо. Вы положите в голубую гостиную восточную подушку и будете ходить через комнату с закрытыми глазами.

Если же вы, по уходе любящего существа, решитесь запрятать подушку под диван до следующего прихода одарительницы — вы будете мучеником, вы будете вздрагивать при каждом звонке и выволакивать на свет Божий коричневый ужас. И никто и ничто не сможет помочь вам.

* * *

Она пришла ко мне такая ласковая и нежная, поцеловала обе щеки и сказала:

— Милые щечки!

Потом поцеловала глаза и сказала:

— Милые глазки!

Потом развернула длинный, узкий сверточек и протянула мне желтую розу.

Все это было очень мило, и я растрогалась. Положила розу на стол и предложила гостье чаю.

— Зачем же вы положили розу на стол? — воскликнула она. — Ее нужно скорее поставить в воду.

Я сконфузилась и сунула розу в вазу с сиренью.

— Что вы делаете?! — воскликнула гостья. — Разве можно держать розу с другими цветами! Роза слишком ревнивый цветок; она должна быть одна, иначе живо увянет.

Я сконфузилась еще больше, принесла бокал с водою и, поставив розу, хотела занять любезную гостью приятным разговором. Но она была рассеянна, отвечала невпопад и, наконец, сказала:

— Простите, голубчик, но вы напрасно поставили розу около камина, — ей это не полезно.

— Да ведь камин сейчас не топится.

— Сейчас не топится, а потом затопится, и цветок пропадет.

Я покорно перенесла розу на окно. Гостья успокоилась, выпила чаю и вдруг снова затревожилась.

— А знаете, по-моему, на окошке ей тоже не полезно. Дует. Лучше поставить ее сюда, на стол, только, конечно, не около чашек с горячим чаем.

Я велела принести другой стол и поставила розу посреди комнаты.

Гостья уехала.

Вечером она позвонила по телефону и велела переменить у цветка воду.

Утром я еще спала, когда мне принесли от нее записку:

«У вас глупая манера, дружок, снимать по утрам телефонную трубку. Это очень неудобно, когда у людей спешное дело. Я только что прочла в журнале, что для сохранения цветов очень полезно вливать в воду две капли нашатырного спирта. Я сразу подумала о вас и о вашей розе. Только не забудьте: две капли. Крепко целую.

Ваша Н. Клеева».

Послала за спиртом.

Вечером она позвонила и спросила у прислуги — меня не было дома, — как роза?

На следующее утро снова звонила и велела подрезать стебелек. Вечером узнала, что полезно не только подрезывать, но и слегка расщеплять его.

Утром забежала сама, осмотрела цветок и долго журила меня, что я все не так делаю.

Два дня я не подходила к телефону, на третий получила письмо:

«А открываете ли вы на ночь форточку в той комнате, где стоят цветы?»

Потом позвонила по телефону:

— Ну, а как роза?

— Мерси, великолепно, здорова.

Потом опять телефон:

— Не забыли подстричь?

— Нет, не забыла. Мерси. Здорова. Кланяется.

И снова телефон:

— Завтра заеду вас проведать.

О, ужас! Она заедет, а от розы уже давно осталась одна осклизлая палка с вялой сосулькой на конце.

Спешно послала в цветочный магазин, выбрала подходящую, подменила и успокоилась.

На другой день со спокойной гордостью показывала милой гостье ее розу:

— Видите, какая она стала пышная? Это все от ухода.

Гостья удивлялась и качала головой:

— Действительно, это удивительно. Она стала больше и темнее.

Она взяла цветок в руку, долго рассматривала его и вдруг вскрикнула:

— Бутон!

— Что? — переспросила я, вся замерев.

— Бутон! Откуда мог взяться бутон? Ведь его не было, я отлично помню, что его не было.

— А это... должно быть, от нашатырного спирта... она сегодня утром ощенилась...

Гостья посмотрела мне через глаза прямо в душу, и не знаю, что увидела она в этой замученной душе. Должно быть, один сплошной ужас, стыд и страдание. И она не смогла вынести всей сложности представшей перед ней картины. Она повернулась и медленно вышла.

С тех пор я не получаю от нее подарков.

Протекция

Павел Антоныч, устроитель концерта в пользу общества «Вдовий вздох», был человек хитрый, ловкий и сметливый.

Он знал твердо, что у нас даже в самом пустом деле без протекции ничего не добьешься, и никогда не лез напролом, а искал обходных, но верных путей.

Когда ему пришла блестящая идея пригласить на концерт знаменитость сезона, певицу Заливанскую, он не поехал прямо к ней, как это сделала бы всякая простая душа на его месте, а стал искать общих с певицею знакомых, чтобы, действуя через них, бить наверняка.

Сначала нашел даму, которая приходилась троюродной сестрой той самой чиновнице, у которой дядя аккомпаниатора Заливанской бывал в прошлом году запросто.

Но когда, после долгого и упорного ухаживания за дамой, выяснилось, что Заливанская давно переменила аккомпаниатора, пришлось искать других путей. И пути эти нашлись в лице репортера Букина, который был прекрасно знаком с Андреем Иванычем, поклонником Заливанской.

— Как же, дорогой мой! Прекрасно его знаю! Мы с ним почти на «ты»!

— А это что же значит: «почти на ты»? — спросил Павел Антоныч.

— Как что? Значит, на «вы». Словом, очень дружны. Уж я постараюсь быть вам полезным.

И постарался.

Через неделю поклонник Андрей Иваныч говорил Заливанской:

— Вы знаете, скоро будет концерт в пользу общества «Вдовий вздох».

— Да, да, я слышала, — оживленно ответила Заливанская. — Кажется, очень интересный концерт. Мне так жаль, что они меня не пригласили участвовать, — даже не понимаю почему. Облакову пригласили, а меня — нет. Почему для них Облакова интереснее? Я даже хочу просить пианиста Диезова — пусть узнает, в чем дело, и намекнет, что я хочу у них петь.

— Гм... — сказал Андрей Иваныч. — Вот уж это совершенно напрасно.

— Почему же? Такой большой концерт — ведь это же для меня реклама.

— Большой? Почему вы думаете, что большой?

— Да как же — все такие имена, и зал большой, и вообще концерт интересный.

— Гм... Насчет имен сомневаюсь. Если кто и дал, по легкомыслию, свое согласие, то, обдумав все, наверное, откажется.

— Да почему же?

— Да уж так.

— Ничего не понимаю!

— Потом поймете, да уж поздно будет.

Заливанская испуганно скосила глаза.

— Неужели нельзя участвовать? А мне так хотелось!

— Мало ли чего человеку хочется.

— А как же Облакова? Почему же ей можно, а мне нельзя?

— К Облаковой можно позвонить по телефону и посоветовать, чтобы не ездила. Вот и вся недолга.

— Да почему же это так опасно? Что же, это какое-нибудь темное дело, что ли? Грабеж, или что?

— Может быть, и грабеж, а может быть, и похуже. Во всяком случае, если вам дороги наши отношения, то я прошу вас сейчас же дать мне слово, что вы ни в каком случае в этом концерте участвовать не станете. Слышите?

— Слышу!

— Даете слово?

— А все-таки... мне хочется...

— Даете слово или нет? Я серьезно спрашиваю, и спрашиваю в последний раз.

— Даю, даю. Даю слово, что не пойду. Даже в публику не пойду. Но в чем же дело?

Андрей Иваныч вздохнул глубоко, как человек, исполнивший возложенную на него тяжелую обязанность, и сказал:

— Дело вот в чем: вот уже целая неделя, как повадился ко мне бегать какой-то Букин — темная личность. Проходу не дает, все настаивает, чтобы я уговорил вас участвовать в этом дурацком концерте. Я сразу понял, что дело подозрительное. В особенности вчера. Представьте себе: заманил меня в ресторан, угощает на свой счет, лезет с комплиментами и, в конце концов, взял с меня слово, что я вас уговорю.

Вы, конечно, сами понимаете, что, будь это дело чистое, они просто приехали бы к вам, да и пригласили.

— Н-да, это верно!

— Ну-с, так вот я теперь считаю, что по отношению к вам я поступил как джентльмен — предостерег и оградил.

Он гордо выпрямился, а Заливанская вздохнула и прошептала:

— Благодарю вас. Вы — хороший друг, вы не поддались им. Но как жаль, что все это так подозрительно и гадко. Мне ведь так хотелось участвовать!..

Бешеное веселье

Каждому человеку хочется повеселиться на праздниках, а в особенности, если этот человек барышня и служит в конторе, где каждый день, кроме воскресений и двунадесятых праздников, выстукивает на машинке:

«Имея у себя перед глазами ваше почтенное письмо от двадцатого апреля...»

Танечка Банкина решила ехать на костюмированный вечер к Пироговым.

Три дня и три ночи обдумывала она свой костюм, который должен был быть красивым, дешевым и, главное, совершенно необычайным, какого никогда ни у кого не было, да и не будет.

Две подруги Танечки Банкиной помогали ей, напрягая все свои душевные силы.

— Не одеться ли мне феей счастья? — спрашивала Танечка.

— Хороша фея в четыре пуда весом! — отвечали подруги дуэтом.

— Сами-то вы очень тоненькие! — обижалась Танечка.

— Так мы и не лезем в феи.

— А если одеться незабудкой? Просто голубые чулки и все вообще голубое. А?

— И выйдет просто дура в голубом платье.

— А если одеться бабочкой? Привязать крылышки...

— Хороша бабочка три аршина в обхвате.

— Господи! — застонала Танечка. — Не могу же я одеться сорокаведерной бочкой?! Такого и костюма нет.

Решила позвать портниху посоветоваться.

Портниха Марья Ардальоновна жила в тех же комнатах, и звали ее для краткости и обоюдного удобства просто Мордальоновной.

Пришла она охотно и с двух слов показала, что вопрос о костюме для нее сущие пустяки.

— Есть хорошенький костюм Амур и Психея — платье с греческим узором и в руке стрела. А еще есть почтальон — сумочка через плечо, а сзади большущий конверт с печатью. А то еще турчанка. Очень хорошо. Шаровары широкие — и на мужскую фигуру годится, ежели кто хочет запорожцем одеться.

Советы Мордальоновна давала свысока и очень оскорбительным тоном. Танечке стало обидно.

— Это все слишком известные костюмы. Мне хочется что-нибудь оригинальное.

— Ну, тогда одевайтесь маркизой.

Танечка призадумалась.

— А то вакханки хороший костюм, и тоже большая редкость.

Это было уже совсем хорошо.

Решила сшить костюм вакханки из старого коричневого платья.

— Это ничего, что темное. Ведь вакханки разные бывали. Это будет такая вакханка, которая не любила очень распараживаться. Практичная вакханка.

На голову надела венок из листьев и прицепила веточку настоящего винограда.

У Пироговых народу оказалось очень много. Было жарко и душно.

Какая-то маска подскочила к Танечке.

— Это у тебя что за костюм? Бахчисарайская кормилица?

Танечка упала духом и забилась в угол.

Новые сапоги жали ноги, маска прилипла к лицу.

Подбежал какой-то дурень в бубенчиках и съел виноград с Танечкиной головы, лишив ее таким образом единственного вакхического признака.

Танечка совсем притихла.

А другие веселились.

Какой-то маркиз плясал русскую вприсядку. Монах лихо откалывал польку с рыбачкой, крутя ее то влево, то вправо, то пятился, то наступал на нее.

— Веселятся же люди! — тосковала Танечка.

Мысли у нее были самые печальные.

— Извозчик тридцать копеек сюда да тридцать назад. Новые сапоги восемь рублей. Перчатки полтора... Винограду полфунта двадцать копеек... И к чему все это? Нет, нужно было одеться незабудкой, тогда все пошло бы совсем иначе.

Зачесался под маской нос.

— Господи! Хоть бы нос можно было как-нибудь ухитриться почесать! Все-таки веселье было бы.

Но вдруг судьба Танечки Банкиной круто изменилась. Развеселый маркиз пригласил ее на вальс.

Танечка запрыгала рядом с ним, стараясь попасть в такт музыке и вместе с тем в такт маркизу. Но это оказалось очень трудным, потому что маркиз жил сам по себе, а музыка — сама по себе.

Танечке было душно. От маркиза пахло табаком, как от вагонной пепельницы, и он наступал на Танечкины ноги по очереди, то на правую, то на левую, какая подвернется. Соседние пары толкались локтями и коленями.

Танечка пыхтела и думала:

— Вот это и есть веселье. Вот к этому-то все так и стремятся. Хотят, значит, чтобы было жарко, и душно, и тесно, чтоб жали сапоги и пахло табаком, и чтоб нужно было скакать, и чтобы со всех сторон дубасили, куда ни попало.

За обратный путь ей пришлось отвалить извозчику целый полтинник — дешевле не соглашался, — и, укладываясь спать, Танечка еще раз подсчитала расходы и подумала с тайной гордостью:

— Раз мне все это не нравится, это доказывает только, что я умная и серьезная девушка, которая не гонится за бешеными удовольствиями.

И когда она засыпала, перед глазами ее был не лихой маркиз и не дерзкий дурень в бубенчиках, а чье-то «почтенное письмо от пятого декабря».

И губы ее усмехались серьезно и гордо.

Взятка

Маленькая кособокая старушонка перешла площадь, грязную, липкую, всю, как сплошная лужа, хлюпающую площадь уездного городка.

Перейти эту площадь было дело нелегкое и требовало смекалки и навыка.

Старушонка шла бодро, только на самых трудных местах, приостановившись, покручивала головой, но не возвращалась назад, плюнув от безнадежности. Сразу можно было видеть, что она не какая-нибудь деревенская дура, а настоящая городская штучка.

Старушка добрела до крыльца низенького каменного дома, где проживал местный городской судья, оглянулась, перекрестилась на колокольню и оправила свой туалет. Распустила юбку, вытащила из-под большого байкового платка кузовок, накрытый холстинкой, и сразу стала не кособокой, а просто старушонкой, как и быть полагается.

Дверь у судьи была не заперта, и в щелочку поглядывал на старухин туалет рыжий чупрастый мальчишка, служивший в рассыльных.

Когда старушонка влезала на крыльцо, чупрастый мальчишка высунул голову и окрикнул строго:

— Кто такова? Зачем прешь?

Старушка огляделась и сказала, таинственно приподняв брови:

— По делу пру, батюшка. По делу пру.

Она сразу поняла, что «прешь» есть выражение деловое, судебное.

— По какому делу? — не сдавался мальчишка.

— К судье, батюшка. По ерохинскому. В понедельник судить меня будет за корову за бодучую. По ерохинскому.

— Ну?

— Так... повидать бы надо до суда-то. Я порядки-то знаю!

Лицо у старушки вдруг все сморщилось, и правый глаз быстро мигнул два раза.

Мальчишка разинул рот и смотрел.

Видя, какой эффект произвел ее маневр, старушонка протиснулась боком в дверь и заковыляла вдоль коридора. Там приоткрыла дверь в камеру и тихонько, тоже боком, стала вползать.

Судья сидел за столом, просматривал бумаги и напевал себе под нос:

Не говори, что мол-лодость сгубила,
Тюремностью истерррзана моей!

Бумаги он смотрел внимательно, а напевал кое-как. Оттого, вероятно, и выходило у него «тюремностью» вместо «ты ревностью».

Судья был человек не старый, плотный, бородатый; глаза у него были выпученные.

— Смотрит, как буйла, — что и знала, так забудешь! — говорили про него городские сутяги-мещанки.

Судья был очень честный и любил об этом своем качестве поговорить в дружеском кругу. Честность эту он ощущал в себе постоянно, и всего его точно распирало от неимоверного ее количества.

— Да, судья у нас честный, — говорили местные купцы. — Замечательный человек.

И тут же почему-то прибавляли:

— Чтоб ему лопнуть!

И в пожелании этом не было ничего злобного. Казалось, что если судья лопнет, так ему и самому легче будет.

— Здравствуйте, батюшка, светильник ты наш! — закрякала старушонка.

Судья вздрогнул от неожиданности.

— А? Здравствуй! Зачем пожаловала?

— По делу, батюшка, по ерохинскому. Вот я порядки знаю, так и пришла.

— Ну?

— В понедельник судить будешь, так вот я, значит, и пришла. Бодучая-то корова-то моя, стало быть...

— Ну?

— Так вот я порядки-то знаю.

Судья посмотрел на нее, и вдруг все ее лицо сморщилось, правый глаз подмигнул два раза и указал на прикрытый холстинкой кузовок.

— Что? — удивился судья. — Ты чего мигаешь?

Старушонка засеменила к самому столу и, вытянув шею, зашептала прямо в честное судьино лицо:

— Яичек десяточек тебе принесла. И шито-крыто, и концы в воду, и никто не видал.

Она снова сморщилась и замигала.

Судья вдруг вскочил, точно его в затылок щелкнули. Разинул рот и весь затрясся.

— В-воон! Вон! Подлая! Вон!

Старушонка растерялась, но вдруг поняла и замигала, и зашептала:

— Ну, бери, бери и холстинку! Бери полотенчико-то, Бог с тобой, мне не жалко!

Но судья все ревел и трясся.

— Ах ты, Господи, — мучилась старушонка, стараясь втолковать этому ревущему, раздутому, красному. — Я тебе про полотенчико говорю. Бери полотенчико. Да послушай, что я говорю-то! Да помолчи ты, Господи, грехи-то мои!

Но судья не унимался. Он кинулся к двери.

— Никифор! Гони ее вон! Вон!

Прибежал чупрастый, осклабился от страха и удовольствия и, обхватив рукой старушонку, повлек ее, точно в каком-то нелепом танце, на крыльцо.

Опомнилась она только посреди площади. Подоткнула юбку, прикрыла платком кузовок и, проткнув палец за косынку, почесала голову.

Вернувшись, таким образом, к обыденной жизни, она оглянулась на низенький каменный домик и тяжело вздохнула.

— Дала я маху, старая дура. Нужно было ему курицей поклониться. Думала, с бедного и яиц можно, а он ишь как обиделся. И чего орать — я и так все порядки понимаю. Ужо в субботу принесу курицу. И шито-крыто, и концы в воду.

Она еще раз оглянулась, сморщилась, подмигнула и захлюпала по лужам быстро и смело, как настоящая городская штучка.

Весна

От черной шляпы глаза казались больше и печальнее, и лицо бледнее.

А, может быть, она действительно побледнела оттого, что ей было жаль Бориса Николаевича, милого Бобика, красивого, веселого Бобика, который так глупо застрелился.

Говорят, что он проигрался, и положение его было безвыходно.

А может быть, и не от того...

Она помнит, как несколько дней назад он приходил к ней — всего несколько дней назад, в сущности, почти накануне смерти — и говорил:

— Лада моя! Солнечная моя! Хочу смотреть в ваши глаза!

Она нагнулась к зеркалу и сама посмотрела себе в глаза.

— Лада моя! Солнечная моя! Бобик, ведь ты так называл меня! Милый Бобик...

Глаза сделались вдруг бледнее, прозрачнее, как драгоценный камень, опущенный на дно стакана. Они заплакали.

Тогда она осторожно вытерла их кончиком платка, надела перчатки и пошла на панихиду.

Вечер был совсем весенний, немного душный, беспокойный. В такие вечера все спешат куда-то, потому что кажется, будто где-то ждет весенняя радость, только нужно найти ее. Тревожно спешат и спрашивают встречные глаза:

— Не ты ли? Не ты ли знаешь об этом?

Недалеко от дома, где лежал простреленный, притихший Бобик, женщина в черной шляпе, которую он называл «моя Лада», зашла в цветочный магазин.

— Дайте мне белых лилий. Вот этих. Почем они?

Хохлатый парень метнулся к вазе.

— По рублю-с. С бутонами-с.

И испуганно покосился на сидевшую в кассе хозяйку: кажись, мол, не продешевил.

— Как дорого, — сказала «Лада».

Пахло влажными, умирающими цветами. Но они еще жили. Порою чуть шевелилась та или другая веточка — разметывал свои лепестки новый созревший бутон. А когда кто-то хлопнул входной дверью, высокая кружевная сирень вся вздрогнула, как нервная женщина, и долго тихо дрожала и не могла успокоиться.

— Дайте мне четыре цветка, — сказала «Лада». — Нет, дайте шесть.

Она вспомнила, как он сказал ей: «Солнечная моя».

— Я куплю ему шесть лилий, потому что я люблю его. Ну да, я люблю тебя, глупый Бобик! Зачем, зачем ты это сделал?

Она вышла и, развернув тонкую бумагу, вдыхала теплый томный запах тепличной лилии.

— Простите, я, кажется, толкнул вас!

Молодое, веселое лицо так близко около нее. Смеющиеся глаза играют, спрашивают что-то.

«Лада» оскорблена. В такую минуту! Она идет на панихиду...

Она перешла на другую сторону улицы, но настроение было разбито.

— Как называл ты меня, Бобик милый? Ты говорил мне: «Лада моя! Солнечная моя!» Ведь ты так говорил мне? И я никогда не забуду этих слов.

— Простите! Вы, кажется, уронили платок!

Те же смеющиеся глаза, теперь немного смущенные и упрямые. Он — студент. Он протягивает к ней грубый, свернутый в комочек платок, и так ясно, что он только что вытащил его из собственного кармана, что она невольно улыбается.

Его глаза смеются откровенно и дерзко.

— Ну, я так и думал, что он не ваш. И у меня на это были кое-какие данные.

Он поспешно сует платок себе в карман.

— Вы не сердитесь на меня?

Она, конечно, сердится. Это так грубо — приставать на улице! Но он еще что-то говорит.

— Дело в том, что я не мог не подойти к вам. Если бы я не подошел, я бы никогда потом не простил себе этого. Никогда.

— Я не понимаю, что вы хотите сказать?

Она завернула свои лилии в бумагу и опустила их и смотрит в чужие смеющиеся глаза.

— Оттого, что вы необычайная! Такую, как вы, можно встретить только раз в жизни. Может быть, вы и сама такая только раз в жизни, только сейчас. Разве я смел не остановиться? Разве я смел не сказать вам всего этого?

«Нужно засмеяться и сказать, что он декадент» — думает «Лада», но не смеется и не говорит ничего, только смотрит и улыбается.

— Вы спешите куда-нибудь? — спрашивает он снова.

— Да. На панихиду. Вот этот подъезд.

— На панихиду — это, значит, недолго. Я буду ждать вас.

— Не надо.

— Нет, надо. Разве вы не понимаете, что это надо! Вы — как лилия! Вы неповторимая... Я буду ждать.

Она поднялась по лестнице, дошла до квартиры, где двери были открыты, и молча стояли темные фигуры, склоненные над тихими огоньками дрожащих свеч...

— Ах, Бобик! — вспомнила она. — Бобик милый, я люблю тебя! Что ты наделал!

Но душа ее не слышала этих своих слов, и она повторила снова:

— Бобик, я люблю тебя! Бобик мой! Как называл ты меня, милый? Ты говорил мне: «Вы — как лилия! Вы неповторимая». Ведь ты так говорил мне. И я никогда не забуду этих слов!

Тонкая штучка

Дело Николая Ардальоныча было на мази.

Задержки никакой не ожидалось, тем более что у Николая Ардальоныча была в министерстве рука — свой че-

ловек, друг и приятель, гимназический товарищ Лаврюша Мигунов.

— Дорогой мой! — говорил Лаврюша. — Я для тебя все сделаю, будь спокоен. Тебе сейчас что нужно? Тебе нужно получить ассигновку. Ну, ты ее и получишь.

— Не задержали бы только, — беспокоился Николай Ардальоныч. — Мне главное — получить ассигновку сейчас же, иначе я сел.

— Почему же ты сядешь? Дорогой мой! А я-то для чего же существую на свете? Ассигновка целиком зависит от генерала, а генерал мне доверяет слепо. Кроме того, дело твое — дело чистое, честное и для министерства выгодное. Чего же тебе волноваться?

— Я сам знаю, что дело чистое, да ведь вот, говорят, что без взятки нигде ничего не проведешь, а я взятки никому не давал.

— Это покойный Купфер взятки брал, а с тех пор как я на его месте, ты сам понимаешь, об этом и речи быть не может. Генерал — честнейший человек, очень щепетильный и чрезвычайно подозрительным Ну, да ты сам увидишь. Приходи завтра к двенадцати. Но прошу об одном: никто в министерстве не должен знать, что мы с тобой — друзья. Не то сейчас пойдут разговоры, что вот, мол, Мигунов за своих старается. Еще подумают, что я материально заинтересован.

На другое утро Николай Ардальоныч в самом радужном настроении пришел в министерство.

— Здравствуй, Лаврюша!

Мигунов весь вспыхнул, покосился во все стороны и прошептал, не глядя на приятеля:

— Ради Бога, молчите! Ни слова! Выйдем в коридор.

Николай Ардальоныч удивился. Вышел в коридор.

Минуты через две прибежал Лаврюша.

— Ну, можно ли так! Ведь ты все дело погубишь! «Лаврюша! Здравствуй!» Ну, какой я тебе тут «Лаврюша»?! Ты меня знать не знаешь.

Николай Ардальоныч даже обиделся:

— Да ты что, меня стыдишься, что ли? Что же, я не могу быть с тобой знакомым?

Лаврюша тоскливо поднял брови.

— Господи! Ну как ты не понимаешь? Я, может быть, в душе горжусь знакомством с тобой, но пойми, что здесь не должны об этом знать.

— Право, можно подумать, что ты какую-нибудь подлость сделал ради меня. Ну, будь откровенен: тебе пришлось твоему генералу наплесть что-нибудь?

— Боже упаси! Вот на прошлой неделе дали Иванову ассигновку, — так я прямо советовал генералу не упускать этого дела. Искренно и чистосердечно советовал. Потому что я — человек честный и своему делу предан. С Ивановым я лично ничем не связан. Я и рекомендовал, как честный человек. А согласись сам, как же я могу рекомендовать твое дело, когда я всей душой желаю тебе успеха? Ведь если генерал об этом догадается, согласись сам, ведь это — верный провал. Тише... кто-то идет.

Лаврюша отскочил и, сделав неестественно равнодушное лицо, стал ковырять ногтем стенку.

Мимо прошел какой-то чиновник и несколько раз с удивлением обернулся.

Лаврюша посмотрел на Николая Ардальоныча и вздохнул:

— Что делать, Коля! Я все-таки надеюсь, что все обойдется благополучно. Теперь иди к нему, а я пройду другой дверью.

Генерал принял Николая Ардальоныча с распростертыми объятиями.

— Поздравляю, от души поздравляю. Очень, очень интересно. Мы вам без лишних проволочек сейчас и ассигновочку напишем. Лаврентий Иваныч! Вот нужно вашему приятелю ассигновочку написать...

Лаврюша подошел к столу бледный, с бегающими глазами.

— К-какому при... приятелю? — залепетал он.

— Как какому? — удивился генерал. — Да вот господину Вербину. Ведь вы, помнится, говорили, что он — ваш друг.

— Н-ничего п-подобного, — задрожал Лаврюша. — Я его не знаю... Я не знаком... Я пошутил.

Генерал удивленно посмотрел на Лаврюшу.

Лаврюша, бледный, с дрожащими губами и бегающими глазами, стоял подлец подлецом.

— Серьезно? — спросил генерал. — Ну, значит, я что-нибудь спутал. Тем не менее, нужно будет написать господину Вербину ассигновку.

Лаврюша побледнел еще больше и сказал твердо:

— Нет, Андрей Петрович, мы эту ассигновку выдать сейчас не можем. Тут у господина Вербина не хватает кое-каких расчетов. Нужно, чтобы он сначала представил все расчеты, и тут еще следует одну копию...

— Пустяки, — сказал генерал, — ассигновку можно выдать сегодня, а расчет мы потом присоединим к делу. Ведь там же все ясно!

— Нет! — тоскливо упорствовал Лаврюша. — Это будет не по правилам. Этого мы сделать не можем.

Генерал усмехнулся и обратился к Николаю Ардальонычу:

— Уж простите, господин Вербин. Видите, какие у меня чиновники строгие формалисты! Придется вам сначала представить все, что нужно, по форме...

— Ваше превосходительство! — взметнулся Николай Ардальоныч.

Тот развел руками.

— Не могу! Видите, какие они у меня строгие.

А Лаврюша ел приятеля глазами, и зрачки его кричали: «Молчи! Молчи!»

В коридоре Лаврюша нагнал его.

— Ты не сердись! Я сделал все, что мог.

— Спасибо тебе! — шипел Николай Ардальоныч. — Без тебя бы я ассигновку получил...

— Дорогой мой! Но ведь зато ему теперь и в голову не придет, что в душе я горой за тебя. Сознайся, что я — тонкая штучка!

А генерал в это время говорил своему помощнику:

— Знаете, не понравился мне сегодня наш Лаврентий Иваныч. Оч-чень не понравился! Странно он себя вел с этим своим приятелем. Шушукался в коридоре, потом отрекся от всякого знакомства. Что-то некрасивое.

— Вероятно, хотел взятку сорвать, да не выгорело — вот он потом со злости и подгадил, — предположил генеральский помощник.

— Н-да... Что-то некрасивое. Нужно будет попросить, чтобы этого бойкого юношу убрали от нас куда-нибудь подальше. Он, очевидно, тонкая штучка!

Ничтожные и светлые

Маленькая учительница села Недомаровки переписывала с черновика письмо.

Она очень волновалась, и лицо у нее было жалкое и восторженное.

— Нет, он не будет смеяться надо мной! — шептала она, сжимая виски вымазанными в чернилах пальцами. — Такой великий, такой светлый человек. Он один может понять мою душу и мои стремления. Мне ответа не надо. Пусть только прочтет обо мне, о маленькой и несчастной. Я, конечно, — ничтожество. Он — солнце, а я — трава, которую солнце взращивает, но разве трава не имеет права написать письмо, если это хоть немножко облегчит ее страдания?

Она перечитала написанное, тщательно выделила запятыми все придаточные предложения, перекрестилась и наклеила марку.

— Будь, что будет! Петербург... его высокоблагородию писателю Андрею Бахмачеву, редакция журнала «Земля и Воздух».

* * *

В ресторане «Амстердам» было так накурено, что стоящий за стойкою буфетчик казался порою отдаленным от земли голубыми облаками, как мадонна Рафаэля.

Бахмачев, Козин и Фейнберг пили коньяк и беседовали.

Тема разговора была самая захватывающая. Волновала она всех одинаково, потому что все трое были писатели, а тема касалась и искусства, и литературы одновременно. Одним словом, говорили они о том, что актриса Лазуреводская, по-видимому, изменяет актеру Мохову с рецензентом Фриском.

— Болван Мохов! — говорил Бахмачев. — Отколотил бы ее хорошенько, так живо бы все Фриски из головы выскочили.

— Ну, это могло бы ее привлечь к Мохову только в том случае, если она садистка! — заметил Фейнберг.

— При чем тут садистка? — спросил Козин.

— Ну да, в том смысле, что если бы ей побои доставляли удовольствие.

— Так это, милый мой, называется мазохистка. Берешься рассуждать, сам не знаешь о чем!

— Ну, положим, — обиделся Фейнберг. — Ты уж воображаешь, что ты один всякие гадости знаешь.

— Да уж побольше вас знаю! — злобно прищурил глаза Козин.

— Плюньте, господа, — успокоил приятелей Бахмачев. — Кто усомнится в вашей эрудиции! А где Стукин?

— Не знаю, что-то не видно его.

— Он вчера так безобразно напился, — рассказывал Бахмачев, — что прямо невозможно было с ним разговаривать. Я, положим, тоже был пьян, но, во всяком случае, не до такой степени.

— Он уверяет, между прочим, что ты свою «Идиллию» у Мопассана стянул.

— Что-о? Я-а? У Мопассана-а? — весь вытянулся Бахмачев. — Что же общего? Откуда? Пусть, наконец, укажет то место.

— Уж я не знаю. Говорит, что у Мопассана.

— Ничего подобного! Я даже никогда Мопассана и не читал.

— Вот Иволгин — молодец, — вставил Фейнберг. — По десяти раз тот же фельетон печатает. Сделает другое заглавие, изменит начало, изменит конец, — и готово. Я, говорит, теперь на проценты со старых вещей живу. Один фельетон регулярно каждую весну печатает. Это, говорит, мой кормилец, этот фельетон.

— Ну, десять раз трудно, — сказал задумчиво Бахмачев. — А по два раза и мне приходилось.

— Закажем что-нибудь еще? — предложил Козин. — Жалко, что теперь не лето, — я ботвинью люблю.

— Я закажу поросенка, — решил Бахмачев, и вдруг весь оживился и подозвал лакея.

— Слушай-ка, милый мой! Дай ты мне поросенка с кашей. Только чтобы жирррный был и хрустел. Непременно, чтобы жирррный и чтобы хрустел. Понял?

Лакей уже отошел исполнить заказ, а Бахмачев еще долго блуждал глазами и не вступал в общий разговор, и все лицо у него выражало, как он поглощен одной мыслью.

Кто так поглощен мыслью, тому, в конце концов, трудно становится душевное одиночество. Он повернулся к Козину и поделился сомнением:

— А как ты думаешь, найдется у них хороший поросенок?

Козин вместо ответа оглядел зал и сказал, зевая:

— Не стоит сюда ходить. Ни одной женщины! Это уж не «Амстердам», а Амстермужчин. Ха-ха!

А Бахмачев деловито нахмурился и спросил:

— А правда, что балетная Вилкина живет с Гвоздиным?

* * *

Бахмачев вернулся домой поздно, нашел присланные из редакции корректуры и письмо.

Корректуру отложил, письмо, зевая, распечатал:

«Не сердитесь, что я осмелилась написать вам, — я, маленькая сельская учительница, вам, великому и светлому. Я знаю, что я очень ничтожная и должна трудом искупать дерзость, что смею жить на свете. А я еще ропщу, хочу лучшей жизни, и утром, когда бывает угар от самовара, плачу со злости.

Я бы хотела хоть разок в жизни невидимкою побывать около вас и только послушать, когда вы с вашими друзьями собираетесь, чтобы горячо и пламенно говорить, как нужно учить нас, маленьких и ничтожных, лучшей светлой жизни.

Я бы только послушала и потом уже, не жалея ни о чем, умерла.

Учительница Савелкина».

Бахмачев сложил письмо и написал на нем красным карандашом:

«Можно использовать для рождественского рассказа».

Курортные типы

Дожди. Холодно.

Чуть мелькнет голубой клочок между туч, чуть брызнет солнечный лучик, тотчас выбегают из своих нор ревматики, подагрики, неврастеники и склеротики и начинают «пользоваться хорошей погодой».

Скучиваются около вестибюля санатории маленькими группами — человека по два, по три, — и говорят вполголоса, а если кто проходит мимо — смолкают, потому что посторонние уши не должны слышать того, что говорится, когда «пользуются хорошей погодой».

— Слышали новость про мадам Шранк?

— Осторожно, она близко! А что?

— Влюбилась в доктора Сандерса и целые дни ревет.

— Чего же ревет-то?

— Как чего? От любви ревет.

— Глупости! Никогда не поверю.

— Как же вы можете не верить, когда это факт! Вчера за обедом — все слышали — говорит: «Ах, какой доктор Сандерс красавец!» А к ужину вышла — нос красный, и глаза запухли. Нечего сказать, приготовила мужу сюрприз!

Среди беседующих вертится высокий, тощий, лысый и бритый господин — не то серб, не то румын, не то венгерец. Он так долго и так разнообразно врал о своей национальности, что под конец и сам забыл, кто он такой, и решил стать парижанином.

Он выделывает из себя «душу общества». Подмигивает мужчинам, делает приветственные жесты дамам, болтает ногами, руками и языком.

У него ревматизм в колене, и, кроме того, нужно призанять у кого-нибудь деньжонок. У кого бы? Вот стоит какой-то толстый болван, должно быть, русский.

— Мосье! — извивается около него парижанин, — Что вы делаете, чтобы так очаровывать женщин? Научите меня этому искусству! Позвольте представиться: Штавруль, парижанин.

Толстяк смотрит на него мрачно тупыми, серыми глазами.

Парижанин чуть-чуть спадает с тона.

— Нет, серьезно, вы ужасно всем симпатичны... Вы надолго к нам?

— Виноват,— вдруг сердито отвечает толстяк по-русски. — Я не пониме. Нихт.

Поворачивается и отходит.

У парижанина в глазах испуг, но он радостно осклабляется, как будто услышал нечто чрезвычайно веселое и для себя приятное, и бежит петушком навстречу степенной немецкой чете, которой нет до него никакого дела.

— Видели? Видели этого чудака, который сейчас со мной разговаривал? Чудеснейший малый. Известный русский боярин, большой оригинал, и, представьте себе, ни на одном языке не говорит, даже на своем собственном.

Немецкая чета, любезно поклонившись, проходит мимо. Парижанин тоскливо оборачивается. Нет ли кого еще? С кем поболтать? Кого порадовать?

Все кислые, злые, малознакомые, неразговорчивые, и никто не хочет радоваться. А в колене ревматизм...

Но что-то такое еще есть приятное, о чем он забыл в этой сутолоке, в этом водовороте жизни... Ах да! завтра он поедет в город и купит себе монокль.

— Монокль!

Он притих и несколько минут не чувствует ни одиночества, ни боли в колене — он думает о монокле.

* * *

Фрейлейн Кнопф в розовом платье с голубым бантом. Помпадур.

Она имеет полное право и на это розовое платье, и на этот голубой бант, потому что вчера на балу в кургаузе[1] герр Вольф танцевал с ней два танца подряд, и когда наступил ей на ногу, то крепко-крепко пожал руку. Эта одновременная боль в ноге и в руке вызвала тихую, сладкую надежду в сердце фрейлейн Кнопф. Она даже плохо спала ночью и думала, подарит ли ей тетка к свадьбе серебряный кофейник, как старшей ее сестре Берге...

Вот вдали мелькнули чьи-то серые брюки в полоску.

[1] Курзал (*нем.* Kurhaus)

— Он! — стукнуло сердце.

Фрейлейн Кнопф достает из ридикюля зеркальце и трет нос пудреной бумажкой.

— Только бы не заблестел нос!

Нет. Зеркальце говорит, что нос матовый. Она ждет. Выставляет ногу в новом узком башмаке...

Увы! — брюки свернули в сторону почти перед самым ее носом, несмотря на то что он был матовый.

Чей-то бас зовет ее по имени. Она вздрагивает, оборачивается. Это мама зовет пить кофе. Фрейлейн улыбается дрожащими губами. О да, с удовольствием! Она так любит пить кофе вдвоем с мамá. И никого ей больше не надо! Никого!

— Надругались над нами! Обидели нас! — тихо шуршат ее розовое платье и голубой бант. — Ну, делать нечего, идем кофе пить.

* * *

Ольга Андреевна выдвинула кресло на самое видное место. Пусть все дуры лопнут!

Кресло низкое, сидеть в нем неловко. Модный корсет подпирает живот вверх, а тот стремится занять отведенное ему природой место, и Ольга Андреевна, томно улыбаясь крашеными губами, тоскливо прислушивается к этой борьбе живота с корсетом.

— Дура! Дура! Старая баба! — волнуется живот. — Напилась бы горяченького кофейку со сливочками да с крендельками сдобными, да соснула бы на диванчике полчасика. И кого ты корсетом удивишь, — старая рожа, ведь тебе шестой десяток идет.

— Подбодрись! Подбодрись, нечего! — подпирал корсет. — Патти в семьдесят лет замуж за барона вышла, Нинон де Ланкло собственного внука погубила. Успеешь в могиле належаться.

— Во-первых, на что нам Паттин барон, — не сдавался живот, — когда у нас законный Илья Петрович есть? А в могиле, матушка, кофею ни за какие деньги не достанешь. Все равно.

— Здравствуйте, Ольга Андреевна! — кланяется знакомый. — Да вы никак вздремнули?

Ольга Андреевна улыбается, складывает губки бантиком, грозит пальчиком.

— Ишь, растряслась! — ворчит живот.

— Браво, браво! Побольше темперамента! — поскрипывает корсет.

— Ах вы, шалун! Да как вы смеете говорить, что я сплю? Вот я вас за ушко! Хе-хе-хе!

— Да что же тут особенного в нашем возрасте? Очень даже кстати после обеда всхрапнуть. Дома-то, небось, спите?

Глаза Ольги Андреевны делаются злыми и острыми, но губы игриво улыбаются, потому что все должны видеть, что у Ольги Андреевны какой-то интересный и пикантный разговор.

— Ай! Какой вы злой! Ай-ай-ай! Вот я вас за ушко!

— Дождалась, дура, что старухой назвали! — ворчит живот.

— Валяй, валяй! — раззадоривает корсет. — Разговора вашего никто не слышит, и всякому покажется, что за тобой ухаживают. По крайней мере, не станут говорить, что Ольга Андреевна в этом году никаким успехом не пользовалась.

— До приятного свидания! — раскланивается собеседник.

Ольга Андреевна встрепенулась, только бы не ушел так скоро.

— Подождите, я хотела вам сказать... Как здоровье вашей жены?

— Благодарю вас. Сегодня как раз получил письмо.

— Хе-хе! Она и не подозревает, что вы тут шалите!

Она снова лукаво грозит пальчиком, но он, удивленно взглянув на нее, отходит прочь.

— Ушел, ушел! — с тоскливой злобой шепчет Ольга Андреевна. — Кривуля несчастный! Ну кому ты нужен, мочальная борода, идиот собачий. Туда же и фамилия хороша: Купыркин!

— Купыркин-то Купыркин, а все-таки ушел! — злорадствует живот.

И Ольга Андреевна вдруг вся отяжелела, распустила губы и, крякнув, поднялась с кресла.

— Пойду отдохну.

Из толпы кто-то кивнул ей.

— Анна Михайловна!

И снова губы подтянуты, глаза лукаво прищурены, корсет торжествует победу.

— Анна Михайловна! Вы еще остаетесь? А я домой. Кое-кто (тонкая улыбка) обещал заглянуть. И кроме того, скажу откровенно: боялась, что этот Купыркин опять привяжется!

— А разве он так за вами ухаживает?

— Ах, ужас! Прямо прохода не дает. Женатый человек. Возмутительно.

Она вся розовеет, и уши ее с восторженным удивлением слушают, что говорит рот.

Потом отходит бодрой, молодой походкой и на протяжении десяти шагов верит себе.

Но вот в смутной тревоге, точно почувствовав какой-то обман, она приостанавливается и вдруг с сердитым и обиженным лицом начинает спускаться с террасы, грузно и откровенно по-старушечьи нащупывая ступеньки одной ногой.

— В деревню поезжай, старая дура! В деревню — грибы солить да варенье варить! Ду-у-ра!

Дамы

Большая, светлая, полукруглая комната.

У стены на колоннах желтые астры. Всегда желтые, всегда астры.

Может быть, живые, а может быть, и искусственные — никто этим не интересуется.

Курортные цветы, как и цветы, украшающие столы ресторанов и вестибюли гостиниц, всегда какие-то загадочные. Ни живые, ни мертвые. Каждый их видит и чувствует, какими хочет.

В полукруглой комнате расставлены в живописном беспорядке соломенные кресла. На креслах подушки. На подушках дамы.

Дамы всевозможных возрастов, национальностей и наружностей.

Немки, польки, француженки, англичанки, еврейки, русские, румынки.

Носатые, курносые, черные, белые, худые, толстые.

Старые, ни то ни се и молодые.

Несмотря на все разнообразие своих внешних качеств, выражение лица у них у всех совершенно одинаковое — сосредоточенное и вдумчивое, точно они прислушиваются к чему-то очень важному.

Это потому, что занятие, которому они предаются, очень важно: они потеют.

Ни в каком другом месте огромного земного шара не существует подобного занятия, только в курорте. И придается ему такое серьезное значение, какое вряд ли сможет вызвать какое-нибудь крупное общественное событие.

Дамам томно, душно.

Они молчат.

Только глаза, блеснув белками, изредка поворачиваются.

Проходит минут пять, десять, двенадцать.

И вот шевельнулся какой-то нос, повернулся в сторону, и рот, помещающийся под этим носом, томно спросил:

— Ну, что?

— Гм?.. — переспросила соседка.

— Помогает?

— Ничего не помогает. Гораздо хуже стало.

— Так зачем же вы не уезжаете, я бы на вашем месте сейчас же уехала. Очень нужно мучиться, когда пользы нет.

— А вы поправляетесь?

— Я? Странный вопрос! Точно вы не видите сами, что мне с каждым днем хуже. Не сплю, не ем. Прямо извелась совсем.

— Ай-ай-ай! Так вам бы уехать скорей! Чего же вы тут сидите?

— Гм...

Обе замолкают и смотрят друг на друга с недоумением.

Снова тишина.

Вот шевельнулся другой нос. Шевельнулся, повернулся.

— Вы у кого лечитесь?

— У Копфа.

— А я у Кранца. Замечательный доктор этот Кранц! Вы знаете, в прошлом году у него был роман с одной венгеркой.

— Да что вы! А я слышала, наоборот, что его в прошлую субботу рыжая полька поцеловала. Знаете, эта, с кривыми зубами.

— Да неужели? Ах, какой же он нахал!

— Она, знаете, так в него влюбилась, что каждый день розы ему посылала.

— И он принимал? Я, право, никогда не думала, что может быть такое нахальство в медицине. Но почему же вы лечитесь у Копфа, а не у Кранца?

— Да, знаете, прямо боюсь к нему обращаться. Я здесь одна, без мужа. Он еще себе позволит что-нибудь, какие-нибудь поползновения. Неприятно.

— Ну, у него и без вас большая практика.

— Нет, я ни за что, ни за что не пошла бы к нему. А скажите, неужели у него все часы уже заняты?

— Ну, конечно.

— Это ужасно. Я еще с прошлой субботы записалась, да, видно, так и не дождусь очереди. А этот Копф такой дурак — все только «покажите язык» да «покажите язык». Не могу же я целый день с высунутым языком ходить. Я не так воспитана.

— А скажите, доктор Кранц эту польку тоже поцеловал?

— Да уж наверное. Раз он эту дуру, из Москвы, в зеленом капоте, поцеловал, так чем же полька хуже?

— Неужели в зеленом?.. Она даже некрасивая, волосы накладные...

— Вот действительно, попадешь к такому врачу и навсегда испортишь себе репутацию. Однако ведь не со всеми же он целуется. Есть такие, которые себя уважают.

— Ну, конечно. Вот мадам Фокина, из Харькова, лечится у него четвертую неделю, и ничего.

— Да она, может быть, просто не признается. Целуется да молчит.

— Неужели? Какой ужас! Куда же вы?

— Пойду попрошу, чтоб поторопились. Нет, право, досадно: неделю назад записалась к Кранцу, а они меня до сих пор Копфом морят. Вы, пожалуйста, не подумайте... я ведь, когда записывалась, и понятия не имела, что он такой нахал. До свиданья пока!

Шевельнулся еще нос. Повернулся.

— Простите, мы с вами еще не знакомы. Я из Одессы.

— Очень приятно.

— Извините, я хочу с вами посоветоваться.

— А что? Вы себя плохо чувствуете?

— Нет, я хотела с вами посоветоваться... Вы давно здесь?

— Вчера приехала.

— А я три недели. У вас такое лицо, что, мне кажется, вы можете посоветовать — извините — насчет болгарина.

— Я не знаю, я не слыхала про такую болезнь. И что же, очень беспокоит?

— Ужасно! Понимаете, он живет в девятом номере и страшно в меня влюблен. Он буквально две недели меня преследует. Куда я ни пойду — он всюду. Я нервная, я лечусь от неврастении, а он покоя не дает. Представьте себе, иду я в столовую обедать — смотрю, он уже сидит. И еще притворяется, что не видит меня. Ужас! Пошла вчера в кафе — смотрю, а он уже сидит там. Утром иду в ванну — вдруг кто-то выходит из мужского отделения. Оглянулась — он. И опять как будто не видит меня. Вчера, вечером, гуляю, вдруг — мотор. Что такое? Смотрю — он на моторе мимо меня проехал. Ну, прямо не знаю, что делать? У меня муж такой ревнивый в Одессе. У меня неврастения, я лечусь, а тут этот болгарин.

— Да вы не обращайте внимания.

— Легко сказать. Две недели подряд человек преследует меня. И главное, что ужаснее всего — не говорит со мной ни слова. За все время ни одного слова! Такой нахал!

— Может быть, немой.

— Какой там немой! Небось, с другими так трещит, что слушать тошно. Вот сейчас позвонят к завтраку, и он уже, наверное, сидит на своем месте. Нет, чтобы так преследовать порядочную женщину! Я лечусь. Мне нужен покой... Так вот

я хотела с вами посоветоваться... Как вы думаете: что если ему послать цветов... может быть, он тогда заговорит? А? Как вы полагаете?

Снова тишина.

Носы опускаются ниже. Дамы дремлют.

Желтые курортные астры опустили свои перистые звездочки.

Странные. Ни живые, ни мертвые.

Байрон

Когда пробило одиннадцать, темный молодой человек, с нежным профилем молодого Байрона и бледно-мечтательными глазами, попрощался и вышел.

За чайным столом остались только свои.

— Скажите откровенно, — обратилась одна из дам к хозяину дома, — неужели и этот Байрон будет когда-нибудь брать взятки?

— Этот?

Хозяин чуть-чуть усмехнулся.

— Прежде дело куда легче и проще было. Картина была прямо библейская, и невинные барашки паслись рядом с хищниками.

Каждый знал, что ему нужно делать, и все понимали друг друга.

Анекдоты о добром старом времени складывались самые уютные и безмятежные.

Приходит подрядчик в министерство.

— Так, мол, и так, как обстоит мое дело?

А чиновник в ответ опустит нос в бумагу и буркнет:

— Надо ждать.

«Ага, — думает подрядчик. — Значит, надо ждать».

И даст сколько нужно.

Придет во второй раз.

— Ну что? Как?

Чиновник подумает и скажет внушительно:

— Придется доложить.

«Ага! — подумает подрядчик. — Значит, мало дал».

И доложит, сколько не хватало.

Чиновник просветлеет и скажет умиротворенно:

— Ну вот теперь все в порядке.

И дело будет сделано.

Это, конечно, анекдот. На деле бывало еще проще: повернется чиновник к подрядчику спиной и поиграет пальцами.

Словом, просто и мило, и даже весело.

Теперь не то.

Когда пошло мое дело, мне сразу сказали, что нужно этому самому Байрону взятку дать.

Пришел я к нему в самом деловом настроении. Думаю только об одном, что ему предложить: сразу ли заплатить или в деле заинтересовать. Если сразу заплатить — это очень человека вдохновляет. Если заинтересовать — дает ему продолжительную энергию. Тут, значит, нужно предварительно ознакомиться с психологией данного взяточника. Если он рохля, человек инертный, которого трудно понять и сдвинуть с места, тогда нужно взбодрить его немедленно хорошим кушем. Это его сразу поставит на рельсы, а там уж он пойдет.

Если же он человек расчетливый и работящий, то, дав ему деньги сразу, только поколеблете в нем доверие к вам и к вашему делу.

Вот, погруженный в эти самые размышления, и прихожу я к Байрону.

А он сидит, бледный, вдохновенный, и читает «Песнь Песней».

Посмотрел на меня и прочел:

— «Кобылице моей в колеснице фараоновой я уподобил тебя, возлюбленная моя».

Я сел — дожидаюсь, пусть сам заговорит. А он опять посмотрел и говорит:

— «Мирровый пучок, возлюбленный мой, у меня у грудей моих пребывает».

«Нет, — думаю, — придется его сразу кушем взбодрить». Однако жду, пусть сам заговорит.

Помолчали. Наконец он вздохнул и сказал:

— Как вы думаете, я давно хотел спросить у вас...

«Начинается! Начинается!» — встрепенулся я.

— Хотел спросить: не был ли Соломон предчувствием Ницше?

— Чего-с?

— Я, например, считаю руны о Валькирии, во всех их разногранностях, только предчувствием ибсеновской женщины положительного типа, всякой как таковой.

— Н-да, — отвечаю, — разумеется.

А у самого сердце захолонуло.

«А ну, — думаю, — как мне наврали, да он взяток совсем не берет».

И пошло с тех пор мое мучение; хожу целые дни и гадаю, как Маргарита на цветке ромашки: берет — не берет, берет — не берет...

А он меня, между тем, стал Гамсуном донимать.

Раз даже нарочно заехал ко мне справиться, понимал ли я когда-нибудь запах снега.

Истомил меня вконец. Уж хотел было бросить все и искать других путей. Вдруг, в один прекрасный день, приезжает он ко мне какой-то взвинченный, глаза сверкают.

Еще из передней кричит:

— Разве литература учит нас? Нас учит жизнь, а не литература.

Потом попросил коньяку и сказал:

— Как вы думаете: имеют ли право великие люди на пути к высоким целям останавливаться перед маленькими гадостями?

Я молчу, слушаю.

— Например, представьте себе следующее: я могу оказать гигантскую услугу всему человечеству, если достигну своей цели, но для этого мне надо взять взятку в двадцать тысяч и быть заинтересованным в деле, как участник, в пятнадцати процентах. Неужели же я должен отказаться от этого?

— Это вы, — кричу я, — да вы прямо морального права на это не имеете. Даже если бы вам дали только двенадцать тысяч вперед, и то, по-моему, долг перед человечеством...

— Нет, двенадцать — это мало! — вдохновенно воскликнул он. — Не меньше семнадцати.

— Лучше увеличить процент участия в деле, — это будет удобнее... для человечества...

Торговались мы с ним долго и смачно. Наконец сошлись.

Пряча выторгованные деньги в бумажник, украшенный головой химеры с церкви Notre-Dame, он выпрямился во весь рост, и вдохновенно-томное лицо его так походило в эту минуту на лицо Байрона, что мне даже как-то неловко стало.

На другой день, встретив меня в министерстве, он уже весь был поглощен вопросом о дунканизме и далькрозизме, и я, глядя на него, думал: «Какой нелепый сон приснился мне вчера! Будто пришел ко мне сам Байрон, выторговал у меня лишний процент и взял взятку спокойно и деловито, как пчела с медоносно цветущего злака».

И как же это так было, когда этого не может быть?

Ораторы

Кто-то выдумал, будто русские не любят говорить речи. На Западе, мол, где так развита общественная жизнь, каждый гражданин — прирожденный оратор.

Увы! Это — неправда. Русский человек очень любит говорить — не разговаривать, а именно говорить, а чтобы другие слушали.

Позовите какого-нибудь маляра, столяра, обойщика, спросите у него что-нибудь самое простое.

— Сколько, голубчик, возьмете вы с меня, чтобы приклеить эту сломанную ножку?

Если вы думаете, что он вам ответит цифрой, вы очень ошибаетесь.

Он заложит руку за борт пиджака, повернется в профиль или в три четверти — как выгоднее для его красоты — и начнет громко, веско, с красивыми модуляциями, повышениями и понижениями, следующую речь:

— Это, ежели к примеру сказать, как вам требуется выполнить работу, к примеру скажем, приклеить ножку, или, например, там что другое, починка или прочее, то, конечно, надо понимать, что ведь, уж ежели делать браться, так нужно хорошо, а если худо, так уж это и нечего и браться, значит, лучше не надо, потому что лучше совсем не берись, чем браться, да не сделать, потому с нашего брата тоже требуется...

Если вы не прервете его, то он будет говорить до полного истощения своих и ваших сил.

Никогда не допускайте человека «говорить». Пусть он разговаривает — и только.

Иной человек, дельный и толковый, ведет с вами интересный разговор, отвечает по существу и вопросы задает умные — словом, разговаривает себе и вам на пользу, и окружающим на утешение, но достаточно вам постучать о стакан ножиком и сказать:

— Послушайте, господа, какие интересные мысли высказывает Евгений Андреевич по поводу сегодняшней пьесы.

И кончено. Евгений Андреевич моментально сорвется с цепи. Он уже не разговаривает — он говорит. Он уже не собеседник — он оратор.

Он вскочит с места, покраснеет, заволнуется, извинится и понесет околесину:

— Милостивые государи и милостивые государыни. Я, конечно, не оратор, но отношение современного общества к древнему искусству... т. е. древнего искусства к современному обществу...

Словом, он для вас пропал. Он будет болтать, пока не иссякнет, а затем весь вечер просидит в углу сконфуженный и будет припоминать, сколько он сказал неудачных фраз, и мучиться стыдом и раскаянием.

Из сострадания к нему самому не надо было позволять ему говорить.

Но хуже всего, если вы соберетесь потолковать о каком-нибудь важном деле и начнете обсуждать его систематически, соблюдая очередь в высказываемых мнениях.

Сначала, когда все галдят сразу, еще можно что-нибудь понять и до чего-нибудь договориться.

— Послушайте! — орет один. — По-моему, лучше всего устроить благотворительный спектакль.

— Надоели ваши спектакли. Просто у вас, верно, пьеса залежалась, так вот и хотите пристроить! — кричит другой.

— Концерт! Концерт лучше устроить.

— Просто устроить сбор в пользу какой-нибудь весенней лилии! — надрывается четвертый.

Это ничего, что все они кричат зараз и все разное. В конце концов, они все-таки до чего-нибудь докричатся.

Настоящая же беда будет только тогда, когда кто-нибудь вдруг предложит:

— Позвольте, господа, нельзя всем говорить сразу. Назначим очередь. Я запишу желающих высказаться.

Он запишет.

Первым встанет Иван Петрович, который только что так мило-оживленно и толково предлагал устроить сбор в пользу цветка.

Теперь он будет тянуть, сам не зная, что, мучиться, сам не зная, за что, и все будет стараться, во что бы то ни стало, закруглить фразу:

— Милостивые государи и милостивые государыни, — скажет он, если даже среди присутствующих не найдется ни одной дамы. — Мы собрались под этой гостеприимной кровлей для обсуждения... мм-мя... мм-мя... интересного для нас вопроса...

Все, конечно, сами знают, для чего собрались, но все понимают, что раз он записан и говорит в очередь, то он уже не человек, а оратор, и от него все нужно стерпеть.

— Так что же, господа, — спросит какая-нибудь простая душа, когда оратор смолкнет, — концерт мы устраиваем или спектакль?

— Позвольте, теперь очередь Сергея Аркадьевича.

Сергей Аркадьевич встанет и приступит прямо к делу:

— Милостивые государи и милостивые государыни. Для того, чтобы уяснить себе вопрос благотворительности, мы должны осветить его историческим фонарем. Пойдем смело в глубь веков и спросим тень мм-мя... мм-мя... тень Муция Сцеволы и мм-мя... мм-мя... Марка Аврелия...

Когда они будут расходиться по домам, вспотевшие, утомленные, охрипшие и увядшие, кто-нибудь, самый добросовестный, спросит просто:

— Ну, а как же, господа, быть насчет концерта? Устраивать, или лучше спектакль?

— Да как вам сказать, — ответят равнодушно другие ораторы, — можно и концерт, можно и спектакль. Посмотрим, каких артистов легче будет достать.

И тень Марка Аврелия кротко улыбнется из глубины веков.

Дым без огня

Позор

Перед Рождеством приехал в усадьбу Селиверстов, известный лошадник.

Глазки у него были маленькие, мокренькие и все время врали, что бы сам Селиверстов ни говорил и в чем бы ни клялся.

Привез он с собой еще какого-то Пелагеича, — личность совсем неопределенную, без пола, без возраста, обмотанную шарфом выше ушей, а из-за шарфа торчала седая шерсть не то от тулупа, не то собственная, Пелагеичева.

— Ты, брат, Пелагеич, поди, посиди пока на кухне, — отослал его Селиверстов и тем сразу определил Пелагеичев ранг.

А сам пошел охаживать помещика.

Охаживал четыре дня.

Выпивали за завтраком, выпивали за обедом, выпивали за ужином.

Селиверстов нравился помещику, потому что вкусно обо всем рассказывал, смачно крякал, лукаво подмигивал и льстил.

— Да уж, Верьян Иваныч, такого другого, как ты, и искать не стоит, — все равно не найдешь. А и найдешь, — не обрадуешься.

Селиверстов подмигивал.

— Не обрадуешься, друг ты мой, потому что дело с тобой вести надо тонко. Даром что барин, а всякого околпачишь.

И врал глазами, и подмигивал так лукаво, что у помещика на душе щекотно делалось.

Он невольно впадал в тон Селиверстова, покрякивал после рюмки водки и подмигивал:

— Э, что там, брат Селиверстов. Мы, брат, оба сами с усами, палец в рот не клади.

И мало-помалу охаживался, то есть сдавался на доводы Селиверстова вести лошадей самому на городскую ярмарку, а не ждать покупателей на дом.

— Шут его знает, — говорил он вечером жене. — Твой отец, действительно, дурака валял. Заводишко-то у вас паршивый, — по одежке протягивай ножки, нечего тут покупателей высиживать. Мы тоже сами с усами.

Жена в ужасе вздувала руки кверху с тем расчетом, чтобы кружевные рукава парижского капота откидывались крыльями на спину, и восклицала:

— Валерьян, как ты выражаешься! Какое у тебя ужасное арго!

По два раза в день выводили лошадей.

Лошади, немножко одичавшие в зимней темноте конюшни, косили злыми, сузившимися глазами и поджимали по-собачьи задние ноги.

Из кухни выскакивал Пелагеич, выделывал какие-то выверты, щупал лошадям хвосты, смотрел языки и вдруг свирепо вскрикивал, взмахнув руками перед самой лошадиной мордой:

— Но-о! Балуй!

Помещик тоже щупал хвосты, кричал «балуй» и говорил, что он с усами.

Лошадей уводили, Пелагеич уходил в кухню тихо и понуро, как отлаявшая собака, и от серой не то тулупьей, не то его собственной шерсти шел пар.

Селиверстов от завтрака до обеда бродил один по двору, шевелил за спиной пальцами, смотрел, как идет снег, деловито и хозяйственно оглядывал тучи, словно принюхивался к ним, а глазки его бегали и врали, и охаживали.

На третий день помещик совсем оселиверстился и так заговорил, что жена из соседней комнаты некоторое время думала, что это Селиверстов сам с собой на два голоса разговаривает.

— Так, значит, ехать самому, братец ты мой? Можем, очень даже можем.

— А и штука ты, Верьян Иваныч, — лисил Селиверстов. — Такого жулика, как ты, я еще и не видывал. Ведь если ты теперь надумал сам ехать, — всем нам капут.

— Небось, процентики-то сдерешь, старый коршун, — хорохорился помещик.

— Не в процентиках сила, а поучиться около тебя охотно. Ведь, такого мазурика, как ты, и искать не стоит, — не найдешь.

— Н-да-с. А найдешь, — наплачешься! И искать не советую! — торжествовал помещик, и на душе у него делалось щекотно.

Решили ехать.

Поедут за два дня. Займут для лошадей лучшие квартиры, те самые, на которых всегда знаменитые кокоревские лошади останавливаются.

— Под носом перебьем, покупателя самого лучшего поймаем. Пелагеич с рассвета шмыгать пойдет, Пелагеич все вынюхает, — ангел, а не человек, — что твоя щука.

Собирались весь день, со смаком. Выпивали, закусывали, хлопали друг друга по рукам, крякали.

— Скоро ли этот кошмар кончится, — вздыхала помещица. — Je suis epuisée![1]..

И розовые ленты нервно дрожали в парижских кружевах капота.

Вечером зазвенели у подъезда бубенцы тройки.

— Зови сюда Терентия, пусть выпьет с нами посошок на дорожку, — распорядился помещик.

Терентий в расшитом тулупе, румяный, молодцевато-курносый, кланялся образам, кланялся господам, опрокинул в себя два стакана водки, вместо закуски понюхал собственный рукав и пошел увязывать барскую кладь.

Пил посошок и Пелагеич, вздыхая и всхлипывая.

Помещик, в мягких валенках, засунул рукавицы за красный гарусный кушак, чувствовал себя первейшим кулаком, мошенником и мерзавцем и был весел и горд.

— Погребец-то уложен? Ехать долго, ночью иззябнем в поле, коньяком погреемся.

Наконец помолились, поклонились, присели перед дорогой.

— Ну, с Богом.

Снова перекрестились, подтянули кушаки, надели рукавицы.

Во дворе было темно. Снег мокрой, пушистой свежестью лип к глазам, и на ало-желтых квадратах освещенных окон

---

[1] Я измучена! *(Фр.)*

видно было, как кружатся белые хлопья и летят вверх, точно идет снег не с неба, а с земли.

— Метет! — сказал кто-то.

— В степу большая пыль будет, — хрюкнул Пелагеич.

Усадебный сторож Егор держал коренника прямо за морду и кричал во все горло Терентию, чтобы тот мимо какого-то тына забирал круче.

— Но! Пус-ка-ай! С Богом! — крикнул помещик.

Егор отскочил, коренник дернул, пристяжные присели, сбились в кучу, притворились, что совсем не понимают, чего от них требуют, и лучше бы уж их отпустили назад в конюшню. Потом запрыгали неровно и сбивчиво, то отлетая в сторону, то прибиваясь к кореннику, хитря и надеясь, что господа, видя их полную неспособность к подобному делу, одумаются и выпрягут их.

Мелькнула у ворот короткая, безногая тень увязшего в снегу конюшенного мальчишки.

— О-го-го-го!

Ветер подхватил, закрутил, оборвал звон бубенчиков и снова отдал его.

— Поехали!

— А и мошенник ты! Все-то ты понимаешь, даром что барин! — надрывался в белой мгле лебезивый голос Селиверстова.

Пелагеич чуть темнелся на козлах, рядом с Терентием и все белел и таял.

Ветер был не сильный, и снег не густой, порой совсем стихавший, и только снизу, словно дымком, подкуривался, но усадьба, лежащая, как все степные поместья, в глубокой балке, скрылась из глаз мгновенно.

Разговаривать было трудно. Ехали молча.

Изредка Терентий слезал с козел и, тыча кнутом в снег, щупал дорогу. Тогда видно было, как тревожно, по-птичьи, начинает дергаться голова Пелагеича, которому давали подержать вожжи.

Часа через три проглянула луна, чуть-чуть, краешком.

— Терентий! Много ли отъехали? — спросил помещик.

— Да версты тридцать три добрых будет.

— Ну, так можно и закусон доставать.

Оживились, закрякали, стянули рукавицы с застывших рук, выпили по очереди все из отвинченной крышки походной фляжки, закусили подмерзшими пирожками; еще выпили, еще закусили.

Лошади стояли тихо, словно прислушиваясь; пристяжные нюхали снег, и стихший дымно-снежный ветерок шевелил их хвосты и гривы.

Выпили еще, помахали руками, подтянули кушаки, перекрестились.

— С Богом, трогай!

— Ишь, ты, все-то он понимает, даром что барин.

— Сами с усами.

Поехали.

Пристяжные уж не притворялись. Они знали, что их дело проиграно, и обиженно семенили тонкими ножками, изредка срываясь и испуганно выныривая из ухаба.

Часа через два помещик крикнул:

— Терентий! Не потерял ли, ворона, дорогу? Чего это до сих пор Ванькина села не видно?

— Должно быть, что проехали, пока мело, и не заметили, — отвечал Терентий.

— Надо быть, проехали, — прихрюкнул и Пелагеич. — В степу-то пыль, ну, и не видно.

— Проехали, так и ладно, можно и привал сделать, веселее ехать будет.

Опять достали погребец, пили, крякали, закусывали, крестились.

— С Богом!

— Ого-го-го-о!

«Брынь-брынь-брынь!» — отчетливо сказали бубенчики в притихшем, опрозрачневшем воздухе.

Подремали.

— А-во, а-ва-ва-ту, — завякал что-то с козел Терентий и приостановил тройку.

— Ты чего? — не понял спросонья помещик.

— А вот она, дорога-то! А вы давеча думали, я сбился. Вот и следы, — проехал тут кто-то недавно. Я свое дело знаю, я по дороге ехал.

— Ну и ладно. Ехал так ехал. А не погреться ли малость? Теперь, верно, скоро и Замякино.

— Скоро и Замякино.

Снова погрелись, покрякали, закусили, похлопали руками.

— С Богом!

— Ого-го-го!

«И брынь, и брынь, и брынь!».

Дорога стала лучше, укатаннее.

— Это, видно, куринские на ярмарку проехали. Ишь, как укатали.

— Что ж, спасибо им. Небось, квартиры у нас не перебьют. Ха-ха! — щекотал душой помещик.

— А что, — острил Селиверстов, — куринские мужики богатые, — может, целых двух кобыл погнали.

— Ха-ха-ха!

«Брынь-брынь-брынь!»

Ехали.

— А что, Терентий, не видать Замякина?

— Не видать чего-то.

— А может, и проехали?

— Может, и проехали.

— Тогда скоро Букино будет?

— Скоро Букино. Букино тут справа останется.

Ехали. Дремали.

— Ну, что же Букино?

— А кто его знает? Не видать чего-то.

Опять задремали.

— Тпррру!

— А? Что?

— Что случилось?

Терентий обернулся, растерянный.

— Да чего-то, будто мужик стоит.

— Мужик? Где мужик?

— Да вон, на дороге.

— И впрямь мужик! Как же его занесло-то?

— А что, барин, — вдруг сказал Терентий. — Ведь никак это наш Ягор.

— Егор? Чего ты врешь-то, как же его сюда занесло?

— А ты покричи, — посоветовал Селиверстов.

Пелагеич перекинул ноги в сани и быстро крестился.

— Ягор! А Яго-ор! — зазвенел Терентий. — Ты, что ли?

— Его-ор! Его-ор! — помогли помещик с Селиверстовым.

— А ва-а-у-а!.. — загудело в ответ.

— Ей-богу, Ягор, — растерялся Терентий.

У помещика мелко задрожала нижняя челюсть.

Короткая, безногая в снегу фигура приближалась, качаясь.

— Яго-ор!

— Я! Я!

— Да как ты сюда попал-то?

— Да что, как попал!

Лицо у Егора испуганное, глаза выпученные, как руками развел, так рук и не собирает.

— Как тебя занесло-то сюда, в поле, за пятьдесят верст?!

— Да что, как попал, — повторяет Егор. — Уехали вы, а потом, слышу, едет кто-то по дороге, а потом опять. Вышел за ворота, слушаю — катает кто-то на тройке вокруг гумна. И всю-то ноченьку так. Я уж хотел народ скликать. Да дай, думаю, выйду посмотрю. Вышел, ан они, голубчики, тут как тут. Смотрю, тройка будто наша, а тут кричат: «Ягор, Ягор». Батюшки, никак и впрямь наши! И чего же это вы, родные, всю-то ноченьку вокруг гумна да на тройке? С нами крестная сила!

Помолчали.

— Теперь уж не доехать, — вздохнул Терентий. — Лошади пристали. Без малого верст пятьдесят прошли.

— Въезжай во двор, — сухо сказал помещик. — Завтра узнаешь, где раки зимуют.

Он уже не чувствовал себя больше ни кулаком, ни мерзавцем, а был самым обыкновенными человеком, у которого нос застыл и которому как судьба определила быть лежебокой-помещиком, так ему на том и остаться, а в «сами с усами» никогда и не выскочить.

— Ничего, и завтра поспеем, — смущенно лебезил Селиверстов. — В такую метель коробовские, небось, тоже хвосты завязили.

Но помещик уныло молчал и не слушал. Так молча вошел и на крыльцо.

— Что, брат! Без сметаны скис! Засме-ю-т! — подмигнул Селиверстов не то себе, не то Пелагеичу.

Должно быть, себе, потому что Пелагеич был слишком подавлен, чтоб что-нибудь понимать. Он только молча тряс тулупом, как собака шкурой, сбрасывая снег, и тихо поплелся в кухню.

А в окнах голубело утро. Наставал день позора.

Продавщица

Мадмуазель Мари с утра одета и затянута в рюмочку.

На голове у нее двадцать два локона цвета старой пакли, которые она каждый день пересчитывает, чтобы девчонки за ночь не отрезали пару-другую для собственной эстетики.

Мадмуазель Мари любит встречать покупателей, стоя в двух шагах от прилавка, повернув в профиль свой вздернутый нос.

Справа от нее — три колонны белых картонок, слева — три колонны черных. Сама она — как жрица этого таинственного храма, а прилавок — как алтарь, на котором грудой лежат хвосты и перья невинных жертв.

Вот звякнул дверной колокольчик.

Мадмуазель Мари делает выражение лица такое, какое, по ее мнению, должно быть у француженки: вытягивает шею, складывает губы бантиком и удивленно закругляет брови.

Взглянувшему на нее мельком непременно покажется, будто она понюхала что-то и не может определить, что именно такое.

В таком виде она встречает покупательницу.

— Что угодно, мадам?

— Покажите мне, пожалуйста, какую-нибудь шляпу.

— Мадам, конечно, хочет светлую шляпу, потому что в настоящее время никто темных не носит.

— Нет, мне именно нужно темную.

— Темную?

Лицо мадмуазель Мари выражает неожиданную радость.

— Темную? Ну, конечно, для мадам нужно темную, потому что только темная шляпа может быть изящна. Ну, смотрите, вот эта, например.

Она вынимает из картонки пеструю шляпу.

— Вот эта. Чего только тут не накручено! Разве кто скажет, что это хорошо? Они себе там навыдумывали в Париже всякого нахальства, так мы тут из-за них должны страдать. Зачем? Когда мы лучше купим изящную темную шляпу, так она...

— Позвольте, — перебивает покупательница. — Покажите-ка мне эту пестренькую; она, кажется, хорошенькая.

— Ага! — торжествует мадмуазель Мари. — Я уже вижу, что мадам понимает толк! Ну, это же самая парижская новость. Уж новее этого только завтрашний день. Вы посмотрите, как это оригинально. А? Что? Посмотрите эти цветы! А? Это разве не цветы? Это цветы!..

— Подождите, я хочу примерить.

Но мадмуазель Мари примерить не дает. Она глубоко уверена, что каждая шляпа выигрывает над ее собственной физиономией.

— Позвольте, я надену сначала на себя, так уж вы увидите.

Она надевает и медленно и гордо поворачивается перед покупательницей. А покупательница смотрит и не может понять, отчего шляпа вдруг перестала ей нравиться.

— Нет, от нее как-то щеки вылезают, и нос задирается. Нет, уж лучше я возьму что-нибудь темное.

— Темное? — радостно вспыхивает мадмуазель Мари. — Ну, я же вам говорила, что если что можно носить, так это только темное. Вот могу вам предложить.

— Нет, я лилового не хочу. Мне лучше что-нибудь синее.

— Синее?

Мадмуазель Мари приостанавливается, и видно, как в ее голове проходит целая вереница шляп. Она вспоминает, есть ли у нее синяя.

— Синяя? Но знаете, мадам, синих теперь совсем не носят! Я даже удивилась, когда вы такое слово сказали. А впрочем... Лизка! Подай вон ту картонку. Вот, мадам, синяя. Ну, это же такая шляпа! Это кукла, а не шляпа. И самая модная; это, заметьте себе, гусиное перо из настоящего гуся!

— Подождите, дайте же мне примерить.

— Позвольте, мадам, я сама, так вам будет виднее.

— Гм… Нет, и эта мне не нравится. Все у вас какие-то такие фасоны, что нос задирается, а щеки висят.

— Ну, это же такая мода. Самая последняя… Перо самое последнее… Фасон последний и последняя солома, — чего же вам еще?

— Покажите еще что-нибудь.

— Вот могу вам показать эту зеленую. Только это уже не то. В ней нет того шику…

— Нет, она мне нравится.

— Она же не может не нравиться!.. Это же кукла, а не шляпа. Ту желтую пусть себе старухи носят. А эта зеленая — это что же такое! Одна артистка ее увидела, так хотела десять шляп таких же заказать.

— Как, все одинаковые?

— Ну, да. Это же очень практично. Одна шляпа помялась или выгорела, она себе надевает другую, а все думают, что это та же самая. Это чрезвычайно...

— Постойте, помолчите одну минутку, а то вы так много говорите, что я даже не понимаю, какого цвета шляпа.

— Самого лучшего цвета, мадам, самого модного. И даже на будущий год это будет самая последняя новость… Ай, зачем же вы надели, вы могли померить на мне. Но знаете, мадам, вам в этой шляпке так хорошо, как будто вы в ней родились, ей-богу! И что я вам посоветую: я вам положу пеструю ленточку вот сюда. У меня есть такая парижская ленточка, прямо кукла! С этой ленточкой это будет такая прелесть, что прямо все голову потеряют! Вот взгляните только!

— Нет, знаете, мне без ленточки больше нравится.

— Без ленточки больше? — радостно переспрашивает мадмуазель Мари. — Ну, я уже вижу, что у мадам есть вкус! Это пусть они там носят такие штуки, но раз у человека есть вкус, то уж…

— Помолчите, ради Бога, одну минуту, а то я уж сама себя в зеркале не вижу.

— Позвольте, мадам, я надену на себя, так вы сразу увидите. Вот!

— Гм… Нет, знаете, она мне не нравится. У вас все какие-то такие фасоны… Я лучше после зайду, в другой раз, вечерком.

Мадмуазель Мари меняет лицо удивленной француженки на лицо оскорбленной француженки. Для этого она еще выше поднимает брови и еще крепче сжимает губы и стоит так, пока не затихнет разболтавшийся дверной колокольчик.

Когда колокольчик успокаивается и теряется надежда, что покупательница одумается и вернется, лицо у мадмуазель Мари принимает самое обыкновенное интернациональное выражение.

Она складывает в картонки разбросанные шляпы и расправляется с ушедшей покупательницей без всякой жалости:

— Вы, вероятно, воображаете, мадам, что понимаете фасоны? У вас, может быть, модная мастерская? Или вы всегда живете в Париже? Попрошу вас оставить наш магазин, уже довольно вы тут наболтали!

Демоническая женщина

Демоническая женщина отличается от женщины обыкновенной, прежде всего, манерой одеваться. Она носит черный бархатный подрясник, цепочку на лбу, браслет на ноге, кольцо с дыркой «для цианистого калия, который ей непременно принесут в следующий вторник», стилет за воротником, четки на локте и портрет Оскара Уайльда на левой подвязке.

Носит она также и обыкновенные предметы дамского туалета, только не на том месте, где им быть полагается. Так, например, пояс демоническая женщина позволит себе надеть только на голову, серьгу на лоб или на шею, кольцо на большой палец, часы на ногу.

За столом демоническая женщина ничего не ест. Она вообще никогда ничего не ест.

— К чему?

Общественное положение демоническая женщина может занимать самое разнообразное, но большею частью она — актриса.

Иногда просто разведенная жена.

Но всегда у нее есть какая-то тайна, какой-то не то надрыв, не то разрыв, о котором нельзя говорить, которого никто не знает и не должен знать.

— К чему?

У нее подняты брови трагическими запятыми, и полуопущены глаза.

Кавалеру, провожающему ее с бала и ведущему томную беседу об эстетической эротике с точки зрения эротического эстета, она вдруг говорит, вздрагивая всеми перьями на шляпе:

— Едем в церковь, дорогой мой, едем в церковь, скорее, скорее, скорее. Я хочу молиться и рыдать, пока еще не взошла заря.

Церковь ночью заперта.

Любезный кавалер предлагает рыдать прямо на паперти, но «она» уже угасла. Она знает, что она проклята, что спасенья нет, и покорно склоняет голову, уткнув нос в маховой шарф.

— К чему?

Демоническая женщина всегда чувствует стремление к литературе.

И часто втайне пишет новеллы и стихотворения в прозе.

Она никому не читает их.

— К чему?

Но вскользь говорит, что известный критик Александр Алексеевич, овладев, с опасностью для жизни, ее рукописью, прочел и потом рыдал всю ночь и даже, кажется, молился, — последнее, впрочем, не наверное. А два писателя пророчат ей огромную будущность, если она, наконец, согласится опубликовать свои произведения. Но ведь публика никогда не сможет понять их, и она не покажет их толпе.

— К чему?

А ночью, оставшись одна, она отпирает письменный стол, достает тщательно переписанные на машинке листы и долго оттирает резинкой начертанные слова «Возвр.», «К возвр.».

— Я видел в вашем окне свет часов в пять утра.

— Да, я работала.

— Вы губите себя! Дорогая! Берегите себя для нас!

— К чему?

За столом, уставленным вкусными штуками, она опускает глаза, влекомые неодолимой силой к заливному поросенку.

— Марья Николаевна, — говорит хозяйке ее соседка, простая, не демоническая женщина, с серьгами в ушах и браслетом на руке, а не на каком-либо ином месте, — Марья Николаевна, дайте мне, пожалуйста, вина.

Демоническая закроет глаза рукою и заговорит истерически:

— Вина! Вина! Дайте мне вина, я хочу пить! Я буду пить! Я вчера пила! Я третьего дня пила и завтра... да. И завтра я буду пить! Я хочу, хочу, хочу вина!

Собственно говоря, чего тут трагического, что дама три дня подряд понемножку выпивает? Но демоническая женщина сумет так поставить дело, что у всех волосы на голове зашевелятся.

— Пьет.

— Какая загадочная!

— И завтра, говорит, пить буду...

Начнет закусывать простая женщина, скажет:

— Марья Николаевна, будьте добры, кусочек селедки. Люблю лук.

Демоническая широко раскроет глаза и, глядя в пространство, завопит:

— Селедка? Да, да, дайте мне селедки, я хочу есть селедку, я хочу, я хочу. Это лук? Да, да, дайте мне луку, дайте мне много всего, всего, селедки, луку, я хочу есть, я хочу пошлости, скорее... больше... больше, смотрите все... я ем селедку!

В сущности, что случилось?

Просто разыгрался аппетит, и потянуло на солененькое. А какой эффект!

— Вы слышали? Вы слышали?

— Не надо оставлять ее одну сегодня ночью.

— ?

— А то, что она, наверное, застрелится этим самым цианистым кали, которое ей принесут во вторник...

Бывают неприятные и некрасивые минуты жизни, когда обыкновенная женщина, тупо уперев глаза в этажерку, мнет в руках носовой платок и говорит дрожащими губами:

— Мне, собственно говоря, ненадолго... всего только двадцать пять рублей. Я надеюсь, что на будущей неделе или в январе... я смогу...

Демоническая ляжет грудью на стол, подопрет двумя руками подбородок и посмотрит вам прямо в душу загадочными, полузакрытыми глазами:

— Отчего я смотрю на вас? Я вам скажу. Слушайте меня, смотрите на меня... Я хочу, — вы слышите? — я хочу, чтобы вы дали мне сейчас же, — вы слышите? — сейчас же двадцать пять рублей. Я этого хочу. Слышите? — хочу. Чтобы именно вы, именно мне, именно дали, именно двадцать пять рублей. Я хочу! Я тввварь!.. Теперь идите... идите... не оборачиваясь, уходите скорее, скорей... Ха-ха-ха!

Истерический смех должен потрясти все ее существо, даже оба существа, — ее и его.

— Скорей... скорей, не оборачиваясь... уходите навсегда, на всю жизнь, на всю жизнь... Ха-ха-ха!

И он «потрясется» своим существом и даже не сообразит, что она просто перехватила у него четвертную без отдачи.

— Вы знаете, она сегодня была такая странная, загадочная. Сказала, чтобы я не оборачивался.

— Да. Здесь чувствуется тайна.

— Может быть... она полюбила меня...

— !

— Тайна!

Письмо

Дверь на черную лестницу вздрогнула от удара властного кулака.

— Свои! Свои! Отпирай, нечего!

Кухарка Федосья, штопавшая натянутый на деревянную ложку чулок, бросила работу и открыла дверь.

— Здравствуй! Здравствуй!

Швейцар Вавилыч, щурясь на лампу, снял фуражку:

— Ну, где же ваше чучело-то? Мне долго валандаться недосуг. Звала письмо писать, так и должна быть готова.

— Присядьте, Иван Вавилыч, я ее кликну.

Кухарка заглянула в комнаты.

— Идет наша чучела.

Чучело вошло и оказалось господской мамкой, в пестром ситцевом сарафане, простоволосой, с кротким безбровым личиком. Вся она была маленькая и словно насмерть перепуганная — глаза выпученные, рот открытый.

— Ну чего же ты, ползешь — не ползешь! — приветствовал ее Вавилыч.

— Дитю кормила, — отвечала мамка из почтительности шепотом.

— Бумагу приготовила? Перо, чернила? Что же я тебе сапогом по стене писать буду, что ли.

— Федосья Микитишка обещали бумажку-то спроворить.

— На, бери, не скули.

Федосья достала из кухонного стола продолговатый листок шершавой английской бумаги с большой монограммой и графской короной.

Швейцар одобрил.

— Ин ладно. Можно и на такой. Ну-с, что же тебе писать? Кому пишешь-то?

Мамка медленно и молча стала подымать подол сарафана. Подняла, разыскала в нижней клетчатой юбке карман, вытащила носовой платок, напоминавший размерами салфетку, медленно опустила сарафан и тогда уж всхлипнула и вытерла глаза и нос.

— Тьфу ты, пропасть! — сплюнул швейцар. — Беда с этими деревенскими. Как письмо писать, так они плакать. И чего, дура, ревешь? Что ты, хоронишь кого, что ли?

— Перестань ты, чучело, — ввязалась и кухарка. — Молоко скиснет.

— Кому пишешь-то? Ну?

Мамка молча сморкалась.

— Матери, что ли?

— Матери, — всхлипывающий шепот.

— Так что же писать-то?

— А вы лучше знаете, вы ученые.

— Ну, значит, в первых строках письма поздравляем с праздником, низко кланяюсь маменьке нашей... как звать-то?

— Матреной. Матреной Ивановной.

— Ну-с, значит,Матрене Ивановне, гм... и навеки ненарушимо. Еще какая родня-то?

— Тетенька Катерина Ивановна, сестрица Пелагея Петровна и братец Андрей Петрович, и новопреставленный Савва, и дяденька Егор Иванович.

— Подожди, не спеши. Савва, значит, Петрович?

— Не-ет. Ой, что вы! Какой же он Петрович! Иваныч, а не Петрович.

— Подожди, не спеши. Теперь тут у тебя в городе какая родня, от кого поклоны слать?

— Да нету у нее никого здесь, — сказала кухарка.

— Как нету?.. — испугалась мамка. — Очень даже есть... Невестка есть, и свояк есть, и сдвуродная сестрица Лукерья...

— Чего же они тебя не проведали-то?

— Да не знают они, где я. Как же они могут знать-то.

— Так послала б им открытку, чучело! Ревешь, ревешь, а позвать не догадаешься.

Лицо у мамки сделалось совсем страдальческое.

— Послать-то нельзя к ним. У них адрес.

— Что-о?

— Адрес у них. Кабы у них адресу не было, я бы сама к ним сбегала. А у них адрес.

— Да ты что плетешь-то? — удивился швейцар.

— Я правду говорю. Вон у нас в деревне адресу нет, так я кого угодно найду. А здесь у каждого человека адрес. Да и не одинаковый: у свояка один, а у невестки другой, а у сдвуродной Лукерьи опять особый. А барыни вчерась сказала, что у меня теперь адрес тоже есть и что без адреса меня никто и не най-де-от!

Мамка вся сморщилась, так что слезы брызнули на пеструю грудь сарафана.

— Ишь, ревет! — даже испугался швейцар. — Да что она, тебе адрес-то свой сказала?

— Говорила, да ведь адрес-то все равно никто запомнить не может.

Швейцар раздумчиво почесал в бороде.

— Ч-черт! Что же я тебе писать-то буду?

— Да уж напишите побольше, вы ученые, вы лучше знаете.

Круглые, испуганные глаза смотрели с мольбой и отчаянием.

Швейцар вздохнул.

— Ну, делать нечего, буду писать от себя что-нибудь интеллигентное... Гм... и низко кланяюсь... от Господа доброго здоровья... авиация достигает специальных размеров производства... сезонная жизнь в полном разгаре... и в чаду маскарадных наслаждений отдаемся азарту бешеных страстей... Остаюсь известная дочь — Марфа, что ли?

— Мавра.

— Дочь Мавра. А за нее, по неграмотности, Иван Вавилов Копров.

Швейцар окружил свою подпись сиянием, украсил завитушками, полюбовался и передал письмо мамке.

— Смотри, не размажь. Деревня! Довольна, что ли?

— Дай тебе, Господи, здоровья.

— Да и не плачь ты, иродица! Ну и нар-род!

После праздников

В классе сыро и душно.

Не топленные во время праздников печи отдают дымом.

Варя Зыбина сидит на второй скамейке и может укрыться от взоров учителя, нагнув немножко вбок свою кудрявую голову, потому что девочка, сидящая перед ней, выше ее ростом.

Учитель тусклым голосом крякает что-то про Екатерину Вторую.

Иногда приостанавливается, точно прислушивается к тому, что у него делается под ложечкой.

Его, очевидно, тошнит. И он даже знает — отчего. От вчерашней осетрины. Он говорит про пышный двор императрицы, а чувствует при этом осетрину.

— Ммя... Н-дам. Итак, удачливая в своей внутренней политике осетрина... ммя... Екатерина Великая...

Варя Зыбина ниже наклоняет голову и продолжает прерванный разговор.

Лицо у Вари томное, глаза усталые, и щеки горят.

— ...Он кадет. Осенью кончает. Знаешь, Женечка, я никогда, даже в самой ранней молодости, не любила кадетов, но тут — сама не знаю, что со мной. Это какое-то безумие!

Женечка, востроносая, прыщавая, с тонкими хитрыми губами, презрительно морщится.

— Вечно у тебя драмы! Осенью студент Лимасов, потом какой-то циркач, теперь кадет Мукин.

— Студент — ерунда, я даже с ним не разговаривала ни разу. Циркач, действительно, был интересен, но я так с тех пор и не была в цирке, а на письмо он не ответил. Верно, не понимает по-русски...

— Ммя! — крякает учитель. — Прошу быть внимательнее. Н-дам. Итак, предпринятые ею походы...

Варя минутку молчит, потом продолжает шепотом:

— Вчера вечером он мне признался в любви. Он был у Бриков. Но Маня Брик следила за ними все время.

— Это институтка-то?

— Да. На праздники ее взяли. Он у них летом бывал на даче. Влюблена в него, как кошка.

Женечка подумала и сказала, нахмурив брови:

— Наверное, была его содержанкой.

Варя даже захлебнулась от восторга и ревности.

— Наверное, наверное. Она на все способна, эта дура камлотовая. Только летом ведь он был в лагере, так что к ним приезжал всего два раза...

— Мало ли что.

— Положим, это верно. Ужасно она подлая. Вчера спрашивает меня, выучилась ли я модному танцу танго. А я говорю: «Не выучилась, да и не желаю. Его при Дворе все равно не танцуют». Вот ей и спичка в нос.

— Обозлилась?

— Хо-хо!

— А ты, наверное, знаешь, что он в тебя влюблен?

— Знаю. До вчерашнего дня сомневалась, но теперь уверена. Он мне сказал: «Я не верю в любовь, а признаю только голую страсть».

— Ай, какой развратный!

Варя посмотрела на Женечку с гордостью и торжеством.

— И пожал мне руку...

— Целовались? — деловито спросила Женечка.

— Безумно!

— В губы?

— В нос.

— ?

— Да так вышло. Я уронила за чаем кусок булки и нагнулась под стол, — ну, и он тоже. Ну, и там все и случилось. Безумно!

— Так кто же кого, не понимаю, — возбужденно ежилась Женечка. — Ведь если в губы, так, значит, вместе, а если в нос, так уж выходит, или один, или по очереди.

— Н... не знаю... кажется, что поцеловала я, — покраснела Варя. — Впрочем, и он хотел, да не успел, потому что дура Брик тоже под стол полезла. Из ревности, конечно. Я и выскочила.

— А он?

— Ну, потом и он.

Женечка ядовито усмехнулась:

— А если и она ему нос...

— Ну, что за вздор. Так он и позволит. Он захвачен страстью ко мне.

Помолчали.

— А... приятно? — шепотом спросила Женечка.

— Безумно!

Учитель вдруг замолчал. Затомила осетрина под ложечкой. Вспомнился чей-то голос, слышанный так недавно, в пятом часу утра. Что он говорил, этот голос? Н-дам... «Петр Николаевич, еще рябиновки». Нет, это другой говорил. Это Свеклин говорил, а Елена Петровна говорила: «Пьер, вы похожи в профиль на Наполеона». Ну, и он же тонко ответил: «Да, похож на Наполеона, и для полного сходства не хватает мне только Святой Елены. А разве вы не святая женщина, Елена Петровна?» Хо-хо! Ловко... М-дам. Но осетрина... И к чему? Зачем пытка, когда наслаждение гораздо приятнее?

Он вдруг очнулся, понял, что молчит, и вспомнил, что нужно говорить, а о чем именно — вспомнить не мог.

— Н-дам... Итак, на чем мы остановились? Госпожа Зыбина, о чем я рассказывал?

Варя встает, и все лицо ее, пылающее и взволнованное, говорит про кадета Мукина, но рот молчит.

— Итак, г-жа Зыбина, — о чем?

Девочка на первой скамейке прикрывает рот ладонью и шепчет Варе:

— Про Екатерину, Екатерину, Екатерину.

— Про Екатерину, — обиженным тоном повторяет Варя. Придирайся, мол, а я все слышу.

— Про Екатерину? — крякает учитель. — Разве так можно говорить «про Екатерину»? Про какую такую Екатерину? Кто была Екатерина?

Варя молчит и всем лицом говорит про кадета Мукина.

— Ну-с! Кто была Екатерина? А? Господи! Ну, кто такой был Людовик Пятнадцатый? А? Я вас спрашиваю: кто был Людовик Пятнадцатый?

Варя смотрит испуганно. Кадет Мукин уже не одухотворяет ее лица.

— Ну-с?!

— Людовик Пятнадцатый был...

Вздохнула.

— Был мужчина.

Учитель молчал.

Хотел что-то сказать, даже рот раскрыл, но лень, скука и осетрина одолели его.

— М-мя, — крякнул он. — Н-дам.

И вдруг что-то яркое, остро-радостное разорвало тусклый воздух, ударило сверкающим жгутиком в сонные нервы.

— Слава Богу!

Это швейцар Никита ткнул корявым пальцем в кнопку звонка.

Урок кончился.

Гаданье

— Мамочка, за мной зашли Вера Ивановская и Катя Фиш. Можно нам пойти ко всенощной?

Надя говорит равнодушным тоном, но лицо у нее напряженное, уголки рта дрожат.

— Идите, — отвечает мать. — Что это вдруг такая религиозность обуяла? Подозрительно что-то...

Надя слегка краснеет и, быстро повернувшись, уходит из комнаты.

В передней взволнованным шепотом расспрашивают ее нескладная дылда Катя Фиш и маленькая, юркая Вера.

— Можно! Можно! Позволила! Идем.

Надя быстро одевается. Сердце стучит. Страшно. Еще одумаются и вернут.

Выбежали на улицу.

— Нехорошо только, что у нас платья такие короткие. Подумает, что девчонки, и не станет серьезно гадать.

— Ерунда, — утешает Вера. — На платье она внимания не обратит, а лица-то у нас не молоденькие.

— В пятницу, когда я шла из гимназии, меня один извозчик барыней назвал, — хвастает дылда Катя. — Честное слово! Ей-богу!

— Надо было все-таки хоть косы подколоть, — беспокоится Надя. — А то она не отнесется серьезно.

— Нет, нет, не беспокойся, она очень серьезная. Она горничной Фене всю правду сказала. И привораживать умеет, и все.

— Привораживать?

Надя задумалась. Хорошо бы кого-нибудь приворожить. Вчера мадам Таубе рассказывала маме про своего дядю графа Градолли, который всегда в Париже живет. Старый богач. Вот бы его приворожить. Граф Градолли! Ну, есть ли что на свете красивее такой фамилии! Графиня Градолли. Надежда Александровна Градолли! Молодая красавица графиня...

— Тише, тише! Осторожно, тут ступеньки, — шепчет дылда. — Вот в этот подвал.

— В подвал? — пугается Надя. — Нет, я в подвал ни за что не полезу!

— Бою-усь! — пищит Вера. — А ты не спутала: это тот самый подвал?

— Ну, конечно. Мне горничная Феня показывала.

— Бою-усь!

— Ну, так нечего было и затевать, — демонстративно поворачивается дылда. — Жалко, что связалась.

— Как же быть? — томится Надя. Ступеньки подвала ослизлые, щербатые. На дверях — рваная клеенка и мочалка. Но с другой стороны, что может быть красивее фамилия Градолли!.. Молодая графиня Градолли...

— Все равно: уж раз решили, так пойдем.

В подвале пахнет щами и прелыми досками.

— Вам кого надо? — спрашивает тощий мужик в лиловой рубахе.

Подруги молчат. Им неловко и страшно сказать, что нужна гадалка. Мужик еще рассердится.

— Мы, наверно, не туда попали, — испуганно шепчет Вера и тянет Надю за рукав к выходу.

— Да им, верно, Дарью Семеновну нужно, — захрипел чей-то голос из-за печки. — Дарья! К тебе, что ли?

— Господи! Да их тут целая шайка! — волнуется Надя.

Из-за перегородки показывается рябая бабья рожа; темные внимательные глаза искоса приглядываются.

— Что, барышни, погадать, что ли? Только я ведь этим не занимаюсь. Это вам кто же сказал-то?

— Феня... Феня сказала.

— Феня? Рыжая, что ли?

— Да... да...

— Ну, уж так и быть. Только деньги вперед. Тридцать копеек за каждую. Пожалте-с.

За перегородкой стояла узкая железная кровать, стол, покрытый красной бумажной скатертью, и два кресла без всякой покрышки, — просто одно мочальное содержимое.

На одно кресло села сама гадалка. На другое указала Кате, в которой сразу определила предводителя.

— На бубновую даму. Дли сердца — удивит дорога. Через денежное предприятие червонный разговор в казенном дом. В торговом деле — бубновый человек вредит.

Дылда испуганно выкатила глаза. Торговых дел у нее не было, но все-таки пугало, что бубновый человек вредит.

— Теперь на которую? — скучающим голосом спросила гадалка.

Надя покраснела, засмеялась от смущения.

— Не можете ли вы... мне говорили... я бы хотела приворот.

— Приворот? — ничуть не удивилась гадалка. — За это особливо двугривенный. Деньги вперед. На чье имя?

— Меня... Надеждой зовут.

— А кого имярека-то?

— Что?

— Кого привораживать-то?

— Он... его... графа Градолли.

— А имя-то как?

— Имя? А имя я не знаю.

— Ну, как же так, без имени-то. Без имени трудно. Некрепко выйдет.

Гадалка озабоченно пожевала губами и вдруг запричитала:

— На синем море, на червонном камне лежит доска, под доской — тоска. Отвались доска, подымись тоска по морям, по долам, по зеленым лесам, пади тоска на сердце раба Божьего Гре... Гра... Грыдоли (ишь, как неладно выходит!), истоми его, иссуши его, чтоб он спать не спал, чтоб он есть не ел, чтоб он пить не пил, по рабе Божьей Надежде сох. Аминь, аминь, аминь. Тьфу, тьфу, тьфу. Раба Божья Надежда, плюнь три раза.

Надя нагнулась, добросовестно плюнула три раза под стол и вытерла губы.

На улицу вышли какие-то подавленные.

— Все-таки она поразительно верно говорит! — ежилась дылда от страха сверхъестественного. — Этот бубновый человек — это, наверное, доктор Крюкин. Он всегда рад повредить. Или батюшка. «Я тебе, Фиш Екатерина, после праздников кол влеплю». Наверное, бубновый — это батюшка. Поразительно верно говорит. И как это она так может!

— Бою-усь! — повизгивает Вера.

Надя молчит. Ей не по себе. Связалась с этим Градолли, а вдруг он рожа!

Через два дня, за вечерним чаем, мать передала Наде флакончик духов.

— Это тебе мадам Таубе оставила. Она сегодня, бедненькая, в Париж уезжает. Расстроена ужасно.

— Почему расстроена?

— Телеграмму получила: дядя ее заболел. Помнишь, она рассказывала, — граф Градолли? Бедный старичок. Жалко, столько добра делал.

— А... а что с ним? — спрашивает Надя дрожащим голосом.

— Неизвестно что. Вдруг почувствовал себя худо. Должно быть, не выживет.

Надя вся застыла.

Вот оно! Вот оно, началось! Отвалилась доска, привалилась тоска! Господи, что мне теперь делать?!

— Мамочка, а разве он хороший, этот граф?

— Да, он известный благотворитель. Добрый старичок.

«За что я погубила его? За что? — терзается Надя. — Добрый, милый старичок, прости ты меня, окаянную! Ведь, он даже о моем существовали не знает, и вдруг, откуда ни возьмись, отвалилась доска и навалилась тоска. И помочь нельзя. И не знают, как лечить!»

— Мамочка! Они его, наверное, неправильно лечат. Мамочка, ему, может быть, жениться хочется? А они не понимают.

— Что-о? Что ты за вздор болтаешь?

Лицо у Нади такое несчастное, такое расстроенное.

— Если бы я знала, что можно сделать отворот против приворота, я бы не пожалела всего своего состояния!..

— Какой отворот? Какое у тебя состояние? Ничего не понимаю.

— Шестьдесят пять... ко... копе... ек...

— Господи! Да она плачет!

Мать быстро подбежала к телефону и, не спуская глаз с рыдающей Нади, нажала кнопку «А» и вызвала доктора Крюкина.

В весенний праздник

Желтое весеннее солнце и светит, и греет. Река ловит его веселые лучи всеми своими струйками, чешуйками и разбрызгивает их во все стороны.

Сегодня праздник, и у реки совсем особенный вид.

Вчера желтое весеннее солнце так же грело и так же светило, и так же струйки-чешуйки ловили и отбрасывали лучи, но тихо было на берегах, а по воде плыли плоты да барки, и переругивались серые и черные фигуры.

— Ав-ав-аз, — доносилось до берега.

Сегодня плотов нет, и серых фигур не видно.

Сегодня весь берег точно зацвел розовыми, голубыми, пестрыми пятнами — платьями гуляющих дачниц.

Прибрежный ресторан разукрасился флагами и несет томные стоны румынского оркестра и запах жареной курицы вплоть до другого берега.

Вода спокойно-зеркальная посредине, рябит кругами с краев. Это оттого, что ни одно человеческое существо, в возрасте от четырех до двадцати пяти лет, не может, подойдя к реке, не бросить в нее камушек или черепок.

Такова уж природа человеческая.

Вот в томные стоны румынского оркестра врываются хриплые, ржавые звуки. Они все громче и громче.

Это веселая компания проплывает с гармоникой на лодке.

Кричал он: «Милая изюминка,
Стоснул я по тебе-е-е», —

крякает на лодке пьяный голос.

Лодка, качаясь и кренясь на один борт, двигается быстрыми, неровными толчками.

Круги вдоль берегов на мгновение замирают. Застывают розовые, голубые и пестрые пятна. Следят за лодкой: сейчас она потонет или погодя?

Нет, завернула, — значит, погодя. Впрочем, не все ли равно. Не потонет эта, — потонет другая. Без этого не обойдется, так требует статистика: в весенний праздник тонут в этой реке ежегодно от десяти до тридцати человек.

Таков закон. Через него не перешагнешь.

Курсистка Лялечка и студент Костя Багрецев сели в лодку.

Лялечка подобрала платье, ухватила веревку руля и прищурилась на солнце.

Она чувствует, что она хорошенькая, что она загадочная, что в ней есть что-то русалочье, не так, как в каждой барышне, сидящей на руле, а в гораздо большей степени.

Студент Костя влюблен в нее. Она его замучает и будет хохотать русалочьим смехом.

На ней новый серый костюм с черной тесемочкой. Еще утром она сомневалась насчет тесемочки, но теперь она уверена, что это хорошо и что мир принадлежит ей.

Рядом с ней в пакетике — четыре бутерброда с сыром и плитка шоколада.

Студент Костя снял тужурку и налег на весла.

Оба молчат.

«Отчего он не смотрит на меня и не удивляется, что я такая особенная?» — беспокоится Лялечка.

Костя внимательно оглядывает свои плечи: «Какие у меня, однако, мускулы!»

Опять долго молчат.

Потом Костя опускает весла, многозначительно улыбается и объявляет, что он вспотел.

— Хотите есть? — холодно спрашивает Лялечка.

— А вы?

— Я не хочу.

Ей очень хотелось, но почему-то она отказалась.

Костя удивился, но съел все четыре бутерброда.

«Какой пошляк», — брезгливо думала Лялечка.

— Хотите шоколаду?

— А вы неужели и шоколаду не хотите? — снова удивился Костя.

Ей очень хотелось, но со злости за бутерброды она отдала весь шоколад и возненавидела Костю холодной, острой ненавистью.

А тот удивился, напился из горсточки воды и снова взялся за весла.

Я вас ждаля,
А, ви, ви нэ прэшлы! —

донесся гортанный голос певца-румына.

— Подплывем поближе, — даром музыку послушаем! — радовался Костя.

Лялечка только что подумала то же самое, но теперь, когда он это сказал, ей показалось, что такая пошлость может прийти в голову только ему.

Костя потянул носом.

— А вкусно пахнет! А?

И опять он сказал ее мысль, и она вся задрожала от отвращения.

— Я хочу домой.

— Домой? Я так и знал, что вы воды боитесь.

Лялечка от наплыва отчаяния, злобы и ненависти открыла рот, как рыба, и не знала, что сказать.

А, ви, ви нэ прэшлы! —

всхлипнул румын.

Они проплывали теперь под самой террасой. Какая-то дама перегнулась к ним, и пушистые перья ее шляпы тихо качались, скользя кружевными тенями по бледному чернобровому лицу. Улыбнулась, обернулась, сказала что-то, и к ней нагнулся молодой моряк.

Лялечка стиснула зубы. Вот сейчас, в этот момент, поняла она, что черная тесемка на сером платье — один ужас, что Костя — дурак, что шоколад съеден и что дальше так жить нельзя.

— Я вам говорю, что я хочу домой, — прошипела она. — Я вам говорю, что хочу домой. Или вы настолько глупы, господин Багрецов, что не понимаете, что я вас ненавижу!

— Посмотри, какая милая парочка там, на реке в лодке! — сказала моряку бледная дама. — Какие у него сильные руки!

— Ничего особенного, — пробормотал моряк. — Кофе хочешь?

— Нет, очень красиво... когда он откидывает плечи.

— Я тебя спрашиваю: хочешь ли ты кофе?

— Не понимаю, чего тут злиться? Мне нравится, потому что они оба так красиво плывут... Молодо, весело, ярко...

— Я же предлагал поехать на катере! Ты же сама не хотела!

Дама повернулась к нему. Губы у нее стали белые, а глаза круглые, желтые, с черными ободками.

— Не хочу! Не хочу! Ничего не хочу! А больше всего — тебя не хочу!

Восторгом сладострастья... —

томился взбодренный на бис румын.

И на груди молодой! —

надрывался кто-то среди реки.

И снова притихли прибрежные круги. Следят, — потонет теперь или погодя?

Папочка

Это случилось уже не в первый раз.

В первый раз, два года назад, вскоре после свадьбы, было то же, но совсем иначе.

Тогда Василий Андреич рыдал, бил себя в грудь кулаком и кричал исступленно:

— Зина! Дорогая! Как могла ты подумать, что я променяю тебя на кого-нибудь! Я был пьян, я ничего не понимал, я во всем виноват Кокорев! Это — человек самых низких инстинктов, поверь мне.

И хотя было странно, что Кокорев виноват, когда Василий Андреич целуется с Аделью из «Аквариума», но Зиночка всей душой поверила в это чудо и нашла успокоение в ненависти к Кокореву.

Кокорев был вычеркнут из списка знакомых, и на улице Зиночка ему не кланялась.

Василий Андреич одобрял поведение жены и даже благодарил ее.

Потом была история с какой-то телеграммой из Москвы: «люблю, тоскую», но Василий Андреич доказал, как дважды

два четыре, что это условный служебный шифр, и что можно только радоваться, потому что это означает подъем на бирже...

Зиночка не успела порадоваться, как муж ее пропал на четыре дня. Потом оказалось, что он просто ездил один на Валаам, в монастырь, в силу неожиданно проявившейся религиозной потребности, которую он еле-еле за четыре дня успокоил.

В кармане у него оказалась зубочистка со штемпелем варшавского ресторана. Зиночка очень удивились, но он удивлялся еще больше и только потом догадался, что зубочистка пролежала в кармане с девятьсот одиннадцатого года. Все это было странно, так как костюм был сшит всего два месяца назад.

Зиночка ничего не понимала и на всякий случай плакала по вечерам.

Теперь было совсем иначе.

Василий Андреич пропадал дни и ночи, денег на хозяйство не выдавал, а когда переехали на дачу, он застрял в городе и за целый месяц приехал только один раз, причем был очень рассеян и все напевал что-то странное по-польски:

А тэму трошки
Покаж панчожки.

Потом попросил у Зиночки ее браслетку на счастье, повертелся и уехал.

Зиночка затосковала.

Поехала на городскую квартиру узнать, нет ли писем. Письмо оказалось одно, и то на имя барина. Оно было розовое, запечатанное фиалкой, и пахло такими скверными духами, что Зиночка сразу заплакала и распечатала его.

Все было ясно.

Через полчаса она сидела в кабинете отца и говорила, всхлипывая:

— Ты сам понимаешь, папочка, что так продолжаться не может. Научи, как мне быть!

Папочка, сухой, строгий, пощипывал свои седенькие бачки, хмурил брови и внимательно разглядывал сизый пепел сигары, точно оттуда и вылезла вся история.

— Так ты говоришь, подарил ей твою браслетку?

— Да, — прошептала Зиночка.

— Гм... Может быть, ты что-нибудь спутала?

— Нет, папочка, тут в письме все ясно.

— Гм... Да... мм... Подарил, значит, ей твою браслетку? Это нехорошо. Это знаешь ли, ma chère, очень нехорошо. Я его проберу.

Зиночка подняла свои запухшие, с красными жилками глаза и посмотрела на отца со страхом и уважением.

— Папочка, я бы не стала беспокоить тебя, но мама уехала, и у меня никого нет, мне некуда пойти и некому рассказать, о моем... о моем несчастье.

Папочка нахмурился, понюхал сигару и сказал решительно:

— Ты хорошо сделала, ma chère, что пришла именно ко мне. Можешь быть уверена, что это ему так не сойдет. Человек, которому я доверил судьбу моей дочери, не должен злоупотреблять э-э... во вред э-э... ее интересам. Ты не плачь и успокойся... Я с этим господином разделаюсь.

— Папочка!

— Нет, это действительно возмущает меня до глубины души. Какая низость! Боже мой, куда мы идем? До чего мы дошли.

— Папочка, ты только не волнуйся!

— Хорошо, что мама за границей, а то пошла бы канитель. Ты ей не писала?

— Нет... я не могу!

— И не надо.

Он встал, расправил бачки, ткнул сигару в пепельницу.

— Где он теперь, этот тип?

— Вася? Он сегодня должен был приехать домой. Верно, уже дома. Но я не могу, не могу его видеть!

Она посмотрела на отца с тоской и отчаянием и снова заплакала.

— Н-да. Так вот что, ты посиди здесь у меня, а я поеду прямо к вам, на дачу, поймаю молодчика врасплох, и можешь быть спокойна! Нет, миленький мой, семейные устои — это вам не кафешантан!

Он сердито фыркнул и раздул ноздри.

— На семейных устоях зиждется государство. Ага! Подрывать основы! Нет, миленький мой, это мы еще посмотрим! До свиданья, ma chère. Не волнуйся. Я... я заступлюсь за свою дочь! Я!

Он чмокнул Зиночку в лоб и вышел, громко стуча каблуками.

Зиночка осталась одна в пустой квартире, пахнущей сигарой и нафталином.

Смеркалось. Мебель в светлых чехлах белелась, холодная и неуютная, завернутая папиросной бумагой люстра казалась скорченным телом повешенного.

Зиночка ходила по комнатам, а когда стало страшно от звука собственных шагов, забилась в уголок дивана и стала думать:

«Папочка ужасно рассердился! Он ведь вспыльчивый. А Вася такой нервный! Он совсем уничтожит Васю. Но если даже он и не станет кричать на Васю, то он его так доймет своими доводами... Господи! Что-то будет, что-то будет...»

Стало совсем страшно. Она открыла окно и оперлась на подоконник.

Внизу бегал трамвай и ползали лошади.

«Броситься вниз головой, и кончено».

Зиночка вся задрожала и поспешно захлопнула окошко.

В квартире стало еще темнее. Тело повешенного неясно белело в папиросной бумаге.

— А вдруг Вася повесится? Папочка его доймет, он и повесится!

Сердце заныло тоскливой тревогой.

— Чего я жду! Чего я жду! Сумасшедшая!

Схватила шляпу и, закалывая ее на ходу, выбежала на улицу.

Поспела как раз к поезду.

— Господи! Только бы он не умер! Только бы не умер! Папочка, не надо быть таким жестоким!

Бежала по тропинке к даче, и сердце так колотилось, что, казалось, оборвется сейчас какая-то жилка, — и все будет кончено.

Еще издали заметила, что в доме темно.

Тихонько отворила двери, вошла. Она уже ни на что не надеялась. Она знала, что найдет только его труп.

Но вот словно чей-то тихий говор. Потом странный хохот. Хохот? Неужели истерика?!

Она вся похолодела. Это не истерика. Это он сошел с ума.

Тихо подошла она и приложила ухо к притворенной двери кабинета.

Голос папочки:

— А как же ты с той, московской, устроился? Ты, mon cher, прямо о двух головах!

— Да просто натравил на нее Нинишку, ха-ха-ха! — бодро отвечает голос Васи. — Тоже забавная история...

— Подожди, mon cher, я тебе расскажу одно свое приключеньице. Было дело тоже летом, Катюшу свою отослал я с ребятами в деревню...

— Это он про маму! — вся замерла Зиночка. — Это он про маму!..

— Ну-с, понимаешь, mon cher, на холостом положении...

— Напомните мне потом, я вам расскажу, как в прошлом году в Павловске...

— Постой, не перебивай. Получаю я вдруг телеграмму...

— Ха-ха-ха! Опять у вас с телеграммой! Везет вам на телеграммы. Ха-ха-ха!

— Ха-ха-ха! — заливается и папочка. — Не всем же, mon cher, попадаться с письмами, нужно кому-нибудь и с телеграммами...

— Ах, по этому поводу я вам расскажу штучку. Когда я ездил в Варшаву...

— Это, так сказать, на Валаам?

— Ну, конечно.

— Ха-ха-ха!

Зиночка сидела за дверью на полу, выпучив глаза и широко раскрыв рот. От удивления лицо у нее стало даже немножко кривым.

В душе ее не было больше ни страха, ни боли. Ничего. Удивление съело и вытравило все.

— Папочка-то! А? — шептала она, разводя руками. — Папочка-то наш, — каково?!

Телеграммы

Второй звонок.

Томный молодой человек, в рыжем пальто, с розой в петличке, наклоняется из окна и жмет руку приятелю.

— Ах, еще просьба: я забыл послать Мане телеграмму. Телеграфируй ей от меня.

— Что же телеграфировать?

— Телеграфируй: «люблю, тоскую, твой». Адрес помнишь?

— Помню.

На площадку вагона впрыгивает барышня в синей вуали. Снизу офицер подает ей букет.

— А Коле не забыли телеграфировать?

— Успела, успела, — отвечает барышня. — Всего три слова: «люблю, тоскую, пишу».

Третий звонок.

Замахали руки, платки, шляпы.

— Пишите! Пишите! Кланяйся! Пиши!

— Где мое пальто? — надрывается чей-то голос.

— Телеграфируй!

— Носильщик! Носильщик!

Высокий, толстый господин звонко чмокнул провожавшую его жену, вскочил на ходу и, скосив глаза на соседку в синей вуали, ожесточенно замахал шляпой.

Две дамы у окна познакомились и угощают друг друга конфетами.

Их сблизило навеки то, что обе знали в молодости мадам Кузякину.

Теперь они обсуждали сложный семейный вопрос той дамы, которая постарше.

— И знаете, — рассказывала она, — это была такая нежность, такая преданность! Я тебе, говорит, буду писать еже... еже... не помню что. Но, во всяком случае, «еже» было сказано.

— Каково! Каково! — сочувствует дама помоложе.

— Ну-с, попрощались мы, разъехались. И можете себе представить, — ни одной строчки. Вот вам и «еже». Я с ума

схожу, телеграфирую каждый день: «Люблю, тоскую, пиши, отвечай». Ни слова.

Томный молодой человек в рыжем пальто томно смотрит на барышню в синей вуали и пишет телеграмму за телеграммой. Он, верно, очень деловой; у него даже бланки взяты с собой.

Барышня украдкой подсматривает, читает:

«Кострома Любиной Люблю тоскую пиши. Владимир»

«Москва Танчиной Люблю тоскую твой»

«Берлин Restante A. B. Jedu liubliou toskoujiou».

Барышня вздыхает, задумывается, вырывает два листка из записной книжки и царапает на них ломающимся карандашиком: «Люблю, тоскую, пиши, пишу, твоя».

Потом надписывает на каждом по различному адресу и просит кондуктора отправить депеши с первой же станции.

В Двинске выскакивает из вагона толстый господин, чмокнувший свою жену, бежит на телеграф и нервно пишет две телеграммы.

Одну в Женеву:

«Jedu lublu toskuju twoj».

Другую — в Петербург, госпоже Мурер:

«Люблю, тоскую продай лианозовские Мурер».

Ночью кондуктор передает барышне в синей вуали телеграмму, посланную на ее имя вслед поезду.

Барышня стоит на площадке, рядом с рыжим пальто. Пальто уже без розы. Роза у барышни за поясом.

— Опять от него! — говорит барышня, распечатывая телеграмму.

Оба читают:

«Люблю, тоскую, пиши. Николай».

В Вильне барышня выходит. Рыжее пальто прощается с ней томно, долго и многозначительно.

Толстый господин снова на телеграфе:

«Петербург. Госпоже Мурер. Забыл запереть письменный стол люблю, тоскую держи рыбинские Мурер».

Через два часа рыжее пальто отправляет телеграмму в Вильну:

«Встреча неизгладима люблю, тоскую ваш».

Усталая телеграфистка узловой станции терла одеколоном запавшие желтые виски и отстукивала на аппарате:

«Нижний люблю, тоскую, вышлю...»

«Москва люблю, тоскую... пиши скорее... Ляля...»

«Ростов-Дон... Володя, где ты?.. Люблю, тоскую...»

Она закрыла на минутку глаза, покачнулась, потерла виски и снова застучала аппаратом.

Голова кружилась. Чтобы не спутаться и не пропустить, она шептала:

— Люблю, тоскую. Нежно. Люблю, тоскую.

Привычная рука отстукивала машинально привычные слова. Глаза слипались.

«Люблю, тоскую, хочу видеть».

«Люблю, тоскую, транспорт гусей задержан...»

«Люблю, тоскую, рыба гниет...»

«Люблю, тоскую товарный № 17 сошел с рельсов... Люблю, тоскую машинист пьян...»

«Люблю, тоскую кондуктора Коркина уволить немедленно...»

Телефон

Люблю его, ненавижу, жить без него не могу, чтоб он лопнул!

Ни одно существо в мире не может так нетерзать человеческую душу, как он.

Начать с того, что каждый человек может говорить только своим голосом и только те неприятные вещи, которые ему свойственны.

«Он» может говорить всеми голосами мира и изводить вас неприятностями целой вселенной.

Не изменяя своего облика, он — все.

Он — дама, томящая вас двухчасовой ерундою; он — конторщик из «электрического освещения», требующий уплаты по счету; он — друг, который по необъяснимым причинам не может прийти к обеду; он — портниха, объявляющая, что платье не будет готово к сроку.

У него все голоса и все возможности причинить вам этими голосами всякую гадость.

Вот сейчас он висит на стене и так невинно смотрит на меня своими кнопками, точно я клевещу на него. Но меня не надуешь. Я знаю, на что он способен!

— Трррр!

Бегу, бегу! Хо! У меня есть чутье! Предчувствие меня еще никогда не обманывало. Сейчас мой милый, милый телефон скажет мне хорошо знакомым голосом одну очень неприятную новость. Хо! Я все знаю.

— Трррр...

— Слушаю! Слушаю!

— Будьте добры: десять фунтов вязиги к нашему счету...

— Чего?

— Вязиги, вязиги...

— Да вы не туда звоните.

Вешаю трубку.

— Трррр...

Ну, на этот раз уж я знаю!

— Я слушаю! Я слушаю!

— Будьте добры: десять фунтов визиги к нашему счету.

— Вы не туда! Дайте отбой.

Жду. Теперь должен позвать меня тот голос. Не стоит отходить от телефона. Он должен был говорить не позже двенадцати, и теперь ровно двенадцать.

— Трррр...

— Ура! Я слушаю!

— Милая! — зашепелявил телефон. — Как я рада, что застала вас. Что вы поделываете?

— Кто говорит?

— Анна Павловна. Неужели не узнали? Так соскучилась без вас. Что поделываете?

— Безумно занята! Работаю. Должна к часу сдать работу, а теперь уже двенадцать. Прямо в отчаянии.

— Так вы бы погуляли.

— Это, конечно, было бы дельно, но от этого работа не подвинется.

— Ах вы, бедняжка! Ну, работайте, работайте, а я вас развлеку. Вы знаете, Катя нашла себе дачу...

— Простите, Анна Павловна, но я ужасно занята.

— Ну, работайте, работайте, я ведь вам не мешаю. Дала задаток за эту дачу двести рублей, а теперь раздумала...

— Если позволите, я к вам позвоню через полчаса.

— Отлично. Целую вас, милочка.

— Дззынь!

«Дзззынь», — сказал «он», и сказал так мило, звонко и весело. Но все равно. Он мне несимпатичен.

— Тррр...

— Слушаю!

— Будьте добры: десять фунтов вязиги к нашему счету.

Я говорю несколько слов отчетливо и внятно, но повторять эти слова мне теперь не хочется.

Потом сажусь и думаю.

Теперь половина первого. К пяти часам вчерашнего дня я должна была закончить пьеску. Я дала слово, я должна. И вот...

Снять трубку? А то важное, что я должна и хочу услышать? Нет, не могу.

Велеть подходить прислуге? Но телефон около моего письменного стола, а прислуга далеко, и пока я ее вызвоню, телефон может замолчать, и, конечно, это случится именно с тем звонком, которого я жду.

— Тррр...

Не подойду.

— Ксюша! Ксюша! Скорей к телефону. Если Анна Ивановна, — дома нет. Если из театра, — дома нет. Если из журнала, — дома... Если из...

— Тррр...

— Кто говорит? А я не знаю, дома ли они.

Ксюша спрашивает меня глазами, дома ли я. Я спрашиваю ее глазами, кто говорит.

— Женский голос? — шепчу я.

— Не могу понять. Не то дамский, не то женский. Не разобрать.

— Как не то дамский, не то женский? Давайте трубку сюда.

— Дома? А? — пищит странный бабий голос.

— Дома! — недоумеваю я.

— Ага! — говорит баба. — А пьесочка готова?

— Господи! Кто же это говорит?

— Режиссер Раздольев. Я, извините, охрип. А вы ведь дали слово.

— Готова, готова. То есть через полчаса. Как же, вполне готова.

Я вешаю трубку и с тихой яростью ударяю кулаком по очереди кнопку А и кнопку Б.

— Трրр…

Я все-таки надеюсь…

— Будьте добры: десять фунтов визиги к нашему счету.

Как странно скрипнули мои зубы!

— Куда? — спросила я.

— Да Варашеевым же!

— Ладно. Пришлю.

Вешаю трубку. Показываю язык телефону.

— Что? Много взял? Болван эдиссоновский!

— Трրр…

— ?

— Ну, что, кончили работу? Не узнаете? Анна Павловна.

— А барыня ушедши, — пищу я неестественным голосом.

— И давно ушла?

— С утра ушла и спит.

Господи! Что я плету!

— Да это кто же говорит?

А действительно, кто же это может так глупо говорить?

Вот этого-то я как раз и не обдумала.

Как же я могу держать в горничных такую дуру! В самом деле, кто же я такая?

— Прачка!

— Прачка? Почему же вдруг прачка?

— А вот поди ж ты! И сама не знаю, почему я прачка!

— Странное дело. Барыня мне сказала, что писать будет, а вы говорите, что спит.

— Да вот поди ж ты — и спит, и пишет. Мое дело — сторона.

«Дзззынь!»

«Чмок», — поцеловала его прямо в номер.

— Трրр.

— Готова пьеска?

— Ну, еще бы! Через пять минут…

— Трրр…

— Будьте добры: отчего не прислали визигу?
— Трррр...
— Вернулась барыня?
— Трррр...
— Виноват, мое имя для вас — звук пустой. Только что, приехав из Архангельска, хотел упрекнуть вас за ваше поверхностное отношение к быту дантистов...
— Простите... очень занята.
— Виноват.
«Дзынь».
— Трррр...
— Это вы?
— Я! Я! Я! Наконец-то! Что?
Нет! Это проклятый телефон нарочно исказил голос!
— Ну, как вы поживаете?
— Да очень плохо... то есть великолепно... страшно тороплюсь...
— Куда?
— Спать.
— Спать? Пойдемте лучше кататься. Вам нужно проветриться.
— Не хочу я ветриться!
— Ну, приезжайте к нам обедать. У нас сегодня пирог с налимом.
— Да что я, голодная, что ли? Захочу — дома поем. Простите, меня зовут.
«Дззынь».
— Трррр...
— А пьесочка готова?
Я ничего не отвечаю. Я кладу трубку на кресло. Она долго шипит, хрипит и щелкает. Наконец смолкает.
Через десять минут она щелкает и хрипит снова. Может быть, на этот раз меня вызывает тот голос, которого я ждала?
Но все равно. Моя победа над телефоном дороже мне всякой другой радости.
— Эй, ты! Номер 182-63! Ты мне так же мало нужен, как те сто восемьдесят два и шестьдесят два подлеца, которые тебе предшествуют, и все неисчислимое множество, которое за тобой следует. Слышишь? Не хочу тебя!
А все-таки если теперь повесить трубку... может быть...

— Тррр...

— Будьте добры: десять фунтов вя...

Интересно знать, сколько они возьмут за склейку и починку? Или придется покупать новый аппарат?

Сладкая отрава

На масленой неделе пошли смотреть фокусника.

В маленьком балаганчике, обвешанном бурыми тряпками, веяло чудесами.

Тихо повизгивала скрипка, и постукивал бубен.

Пахло краской и паклей, а так как в балаганчике ни того, ни другого не было, то и это обонятельное явление можно было отнести к разряду чудесных.

Квочкин с женой уселись рядом. Петькин нос торчал между левым коленом отца и правым коленом матери и мерно сопел от напряженного внимания.

Да и было от чего напрягаться.

На сцене происходили вещи, способные поразить самое разнузданное воображение.

Ели стекло, глотали огонь со стеариновой свечки, жевали горящую паклю, вытаскивали друг у друга из носу серебряные рубли, а главный фокусник, покудахтав минуты полторы, снес яйцо из носового платка.

Квочкин, как лицо высшее, на обязанность которого судьба возложила опекать и просвещать две вверенные ему души — женину и Петькину, объяснял им конструкцию всех этих чудес ясно и толково, предостерегая от суеверных заблуждений.

— Смотри-ка, рупь с носу вытянул! — ахала душа жены. — И что же это такое! Сама видела, — нос у того мужчины порожний был. Из порожнего носа рупь выколупал! И это что же такое!

— Электричество! Очень просто — это он электричеством делает, — холодно и спокойно объяснял Квочкин.

— Господи, до чего себя довели! Смотри, смотри, пакля горит, а он ее гложет!

— Магнетизм. При помощи магнетизма. Очень просто. Обычное явление.

— Господи! А может, это он с голоду. С голоду и не то слопаешь.

— Магнетизм. Все это магнетизм чистейшей воды.

Фокусник, отодвинув своих помощников, зажег свечку и обратился к публике с речью на волшебном языке, отличавшемся от русского только тем, что все падежи в нем были неправильны.

— Прошу почтеннейшая публика быть внимательная и одолжить мне носовым платком.

Публика недоверчиво молчала.

— Очень прошу, — продолжал фокусник, — одному носовому платку, которому возвращу в целости.

И вдруг с Квочкиным случилось что-то странное: сердце у него быстро и тревожно застучало, в горле что-то дрогнуло, — он вытащил из кармана свой большой толстый платок с меткой Н. К. — Николай Квочкин, встал, поднялся на две ступеньки эстрады и подал платок фокуснику.

— Очень вами благодарю.

Квочкин вернулся на место. Фокусник и все, что делалось на эстраде, вдруг приобрело для него особый, острый интерес. Сердце продолжало биться, но уже не тревожно, а радостно; он чувствовал, что покраснел и ноздри у него раздуваются. Ему казалось, что все смотрят на него, и он не смел поднять глаз от смущения и удовольствия.

— Итак, вот этот платку, — говорил фокусник, — я теперь развертываю и показываю почтеннейший публиком. Теперь я складываю его вот так и подношу к свечке. Попрошу музыку играть.

Взвизгнула скрипка, испуганно торопясь, заскакал за ней бубен.

Квочкин смотрел на свой платок под аккомпанемент музыки и сладко волновался.

— Спалит он платок-то, — шептала жена. — Небось, никто своего платка не дал, а нашему ничего не жаль.

— Молчи! — цыкнул Квочкин и почувствовал, как вдруг жена стала ему чужой, далекой и ненужной, и сопящий Петька давил на ногу, как куль. Стоило их тоже с собой брать!

— Чиво я молчать буду, когда он мое добро жжет. Своим горбом наживали-то. Не бог весть сколько платков-то напасено. Ишь, жжет, — паленым пахнет.

— Теперь попрошу музыку замолчать! — крикнул фокусник.— Раз! Два! Три! И вот вам платок, цел и невредим, — обратился он к Квочкину. — Покорно вам мерси за содействие.

Квочкин взял свой платок, гордо окинул публику орлиным взглядом и медленно спустился с эстрады.

— Господи, — ахала жена, — платок-то ведь целехонек. Ни тебе дырки, ни тебе заплатки. А сама слышала: паленым пахло!

— Молчи, деревня, — зашипел Квочкин.

Он отодвинулся насколько мог дальше от опостылевшей семьи и весь ушел в искусство.

Когда фокусник вынул из шляпы живого кролика, он не ахал вместе с другими, а, слегка подбоченясь, окидывал публику торжествующим взглядом.

— Электричество — очень просто. Необразованность, конечно, не понимает свою серость.

Он уже принадлежал эстраде. Когда фокусник, жонглируя, нечаянно разбил яйцо, и публика захохотала, он расстроился и почувствовал неудачу острее и больнее самого исполнителя.

— Пошла домой, — сказал он жене после представления, — я к куму зайду.

Кум был, что называется, «не оправивши после вчерашнего». Сидел на кровати и смотрел на собственные ноги в серых валенках с таким тупым удивлением, будто видел их в первый раз в жизни.

— Не могу я так больше! — тоном трагического любовника сказал Квочкин. — Среда душит.

— А ты не пей, — прогнусавил кум.

— Да я не пью.

— Ну, так пей.

Помолчали.

Квочкин встал.

— Ну, прощай, брат. Думаю я об одной вещи. Я, брат, в актеры хочу. А?

Кум смотрел на валенки.

— Главное, что? Главное, ежели ты на сцене, это чтобы не волноваться. А я не волнуюсь. Ей-богу. Бог тебе ни капли. Публика прямо ахнула, а я хоть бы что. А?

Кум смотрел на валенки.

— Так вот, как ты мне посоветуешь? Идти? А?

Кум вдруг поднял голову посмотрел тускло, сплюнул:

— А по мне, хоть к черту.

Квочкин не обиделся. Он только вздохнул, повернулся и вышел.

— Необразован через свою серость. Нельзя с ним говорить.

Шел по улице и думал, и вспоминал, и даже слегка поправлял прошлое и делал его еще радостнее.

— Ваш платок...

— Вот-с. Извольте-с. Что ему сделается.

— Мерсите вам...

— И с нашей стороны тоже.

— Вот-с... в целости...

— Очень понимаем... электричество...

— Браво, браво, браво.

— Ваша фамилия-с?

— Их фамилия Квочкин!..

— Уррра!

Вдова

Марья Николаевна вдовствует уже второй год.

Это ее исключительное занятие. И все это знают.

— А как поживает наша очаровательная Марья Николаевна?

— Да ничего. Вдовствует.

Вы думаете, вдовствовать легко?

Вы вот, например, просто купите билет и пойдете в театр или отправитесь к Филиппову за свежими булками, а Марья Николаевна, проделывая то же самое, должна при этом еще и вдовствовать.

Как, собственно, это делается, — объяснить вам не могу, но факт остается фактом.

На тринадцатом месяце этого сложного занятия неожиданно узнала она, что вдовствует совсем глупо и непроизводительно, а именно — без всякой пенсии.

— Как же так? Ведь ваш муж служил, а вы вдруг остались без пенсии? Воля ваша, а это что-то странное.

— Как же быть? — взволновалась Марья Николаевна.

— Хлопочите, голубушка. Ведь вы же — вдова законного статского советника.

И вдовство Марьи Николаевны получило правильный уклон.

Она стала хлопотать.

Надевалось черное платье с длинными рукавами и кругло вырезанным воротом — стиль средневековых затворниц, — глаза опускались, губы подмазывались rouge èclatant, — «в нем есть что-то ало-скорбное». Ехала к генералу. Потом к другому генералу. Потом еще к кому-то вроде генерала. Потом еще к какому-то «ужасному» господину, который поцеловал ей руку в ладонь, а в бороде у него дрожал кусочек яичницы.

Наконец что-то помогло.

Может быть, ладонь.

Получила Марья Николаевна извещение, что к ней явится полицейский пристав для удостоверения, что она никакого имущества не имеет.

Марья Николаевна встретила пристава с печально-покорным лицом и вдовствовала, тихо склонив голову.

— Чудесная у вас квартира, — одобрил пристав, покручивая усы. — С ба-альшим вкусом обставлена. Дорого платите?

«Бурбон», — подумала Марья Николаевна и ответила, вздохнув:

— Две с половиной тысячи. Шесть комнат.

— Для такой, pardon, очаровательной дамы, конечно, и не может быть меньше.

«Пожалуй, что и не бурбон», — поколебалась Марья Николаевна.

— А здесь кабинетик? Разрешите взглянуть? Удивительно красиво! Это, наверное, ваш личный вкус? На всем заметен отпечаток, как говорится, руки красивой женщины. Ар-ромат!

«Положительно, не бурбон», — окончательно установила Марья Николаевна и порозовела.

— Это настоящие гравюры?

— Настоящие, настоящие. А это все — копенгагенский фарфор, — кротко отвечала вдова. — Нет, эта группа тигров стоит четыреста рублей.

— Очаровательно! Извините, сударыня, что я в служебном наряде... Я не предвидел, что буду иметь удовольствие... Неужели четыреста? Ну, прямо как живые: минута, — и растерзают. Я вас не задерживаю?

— Ах, нет, пожалуйста. Я рада отдохнуть дома, а то все хлопочу, вдовствую, перебиваюсь. Столько возни с этой пенсией. Всего-то рублей шестьдесят... Но когда у человека ничего нет, то и шестьдесят рублей — большие деньги.

— Здесь, кажется, столовая? Вы разрешите?

— Пожалуйста. Не хотите ли попробовать этот виноград? Это из моего крымского имения. Там у меня клочок земли...

— Премного обязан... Какая чудная ваза!

— Да, это целый прибор, — вздохнула вдова. — Серебро, дивная работа.

— А это хрусталь?

— Хрусталь. Посмотрите, какой тонкий. Его страшно в руки взять. Хрупкий. А если разобьется? У меня нет даже пенсии, чтобы купить новый.

— Действительно, это ужасно! — вздохнул и пристав. — А это ковры?

— Гобелены. Настоящие. Только две штуки. У меня ведь ничего нет! Вы видите сами.

— Действительно, сударыня, тяжелая картина. Это рояль?

— Это «Миньон». Кажется, около трех тысяч. Я люблю музыку. Вы знаете, когда человек бедствует, музыка — лучшее утешение. А ведь у меня ничего нет. Вы видите сами!

— Действительно, сударыня, у вас ничего нет. Я, с вашего разрешения, так и напишу, что имущества у вас никакого не оказалось.

— Да, да... напишите, — грустно улыбнулась вдова. — Мне так тяжело говорить об этом, но что же делать!

— Что же делать, сударыня, раз у вас действительно ничего нет.

— Теперь у меня вся надежда на эту пенсию, на эту лепту вдовицы.

— Честь имею...

— Благодарю вас.

Марья Николаевна томно улыбнулась, пожала руку приставу и пошла в свой розовый кабинетик тихо повдовствовать до обеда. Потому что к обеду будет много народу, и нужно хорошенько отдохнуть.

О дневниках

Мужчина ведет дневник всегда для потомства.

«Вот, — думает, — после смерти найдут в бумагах и оценят».

В дневнике мужчина ни о каких фактах внешней жизни не говорит. Он только излагает свои глубокие философские взгляды на тот или иной вопрос мировой важности.

«5-го января. Чем, в сущности, человек отличается от животного? Разве только тем, что вынужден ходить на службу, где ему приходится выносить столько неприятностей...»

«10-го февраля. ...А наши взгляды на женщину! Мы ищем в ней забавы и развлечения и, найдя, уходим от нее. Не так ли смотрит на женщину и бегемот?»

«12-го марта. Что такое красота? Никто еще до сих пор не задавался этим вопросом. А по-моему, красота есть не что иное, как известное сочетание известных линий и известных красок.

А уродство есть не что иное, как известное нарушение известных линий и известных красок.

Но почему же ради известного сочетания мы готовы на всякие безумства, а ради нарушения палец о палец не ударим? Почему сочетание важнее нарушения?

Об этом следует долго и основательно подумать».

«5-го апреля. Что такое чувство долга? И это ли чувство овладевает человеком, когда он платит по векселю, или какое-либо другое?

Может быть, через много тысяч лет, когда эти строки попадутся на глаза какому-нибудь мыслителю, он прочтет их и задумается, как я, — его далекий предок».

«6-го апреля. Люди придумали аэропланы! К чему? Разве это может остановить хотя бы на одну сотую секунды вращение Земли вокруг Солнца?!!»

Мужчина любит изредка почитать кому-нибудь свой дневник. Только, конечно, не жене, — жена все равно ничего не поймет. Он читает свой дневник клубному приятелю, господину, с которым познакомился вчера на бегах, судебному приставу, пришедшему с просьбой указать, «какие вещи принадлежат лично вам в этом доме».

Но пишется дневник все-таки не для этих ценителей глубин человеческого духа, а для потомства и славы.

Женщина пишет дневник всегда для Владимира Петровича или Сергея Николаича. Поэтому каждая непременно пишет о своей наружности.

«5-го декабря. Сегодня я была особенно интересна. Даже на улице все вздрагивали и оборачивались на меня».

«5-го января. Почему они все сходят с ума из-за меня? Хотя я действительно очень красива. В особенности — глаза. Они, по определению Евгения, голубые, как небо».

«5-го февраля. Сегодня вечером я раздевалась перед зеркалом. Мое золотистое тело было так прекрасно, что я не выдержала и, приблизившись к зеркалу, благоговейно поцеловала свое отражение прямо в затылок, где так шаловливо вьются пушистые локоны».

«5-го марта. Я сама знаю, что я загадочная. Но что же мне делать, раз я такая».

«5-го апреля. Александр Андреевич сказал, что я похожа на римскую гетеру и что я с наслаждением посылала бы на гильотину древних христиан и смотрела бы, как их там терзают тигры.

Неужели я действительно такая?»

«5-го мая. Я бы хотела умереть совсем-совсем молоденькой, не старше сорока пяти лет.

Пусть скажут на моей могиле: “Она недолго жила! Недольше соловьиной песни!”»

«5-го июня. Снова приезжал В. Он безумствует, а я холодна, как мрамор».

«6-го июня. В. безумствует. Он удивительно красиво говорит. Он говорит: “Ваши глаза глубоки, как море”».

Но даже красота этих слов не волнует меня. Нравится, но не волнует».

«6-го июля. Я оттолкнула его. Но я страдаю. Я стала бледна, как мрамор, и широко раскрытые глаза мои тихо шепчут: “За что! За что!” Сергей Николаевич говорит, что глаза — это зеркало души. Он очень умен, и я боюсь его».

«6-го августа. Все находят, что я стала еще красивее. Господи! Чем это кончится!»

Женщина никогда никому своего дневника не показывает. Она его прячет в шкаф, предварительно завернув в старый капот. Но намекает об его существовании кому нужно. Потом даже покажет его, только, конечно, издали, кому нужно. Потом даст на минутку подержать, а потом уж, конечно, не отбирать же его силой.

И кто нужно прочтет и узнает, как она была хороша 5-го апреля и что говорили об ее красоте Сергей Николаевич и безумный В.

И если «кто нужно» сам не замечал до сих пор всего, что нужно, то, прочтя дневник, уж наверное обратит внимание на что нужно.

Женские дневники никогда не переходят к потомству. Женщина сжигает их, как только они сослужили свою службу.

Черный ирис

— Да что вы, барынька! Да и вовсе погода не так уж плоха. Конечно, немножко... этого... дует, ну, а все-таки покататься не вредно. Это вы, барынька, просто в дурном настроении.

Доктор Катышев урезонивал Векину, а Векина слушала и думала про свои печальные дела.

Дела ее, действительно, были плохи.

Третьего дня муж Векиной уехал на пять дней в Казань хоронить тетку, и на этих пяти днях Векина основывала все ближайшие радости своей жизни. Она думала, что будет каждое утро кататься с художником Шатовым, каждый день завтракать с художником Шатовым, каждый вечер обедать с художником Шатовым и каждую ночь, по крайней мере, ужинать с художником Шатовым.

И вот, однако, идет уже третий день из пяти блаженных, а они ни разу даже не виделись. То он телефонировал, что заканчивает картину к выставке, то прислал письмо, что должен явиться к высокопоставленному лицу, с которого будет писать портрет, то прислал цветы без всякого письма и сам не пришел.

— Какой дурак! — терзается Векина.

— Ведь должен же он понять, что такое счастье, может быть, никогда и не повторится, потому что каждая тетка умирает один раз в жизни! Или это только тактика, чтобы подразнить. Вот нашел тоже время!

— И чего вы, барынька, хандрите? Ну, чего вам не хватает? — усердствовал доктор Катышев.

— Вот пристал! — думает Векина. — Начать разве с ним кокетничать назло Шатову.

— Барынька, милая! Ну, чего вы, право. Какие у вас ножки хорошенькие! Ну, можно ли с такими ножками хандрить. Да будь у меня такие ножки, да я бы не знаю что...

Векина представила себе толстого, лысого Катышева в серебряных туфельках и чулках телесного цвета, и ее немножко затошнило.

— А что, небось, нравятся ножки? — пересилила она себя. — Поцеловать хочется?

«Это все из-за тебя, все из-за тебя, — мысленно говорила она художнику. — Вот на, получай, вот тебе!»

— Ну, поцелуйте же, доктор!

Доктор осклабился, закряхтел, встал на колени и, взяв ногу Векиной между двумя ладонями, звонко поцеловал над бантиком туфли.

— Прямо не ножка, а бланманже!

«Какая гадость! Точно операцию делает! — вся съежилась Векина. — Вот до чего ты довел меня! Ты! Ты! Ты! Ага! Не нравится? Так получай же еще!»

Она вдруг лукаво улыбнулась и откинула рукав платья:

— Посмотрите, какая у меня на локте ямочка.

Доктор вытянул губы трубой и нагнулся, но Векина отдернула руку:

— Вы себе слишком много позволяете.

Доктор выпучил глаза и так и остался с вытянутыми губами.

Через полчаса после его ухода пришел художник Шатов.

— Пожалуйста, не оправдывайтесь, — холодно остановила его Векина. — Мне все равно. Тем более что я сама должна кое в чем признаться вам.

— ?

— Я увлеклась другим.

— ?

— Вы бы убедились сами, если бы пришли на час раньше. В сущности, я рада, что все между нами кончилось к обоюдному удовольствию.

Шатов немножко опешил, и губы у него слегка задрожали, впрочем, ровно настолько, насколько это полагается опешившему человеку.

— Так вы находите, что... к обоюдному?

Векина засмеялась самым ироническим смехом, какой только могла придумать, и молча вышла из комнаты.

Она слышала, как Шатов надевал в передней калоши, как, надев их, он еще подождал чего-то в передней, и когда дверь захлопнулась, она неожиданно укусила себя за руку и заплакала.

Вечером в постели стала сочинять письмо.

Сначала так:

«Милостивый государь! Мне бы хотелось получить обратно мой портрет...»

Потом так:

«Ведь мы расстались друзьями, не правда ли? Пусть мой портрет послужит залогом наших простых дружеских отношений...»

И, наконец, так:

«Евгений! Я люблю тебя! Пришли мне твой портрет...»

Потом заснула.

Утром посыльный принес букет черных ирисов.

— Письма нет?

— Нет!

Она целовала каждый венчик холодных черных цветов и улыбалась дрожащими губами:

— Так не уходят! Нет! Это не прощальные цветы. Они черные оттого, что он тоскует, а тоскует оттого, что любит! Осталось еще два дня свободы, — нельзя терять ни минуты.

— Евгений! — говорила она в телефон. — Евгений! Прости меня! Это неправда, я не люблю другого. Я наклеветала на себя, чтобы отомстить тебе. Отчего я одумалась? От черных цветов. Черный ирис сказал мне, что ты тоскуешь и любишь. Я люблю черный ирис! Понимаешь? Черный ирис! Только черный ирис! Нет, нет, я не сумасшедшая, я только счастливая.

Он обещал прийти, и она целый час металась между двумя зеркалами в гостиной и в спальне. Завязала ирисы яркой желтой лентой.

— Смейтесь, ирисы!

В три часа позвонили, и в ожидании она закрыла глаза, но когда открыла их — увидела свежевыбритую физиономию доктора Катышева.

— Ну, как сегодня, милая барынька? Беспокоился о здоровье, зашел проведать.

— Ничего... сегодня хорошо. Только я очень занята... — лепетала Векина.

Катышев окинул взглядом комнату.

— Как вы красиво завязали ленту на цветы. Бездна вкуса!

— Только не трогайте! — встрепенулась Векина. — До этих цветов нельзя дотрагиваться, — они священны. Они мне дали столько счастья, что... словом, не ваше дело.

Катышев вдруг умилился.

— Родная моя! — засюсюкал он. — Детонька моя! Да неужели же так угодил!

Векина вся похолодела.

— Что?.. Что вы говорите?

— Неужели угодил цветами? А я еще не хотел брать, что черные, да приказчик уломал. Самые, говорит, модные в сезон. Ну, модные так модные, давай. Да вы что?

Векина стояла вся бледная и задыхалась.

— Да как вы смели! Подлый вы человек! Нахал бесчестный! Как вы смели послать цветы без письма, без карточки!

— И чего вы, барынька, ей-богу! — испугался Катышев. — Я же думал, что вы и сами догадаетесь, от кого, после вчерашнего, гм...

— Уходите вон! Как вы смеете так оскорблять женщину? Я пожалуюсь мужу, он расправится с вами. Уходите вон, негодяй!

Испуганный Катышев спускался с лестницы на цыпочках, — он не смел шагать целой ногой, — когда встретил подымающегося художника Шатова.

Художник весело посвистывал и нес большой букет черного ириса.

— Голубчик! — схватил его за руку Катышев. — Вы к ней? И с цветами? Бросьте, как другу говорю, — бросьте. Это такая женщина! Это — святая женщина... Это — сама добродетель... Это — зверь. И, по-моему, у нее даже тут неладно.

И он постучал по лбу пальцем.

— Вы находите? — насторожился художник.

Подумал немножко и стал спускаться вместе с доктором.

Чужая беда

Вере Томилиной

За завтраком у Милиных толковали о скандале с доктором Гузиком. Оказалось, что он не только не платил долгов, но и выкинул совсем уж безобразную штуку: взял у какой-то дамы, кажется, у Заневич, «на фасон» портсигар ее мужа, да так и не вернул. Не то заложил, не то просто продал.

Бедная Заневич. Ужасное положение. Хотя, конечно, сама виновата. Как можно позволять себе увлекаться подобным типом!

После завтрака Вера Милина пошла к Гариным. У Гариных был журфикс. На столе стояло печенье и варенье, а вокруг стола оживленно гудели человек десять гостей.

На диване, где мирно скрипели старыми корсетами две толстые старухи, сидела мадам Заневич и, томно щурясь, смотрела в лорнет на собственную ногу.

Вера Милина сделала оживленное лицо и стала прислушиваться к общему разговору.

Говорили о каком-то интенданте, который после смерти оказался честнейшим человеком и всю жизнь не только не крал, но даже все время прикладывал свои деньги, как вдруг кругло-красный полковник хлопнул себя по колену и закричал:

— А слышали, господа, новость? Ведь наш доктор Гузик под суд угодил!

Вера Милина замерла от ужаса: полковник, верно, не знает, что Заневич замешана в эту историю! Господи, до чего неловко! Господи, как ей сейчас должно быть стыдно!

Вера Милина сидела не шевелясь, боясь поднять глаза на Заневич, и чувствовала, как все ее лицо заливается пурпуровым румянцем.

— Да, да! — радостно подхватил сидевший рядом инженер. — Какие он тут дела обделывал. Говорят, не побрезговал даже каким-то портсигаром...

Вновь прибывший гость прервал разговор.

Вера Милина робко, исподлобья повела глазами на Заневич.

Та сидела как ни в чем не бывало и с аппетитом ела земляничный торт.

Новый гость завел новый разговор.

Потом поднялись уходить скрипевшие корсетами старухи, ушел полковник, ушла Заневич, пришли две новые дамы, и вдруг разговор снова повернул на доктора Гузика.

— Да, да, — говорил кто-то. — Он, говорят, стащил у какой-то дамы портсигар ее мужа...

Вера Милина вспомнила о только что пережитом смущении, о стыде за несчастную Заневич и почувствовала, как при этом воспоминании румянец снова заливает ее щеки.

«Господи, как ей, должно быть, было неловко!»

— Вы слышали эту историю, Вера Николаевна? — обратились к ней.

— Я? Я? Нет, нет, я ничего не знаю... Я все слышала... — залепетала Милина.

Все как-то растерянно переглянулись.

«Господи, как все это глупо, — мучилась Милина. — Ну, чего я, право? И какое мне до нее дело?»

На другой день были именины самого Милина. Собрались гости и, конечно, заговорили о докторе Гузике.

«Неужели я опять покраснею?» — испугалась Вера Милина и тут же с ужасом почувствовала, как горячая волна крови ударила ей в лицо; даже в ушах зазвенело.

— Ф-фу!

За обедом зашел разговор о медицине.

«Господи, пронеси беду мимо! — испугалась Милина. — Сейчас они заговорят о докторах и свернут на своего Гузика, и я пропала!»

На Гузика на этот раз они, однако, не свернули и только молча удивлялись, чего хозяйка, красная и растерянная, так неискусно старается переменить разговор, предлагая «скушать еще кусочек селедки», когда все уже принялись за мороженое.

Два дня Вера Милина просидела дома, чтобы дать время всем поуспокоиться, наговориться всласть о Гузике и забыть о нем.

Но и дома было нелегко.

Если случайно завернувший гость почтительно осведомлялся о здоровье, она думала:

«Начнет со здоровья, дойдет до докторов и брякнет о Гузике».

И, зардевшись, опускала глаза.

«Нет, я совсем идиотка, — возмущалась она. — Нужно взять себя в руки. Ну, какое мне до них дело. Я-то за что мучаюсь?!»

На третий день пошла на крестины и влезла прямо в Гузика.

— Да, да, — кричала какая-то красная рожа. — Это факт! Выпросил у дамы своего сердца портсигар и преспокойно его продал.

Вера Милина встала, хотела уйти, снова села, хотела что-то сказать.

Прямо против нее, на диване, беспечно играя лорнетом, кокетничала с поручиком Заневич и вдруг навела лорнет на Милину и с удивлением уставилась.

Да и было отчего.

Такого несчастного, красного, растерянного лица с умоляющими, полными слез глазами нельзя было не отметить удивленным вниманием.

Все остановились вдруг, нелепо, с разбега, как останавливается понесшая лошадь, напоровшаяся на забор оглоблей.

Хозяйка вскочила.

— Здесь ужасно душно, — сказала она, взяв Милину под руку. — Пройдем ко мне в будуар.

Молчание и потупленные глаза проводили их до дверей, и Милина не шла, а плелась за хозяйкой, как напроказившая собачонка, натыкаясь на все стулья и на все ноги, красная, несчастная, опозоренная.

— Выпейте воды, дружок. Хотите валерьянки? Да не волнуйтесь вы так, — право, никто ничего не заметил!..

Вера Милина улыбнулась неловкой, кривой улыбкой.

— Да ведь это не я... не про меня... не я... — залепетала она так жалко и так неубедительно, что сама себе не поверила.

Она безнадежно махнула рукой и, отвернувшись, тихо заплакала.

Раскаявшаяся судьба

После генеральной репетиции подошла ко мне одна из актрис, молоденькая, взволнованная.

— Простите, пожалуйста... ведь вы автор этой пьески?

— Я.

— Пожалуйста, не подумайте, что я вообще...

— Нет, нет, я не подумаю, что вы вообще, — поспешила я ее успокоить.

— У меня к вам маленькая просьба. Очень, очень большая просьба. Впрочем, если нельзя, то уж ничего не поделаешь.

Она не то засмеялась, не то всхлипнула, а я вздохнула, потому что угадывала, в чем дело: наверное, попросит прибавить ей несколько слов к роли. Это — вечная история. Всем им так хочется побольше поговорить!

Актриса покусала кончик носового платка и, опустив глаза, спросила с тихим упреком:

— За что вы его так обидели? Неужели вам ничуть-ничуть не жаль его?

— Кого? — удивилась я.

— Да вот этого рыжего молодого человека в вашей пьесе. Ведь, он же, в сущности, симпатичный. Конечно, он не умен и не талантлив. Но, ведь, он же не виноват, он не злой, он даже очень милый, а вы позволили этому противному картежнику обобрать его до нитки. За что же?

Я смутилась.

— Послушайте... я не совсем понимаю. Ведь это же такая пьеса. Ведь если бы этого не было, так и пьесы бы не было. Понимаете? Это ведь и есть сюжет пьесы.

Но она снова покусала платочек и снова спросила с упреком:

— Пусть так, пусть вы правы. Но неужели же вам самой не жаль этого бедного доверчивого человека? Только скажите, — неужели вам не больно, когда у вас на глазах обижают беззащитного.

— Больно! — вздохнула я.

— Так зачем же вы это позволяете? Значит, вам не жаль.

— Послушайте! — твердо сказала я. — Ведь, это же я все сама выдумала. Понимаете? Этого ничего нет и не было. Чего же вы волнуетесь?

— Я знаю, что вы сами выдумали. Оттого-то я и обращаюсь со своей просьбой прямо к вам. Раз вы выдумали, так вы сможете и поправить. Знаете что: дайте ему наследство. Совершенно неожиданно.

Я молчала.

— Ну, хоть небольшое, рублей двести, чтоб он мог продолжать честную жизнь, начал какое-нибудь дело. Я ведь не прошу много, — только двести рублей на первое время, — потом он встанет на ноги, и тогда за него уж не страшно.

Я молчала.

— Неужели не можете? Ну, полтораста рублей.

Я молчала.

— Сто. Сто рублей. Меньше трудно — ведь вы его привезли из Бердянска. Дорога стоит дорого даже в третьем классе. Не можете?

— Не могу.

— Господи, как же мне быть! Поймите, если бы я могла, я бы ему из своих денег дала, но ведь я же не могу! Я бы никогда не стала унижаться и просить у вас, но ведь только вы одна можете помочь ему! А вы не хотите. Подумайте, как это ужасно. Знаете, говоря откровенно, я никогда не думала, что вы такая жестокая. Положим, я несколько раз ловила вас на некрасивых поступках: то вы мальчишку из меблированных комнат выгнали и перед всем театром показали, какой он идиот. То расстроили семейное счастье из-за брошки, которую горничная потеряла. Но я всегда утешала себя мыслью, что просто нет около вас доброго человека, который указал бы вам на вашу жестокость. Но чем же объяснить, что вы и теперь не хотите поправить причиненное вами зло?

— Да я ничего... Я не прочь, только мы так всю пьесу испортим. Подумайте сами: вдруг ни с того ни с сего — пожалуйте наследство.

— Ну, тогда пусть окажется, что он еще раньше отложил сто рублей про черный день.

— Нельзя! Характер у него не такой.

— Ну, и пусть будет не такой, лишь бы ему легче жилось. Господи! Ведь все же от вас зависит.

Я задумалась.

Действительно, свинство с моей стороны губить человека. Ведь я, в сущности, — его судьба, я вызываю его из небытия и мучаю. Если бы у меня была душа благородная, я вызывала бы людей только для того, чтобы дать им радости и счастье. А я публично высмеиваю, шельмую, обираю при помощи разных темных личностей. Некрасиво. Противно. Пора одуматься.

— Как быть, дружок? — сказала я актрисе. — Я сама рада помочь ему, да теперь уж поздно. Генеральная репетиция прошла, — вечером спектакль. Теперь уж ничего не поделаешь.

— Ужас! Ужас! Погибнет человек.

— Пропадет ни за грош, — уныло согласилась я. — В чужом городе, один...

— И как вы раньше не подумали?

— Сама не понимаю. Озверела как-то.

Мы обе замолчали. Сидели, опустив головы, подавленные.

— Знаете что! — вдруг решила я. — Мы этого так не оставим. Мы все-таки дадим ему тысяч десять. Только не сегодня,

а потом, когда пьеса будет напечатана в сборнике. Прямо сделаю звездочку и выноску: такой-то, мол, неожиданно получил от тетки (видите, как ловко!), от тетки десять тысяч, начал на них дело и быстро пошел в гору! Ладно?

— Дорогая моя! Можно вас поцеловать!?

— Ну, конечно, можно! Давайте целоваться, — нам легче станет. Знаете, — я даже двадцать тысяч дам ему. Бог с ним, — пусть устроится без хлопот.

— Милая! Милая! Какая вы чудная! А... не сердитесь только... тому мальчишке, что вы в прошлом году обиде..., т.е. которого выгнали, тоже можно что-нибудь дать?

— Ну, конечно. Этот рыжий может встретить мальчишку и дать ему из двадцати тысяч — ну, хоть тысячи две.

— Да, да, это даже хорошо. Пусть приучается делать добрые дела. Какая вы чудная!.. Ну... а... с другими как?

— Погодите, дайте только время! Всех пристроим.

— Дорогая! А помните, у вас в рассказе старая дева в Троицын день ждала жениха? Как же мы с ней-то будем?

— Ах, пустяки! И вовсе она не так уж стара, — тридцати пяти не было. Она получит массу денег, отдохнет и посвежеет. А там, смотришь, и замуж выскочит.

— Милая! Милая! Давайте целоваться! Знаете, у вас даже лицо совсем другое стало. Честное слово! Вот посмотрите в зеркало.

Я посмотрела.

Действительно, совсем другое.

А какое, — не скажу.

Самодав

(Рассказ)

1

— Э-эх!

— Ты чего?

— Дела не веселят. В январе должен Шниферу четыреста рублей отдавать.

— А он что же, — торопит?

— Нет, он ни слова не говорит, — такой деликатный. Он ни за что не напомнит.

— А, может быть, и забыл?

— Гм... вряд ли.

— Ну, еще успеешь. Теперь ведь еще только ноябрь.

— Все равно, и в январе взять будет негде.

Шпалин посмотрел на своего приятеля с состраданием и прищелкнул языком.

Шпалин и Нехелев были очень дружны и даже жили на одной квартире.

Шпалин, как уже показывает сама его фамилия, был инженер, Нехелев, как тоже показывает его фамилия, не имел в обществе ровно никакого значения, служил в министерстве, был честен и робок.

— Прямо, не знаю, как быть. Сегодня ночью вспомнил, и заснуть не мог.

Шпалин задумался, постукал себя пальцем по переносице и операция эта быстро помогла.

— Есть одно средство, — сказал Шпалин. — Позвоню-ка я к Тебреву. Он мне с прошлой осени должен шестьсот. Пора, наконец, и честь знать.

2

Просьба Шпалина очень расстроила Тебрева. Тебрев был в проигрыше, сидел без денег. Положим, время терпит, так как Шпалин требует вернуть долг в конце декабря. Но лучше, конечно, озаботиться заблаговременно.

Пораскинул умом и подошел к телефону.

— Полковник Мякин? Простите, что я вам напоминаю, но на меня так наседают, что прямо дышать не дают... Ну, хоть часть... рублей пятьсот, с остальными постараюсь устроиться. А? В декабре? Пожалуйста!

3

Полковник Мякин двадцать пять минут чесал в голове карандашом. Наконец, начесал настолько, что голова стала думать и надумала требовать долг с адвоката Шнифера.

Звонил, молил и грозил.

Шнифер обещал достать четыреста к середине декабря и позвонил к Нехелеву.

4

Бледный Нехелев, растерянно разводя руками, стоял перед Шпалиным.

— Понимаешь, он теперь требует, чтоб я отдал к пятнадцатому декабря! Там на него какая-то темная личность наседает. Ну, как тут быть? Говорит, что до января ждать не может!

Шпалин пощелкал языком.

— Придется надавить на Тебрева. Пусть поторопится.

Подошел к телефону.

5

Тебрев весь вечер звонил к полковнику Мякину. Дозвонился и излился. Мякин вздыхал в трубку, молил об отсрочке и, обещав ускорить дело, позвонил к Шниферу.

— На меня наседает одна темная личность... Положение безвыходное... Опись имущества... Служебная карьера... Как хотите, а к первому декабря мне нужно.

Шнифер дал отбой и попросили, чтобы его соединили с Нехелевым.

6

— На него опять давит эта темная личность! — стонал Нехелев. — Он ждать не может. Ему деньги нужны тридцатого ноября! Ну, что я теперь заведу! Ради Бога, если можешь, надави на твоего Тебрева. Сам видишь, положение безвыходное.

И Шпалин давил на Тебрева.

7

Тебрев потребовал у полковника Мякина во что бы то ни стало добыть денег к двадцать третьему ноября.

8

Мякин молил Шнифера достать к двадцатому.

9

Шнифер заклинал Нехелева заплатить к восемнадцатому.

10

Нехелев рыдал без слез перед Шпалиным и Шпалин давил на Тебрева.

11

....

12

— Ты знаешь, какой ужас — сказал через два дня осунувшийся и почерневший Нехелев. — Этот Шнифер совсем помешался. Он говорит, что если я через три дня не верну ему денег, ему останется только пустить себе пулю в лоб.

Шпалин молча подошел к телефону и надавил.

13

....

14

Нехелев лежал в постели и пил чай с ромом. Его лихорадило.

Шпалин сидел, опустив усы, и беззвучно насвистывал.

— Прямо какой-то рок! — говорил Нехелев. — Пока я не вспоминал, и он мне не напоминал. А чуть я вспомнил, он и насел. Через два часа уже позвонил ко мне, а там и пошел трезвонить.

— Молчи, — советовал Шпалин. — Старайся не думать.

— И главное — мне самому его жалко. Такой милый человек. Он говорит, что никогда не позволил бы себе напомнить об этом несчастном долге, если бы не ужасное, безвыходное положение, в котором он очутился.

— И так меня мучает, что я его подвел. Хотел бы я знать имя того подлеца, который на него давит. Ведь есть же такие подлецы на свете.

— А ты плюнь. И главное — не волнуйся. Теперь уж больше часу прошло, — все равно в полчаса этих денег не достанешь, если бы я даже и надавил на Тебрева.

— Нет, где уж там. Я и сам понимаю, что теперь все кончено. Я знаю, что ничего не могу сделать, и это успокаивает меня.

— Спи.

— Сплю.

15

Он спал.

16

Уснул и Шпалин.

17

Бледный уснул под своим телефоном Тебрев.

18

Густо храпел полковник Мякин.

19

Безмятежно улыбаясь, дремал удивленный Шнифер, удивленный, что телефон так долго не звонит и Мякин так долго на него не давит.

20

Спят все.

21

На том все и кончилось.
Навсегда.

Жизнь и творчество

Душно.

Со двора несет кошками и жареным луком.

Журналист Сатурнов, сидя у окна, путешествует по Волге.

Редакция дала журналисту Сатурнову полтораста рублей аванса. На них он купил себе кожаный чемодан, непромокаемое пальто, заплатил двухмесячный долг квартирной хозяйке, на оставшиеся шесть с полтиной купил папирос, бумаги и перьев и сел к окну путешествовать.

Пальто пахло резиновой калошей, чемодан – извозчичьей лошадью, и запахи эти приятно волновали плывшего по Волге Сатурнова.

«Хороша Волга весною! – писал он. – И нет подобной ей реки на свете.

Берега тонут в вишневых садах, мы плывем между этими садами, и порою, когда пароход игриво и властно задевает трубой за их цветущие ветви, мы тонем в волнах аромата, осыпанные белыми лепестками».

– Нехорошо, что все у меня тонет – и берега, и мы, – решил он, перечитав. – Но поправлять жалко, потому что красиво. Дьявольски красиво. Ну-с, заверну теперь к Самаре.

– Огурчики зеленые! – доносится снизу со двора.

«Мы заворачиваем к Самаре. Теперь вид уже другой. Теперь уже огурцы».

– Огурчики зе-ле-ные!

«Всё огурцы, огурцы – целые поля огурцов. Мы тонем в огурцах, и души наши наполняются их свежим весельем. Огурец! Как много в этом слове для сердца русского человека! Может быть, больше, чем для испанца в “дыне”!».

— А пошел ты к черту со своими огурцами! — заорал внизу дворник. — Сказано, не велено вас пускать!

«Где-то тоскливо прочирикала иволга свою предрассветную весеннюю песнь любви и страдания. И вот огурцов уже нет. Уже уплыли, утонули их зеленые поля, и мы прощаемся с ними и ждем, какие новые радости даст нам красота».

— Петр Николаевич! Не хотите ли чайку? — кричит за дверью хозяйка.

— Спасибо! С удовольствием.

«Зычный гудок встречного парохода прерывает на минуту наши грезы и возвращает к действительности».

— Обождите минуточку, Петр Николаевич. Сейчас Глашка вам сахару подаст.

«Мы ждем на пристани, пока грузят сахар».

Глашка, коренастая девка с косичкой на широкой спине, подает сахарницу.

«Наблюдаем за рабочими-грузчиками. Нас поражают их широкие спины, словно предназначенные самой природой для ношения тяжестей. У многих из них отпущены длинные волосы, которые они заплетают наподобие косы, — мода, перенятая от китайцев, работавших когда-то в большом количестве на всем волжском побережье».

— Прасковья! — кричит хозяйка. — Не забудь селедку намочить. И луку к ней не забудь.

«Мы двигаемся дальше, и вот новая радость — целые стада селедок! Они плывут такой густой массой, что пароход невольно замедляет обороты колеса, затертый этими животными, словно полярными льдами. Зеленые берега, покрытые зарослями молодого лука, гарнируют эту величественную картину. Но вот уплыли и селедке, утонули в страну воспоминаний, и мы долго провожаем их затуманенным взором».

— А, пожалуй, нехорошо, что у меня селедки утонули? Все-таки — рыба, как же ей тонуть? Зато красиво. Не протокол ведь пишу, а художественную прозу.

«Начинает накрапывать дождь. Я набрасываю на себя непромокаемое пальто и, затянув потуже ремни чемодана, выбегаю на палубу».

— Зачем же это я ремни-то затянул? Шут меня знает! Ну, просто, затянул — и затянул. Уж не смей и ремня затянуть.

«Дождь на Волге! Дивная картина. Представьте себе дождь, который капает сверху миллионами брызг, они падают прямо в родную стихию, которая с тихим материнским бульканьем принимает их на свое лоно. Но вот дождь уже кончился»...

В подвале у сапожника заиграли на гармошке «матчиш»...

«Нас овеяли ласковые сумерки, и воздух задрожал от могучей соловьиной песни. Песнь лилась, звуки росли, ширились, душа наполнялась восторгом, и из благодарных глаз тихо лились слезы. А соловьи все пели и пели. Толпы волжских девушек спускались по крутым берегам в веселых хороводах».

— И что у тебя, носа нет, что ли? — кричит хозяйка. — Я из комнат слышу, что гарью пахнет. Опять молоко ушло!

«Ночью мы были встревожены криками. Жуткий запах гари зловеще полз по каютам, наполняя души смятением и ужасом. Быстро надев спасательный пояс, я выбежал на палубу.

— Где горит? — спрашивали мы друг друга.

— В машинном отделении.

— Спускайте шлюпки! — крикнул кто-то. — Женщины и дети вперед!

Но тревога быстро была успокоена. Пожар прекратили в самом начале, и все, смеясь, разошлись по своим каютам. Я остался на палубе. Дивная ночь пахла свежескошенным сеном. Вдали аукались рыбаки, подманивая уснувшую рыбу. Тишина! Тишина, которую не могут нарушить ни гудки пароходов, ни звонкие соловьиные песни, ни даже стук моего упоенного красотою сердца».

Сатурнов вытер лоб и, отдуваясь, посмотрел во двор.

Как раз напротив него сидела у своего окна красно-бурая кухарка в пестром платке и пила чай.

«Я медленно пошел вдоль палубы. В окне одной из кают белеет что-то. Это — женское лицо. Нужное женское лицо, с мечтательными глазами. Кто ты, неведомая? О чем меч-

таешь, как я, притихшая в тихую ночь? Кто ты? Красавица широких волжских степей? Но нет. Я вижу на плечах твоих экзотически-пестрый платок.

Ты — цветок чужой, иноземной культуры. Но и ты в эту волжскую ночь дышишь нашей русской волжской грезой. Прощай, малютка! Я молча кланяюсь тебе и молча прохожу мимо. Долог мой путь, и я не смею прервать его. Спи спокойно!».

Журналист Сатурнов остановился, перечитал написанное, подсчитал строчки.

— Маловато. Придется завтра на Каму завернуть. Или описать в реальных тонах, как по нашей нерадивости гибнет молодая икра?

Перечитал еще раз. Залюбовался.

— «Песнь лилась, звуки росли, ширились, душа наполнялась восторгом...» Какого им еще рожна нужно? Кто им другой за полтораста рублей всю Волгу с притоками перечувствует? Еще такого дурака поискать надо! Одно плохо: столько времени путешествую и ни разу в буфет не заглянул. Выходит будто как-то подо-зри-тель-но!

Американский рассказ

Из всех родов современной литературы, безусловно, наиболее полезный — это американский рассказ, помещаемый вместо фельетона в американских газетах.

В подобном рассказе читатель всегда найдет все необходимые сведения, как для себя, так и для своей семьи.

Лиц, никогда не просматривавших американские газеты, считаю приятным долгом ознакомить хотя бы вкратце с таким рассказом.

Знаю, что это выйдет скверно «сыгранный Фрейшиц перстами робких учениц».

Но что же делать!

Итак:

«ПОКУПАЙТЕ ТОЛЬКО ЛОСОСИНУ БЭКА».

(Рассказ Джона Смита, желающего жениться на вдове средних лет, со средствами).

Дочь миллиардера Кенни встала очень рано.

Сделала она это по совету известного врача Смоля, живущего на 16 авеню, в доме № 3, принимающего ежедневно, от 2-х до 6-ти вечера, по одному доллару за совет.

Мисс Кенни нажала кнопку электрического звонка, купленного на 8 авеню, №16, дешево, вне конкуренции и сказала прибежавшей на ее зов горничной, нанятой в «бюро честных служанок», где можно всегда достать хорошую прислугу, с рекомендациями и залогом:

— Я хочу лососины. Принесите мне лососины фабрики консервов Уайта.

Честная служанка, с рекомендацией и залогом, в ужасе всплеснула руками:

— О, что вы говорите! Я читала уже несколько предостережений относительно фабрики Уайта. Она недобросовестна, лососина ее недоброкачественна и приготовлена небрежно.

— Мне надоели консервы Бэка, которые я ем постоянно.

И дочь миллиардера беспечно махнула рукой, а горничная с рекомендациями, из «бюро честных служанок», почтительно поклонившись, пошла выполнять приказание своей госпожи. Мисс Кенни стала одеваться.

Надев чулки без шва, с двойным следом, купленные чрезвычайно дешево у «Мери Хау с сыновьями», она вымылась мылом «Белая утка», приобретенным за четыре пенса кусок в магазине Джека Смита (отца автора этого рассказа), вне конкуренции.

Мыло это мгновенно придало недосягаемую белизну коже молодой миллиардерши.

Расчесав волосы неломающимся гребнем Петерса, она съела несколько бисквитов Беккера, которые великолепно восстановили ее силы. Бисквиты эти, приготовленные по специальному рецепту, составляющему секрет фирмы, кроме насыщения питающегося ими субъекта, обладают еще необычайным свойством никогда не портиться и быть очень приятными на вкус. Все это ставит их в положение вне конкуренции.

Надев платье от «Мери Блек», — очень дешево, допускается рассрочка, — молодая красавица покончила с туалетом и стала ждать заказанную лососину.

Думая о лососине, она, тем не менее, не забывала и о молодом Давиде Дей, который ей безумно нравился. Она с радостью вышла бы замуж за Дея, но ее отец никогда не разрешит ей этого брака с простым миллионером. Для дочери миллиардера это было бы позором и мезальянсом.

Наконец, пришла честная горничная и принесла коробку консервов Уайта.

На вид коробка была очень красива, но все мы знаем, что наружность бывает обманчива.

Едва юная миллиардерша съела первый кусок лососины, как вдруг почувствовала тошноту. Ясное дело — рыба была недоброкачественна.

— Скорей, скорей патентованные пилюли Грина! Скорей, иначе будет поздно!

Честная горничная дрожащими руками подала своей госпоже пилюли Грина.

Страдания молодой американки несколько утихли, когда раздался телефонный звонок.

— Алло! — сказала мисс Кенни тихим голосом, измученным несвежей лососиной. — Кто у телефона?

— Это я, дорогая Мод! Я, неизменно любящий тебя Давид Дей. Пожелай мне счастья!

— В чем дело? — встревожилась Мод.

— Дело в том, что я сегодня держал пари на один миллиард с твоим отцом. Если я выиграю, я буду миллиардером и могу жениться на тебе, если проиграю, — должен отказаться от тебя навсегда и выплатить в течение двадцати лет проигранную сумму.

— А какое пари? — спросила Мод голосом, дрогнувшим уже не от лососины.

— Мы держали пари о том, какие консервы лучше. Я говорил, что консервы Бэка, а он утверждает, что Уайта.

Мисс Кенни дико вскрикнула от радости.

— Беги ко мне, Давид! Я твоя на всю жизнь, и ничто не разлучит нас, потому что меня тошнит от лососины Уайта!

Ровно через год улыбающаяся Мод Дей поднесла к своему мужу розового, голубоглазого Дэви, который протянул к отцу свои пухлые ручонки и сказал первую выученную им фразу:

— Покупайте только лососину Бэка.

И родители переглянулись со слезами радости на глазах».

Рыбья сказка

Высоко наверху что-то булькнуло и, темня, опустилось на дно.

Старый карп вздрогнул, ближе прижался к мягкому берегу дна и сунул нос в бархатистую тину.

Он был осторожен, — может быть, оттого и прожил так долго: много сотен лет. Чешуя на спине поднялась у него, как щетина, вся поросшая зеленой плесенью. Глаза смотрели не с тем глупым удивлением, как у других рыб, а остро и подозрительно, как смотрит каждый старик на свете, будь то ворон, собака, слон или человек.

На дне мутной заводи было илисто, спокойно и мглисто.

Старый карп тихо шевелит плавниками, а может, вода их шевелила, — он и сам не знал, — и тихо думал.

Помнил он себя еще молодым, маленьким карпенком.

Помнил, как выплыл он с веселыми своими братьями помелькать серебряной чешуйкой на розовых водах заката.

Плыли по тихой, бесструйной глади голубые лодки, раздув пурпурные паруса. На них рокотали увитые цветами арфы, и пели увитые цветами люди. И длинные гирлянды душистых роз плыли за лодкой, розовые в розовых волнах заката.

Рыбы ныряли и плескались вокруг лодки, а сверху смотрели на них люди и протягивали к ним руки.

И вот протянулась рука, розовая от алого солнца, зазвенела золотыми запястьями и бросила в воду тонкую сетку, и

вновь подняла ее. На дне сетки, между плотными петлями, сверкали чешуйкой и бились серебристые рыбки.

В этот день в первый раз отнял человек у маленького карпа его братьев.

Много тысяч раз зеленела вода от высокого солнца и чернела от солнца заходящего, и вот снова увидел карп небывалую картину.

Опять был вечер, и волны были алые. Но теперь не рокотали арфы, и не пели увенчанные цветами люди. Вода была чиста и спокойна.

На берегу полукругом сидела толпа. Грубое платье, босые, устало сложенные ноги, и пыльные пряди развеянных волос указывали на то, что люди пришли издалека и не для веселья.

Посредине, лицом к толпе, стоял старец. Обожженное зноем лицо его казалось черным в серебряной седине волос, а поднятые к небу глаза напоминали жемчужины глубоких морей.

Он говорил.

Карп подплыл так близко, что слышал каждое слово. И каждое слово понял, потому что слова старца были те самые, которые понимали и птицы небесные, и звери лесные, и которым камни пустыни отвечали «аминь».

Карп слушал и понял, отчего погибли его маленькие, веселые братья, родившиеся в языческие времена.

Подплывали к карпу и другие мудрые рыбы и слушали, и понимали, и застыли от восторга и трепета.

А когда кончил старец говорить и, воздев руки, благословил небо и землю, вышли из толпы два отрока и, войдя в воду, погрузили в нее длинную веревочную сеть. И когда вынули ее снова бились в петлях ее, сверкая чешуей, серебряные рыбки.

А старец снова воздел руки, благословил улов и велел разделить всем поровну.

Много тысяч раз зеленела вода от высокого солнца и чернела от солнца заходящего, и вот снова выплыл старый карп на поверхность воды.

Выплыл он потому, что в один из вечеров не зачернила вода, а засветилась новым, белым светом, ярче лунного и белее солнечного.

Выплыл и удивился.

Целый ряд ярких белых солнц украшал берега. И, радуясь их радостному блеску, суетились веселые люди.

А у самой воды стоял высокий бритый господин, держал в каждой руке по проволоке и говорил жадно внимавшей толпе о великом счастье, открытом для всего мира. О том, что соединением этих двух проволок можно согреть, насытить, вылечить и передвинуть с одного места на другое каждого, кто этого пожелает, и можно дать ему и свет, и музыку, и зрелища, — и все только одним соединением этих двух проволок.

— Теперь они перестанут есть нас, — подумал карп и, с облегчением раздув жабры, подплыл ближе.

Вдохновенный господин заговорил что-то о спорте. Потом он взглянул на воду и сказал:

— Смотрите, сколько у нас сейчас будет рыбы!

Он быстро нагнулся и, опустив проволоку в воду, соединил ее концы.

Старого карпа далеко откинуло силой удара. Когда он пришел в себя, было снова тихо, и тихо плавали, перевернувшись на спину, мертвые рыбы.

Что-то булькнуло высоко наверху и, темнея, опустилось на дно. Старый карп вздрогнул и глубже зарылся в бархатистую тину.

Он стал совсем стар и нелюбопытен.

Он знал одно: что бы там, наверху, ни придумали, все равно его съедят.

О солнце и затмении

«Представители администрации в предупреждение паники будут «заблаговременно успокаивать темный народ».

И вот сегодня, в восемь часов утра, пришел к нам в кухню старший дворник и сказал:

— Ну, слыхали чать? Нонеча капут. Светопреставление будет.

— Это с чего же? — удивились кухонные бабы.

— Эх, вы, дуры! Газет не читаете! Затмение солнца будет. На луну, стало быть, напрет, и — капут. Все вдребезги. Ждите последнего часу!

Говорил он вяло, без огня и убеждения, как человек, исполняющий возложенную на него скучную обязанность.

— Да врешь ты! — сомневались бабы.

— Уж, коли говорю, стало — так! Наше дело сторона, зашел только упредить, чтобы, значит, не беспокоились.

Вздохнул и ушел.

Действительно, долг культуртрегера штука тяжелая.

Что бы ни писали астрономы, а главный пункт наблюдения солнечного затмения оказался на Невском проспекте.

Смотрели на солнце два школьника и три дворника. Остальные смотрели на них и друг на друга и говорят, что впечатление получили потрясающее.

— Вы представить себе не можете! — рассказывал потом один очевидец. — Был такой момент, когда все рожи почему-то стали желтыми! Это... это не забываемо!

— Были на затмении? — спрашивает знакомая дама. — Я была. Прямо неслыханное зрелище! Вообразите, эта дура Абрамсон напялила на себя розовую шляпу с лиловым пером. А? Каково? С ее-то рожей! Нос торчит, перо висит. Я говорю Лизочке: «Посмотри на дуру, нос висит перо торчит!» Удивительное явление природы, un spectacle de la nature! Но лиловое перо, это, как хотите... Воображаю, что делалось в Пулковской обсерватории!

— Видели затмение? — спрашивает другая. — Это нечто возмутительное! Галкина с Белкиным на моторе ездила, а муж, дурак, смотрит и не видит. Она ему пенсне закоптила, чтоб ему удобнее было на солнце смотреть. Наверное, и коптила-то вместе с Белкиным. Возмутительно!

Мне с астрономическими явлениями вообще не везет.

В этом году я не захотела испортить небесного праздника и просидела дома с опущенными шторами, спиной к окну.

И, увидя мое смирение, солнце затмилось по всем правилам.

Бог с ним!

Раз только хотела я снять с себя астрозаклятье и поехала к Байдарским воротам встречать восход солнца.

Погода была ясная, — почему бы мне и не увидать зари?

Народу понаехало много. Большинство отправилось через лес на гору, откуда вид был еще красивее. Часть осталась внизу.

Сначала осталась внизу и я, но потом подумала:

— Глупо! Раз-то в жизни приехала сюда посмотреть восход солнца, — и вдруг ленюсь на горку подняться. Нужно пойти.

Пошла. Шла, шла, подъем крутой, темно, жутко. Остановилась и подумала:

— Ну, чего я дуру валяю? Отлично можно было внизу все видеть. Устану без толку, и все удовольствие пропадет. Лучше вернусь.

Стала спускаться. Почти дошла, как вдруг стыдно стало:

— Ведь пошли же люди, — значит, действительно есть смысл подняться. Даром кому охота лезть? Нужно взять себя в руки.

Пошла опять назад. Поднялась до прежнего места. Присела отдохнуть и подумала:

— От добра не ищи добра. Пойду вниз и увижу все, что нужно.

Охота тоже лезть, язык высунув, когда тут, наверное, то же самое.

Пошла опять вниз, не дошла, одумалась, стала подниматься, упала духом, спустилась, взяла себя в руки, полезла, махнула на все рукой, стала спускаться, собрала последние силы духа и тела, полезла наверх и вдруг остановилась: толпа туристов бойко и весело сбегала вниз.

— Феерично! Феерично! — пищали женские голоса.

— Волшебно! Волшебно! — гудели мужские.

— Ага! — злорадно встретила я их. — Теперь сами вниз бежите? Небось, там ничего и не видно. Ха-ха!

Они даже приостановились:

— А что же нам там смотреть? Ведь солнце уж давно взошло!

— Да?.. Взошло? — растерялась я. — Впрочем... конечно... Я только хотела сказать, что внизу было гораздо лучше видно... О! Гораздо лучше!

А когда они ушли, я села на камень и немножко поплакала.

Я так устала!

На чужбине

Тоска по родине

Мы сидели на каменной скамеечке у обрыва Фьеволе и смотрели на панораму вечерней Флоренции.

Медленно таяло розовое солнце, медленно спускались голубые тени на фиолетовые холмы, с недвижными на них, как семисвечники алтарей, тонкими, прямыми кипарисами.

Это те самые холмы, которые полюбил Леонардо в окне Джоконды.

И так же, засыпая, улыбалась Флоренция, как тогда ему.

Мы только что сделали большую прогулку, осмотрели раскопанный недавно античный театр, посетили францисканский монастырь, где юный красавец-монах, опоясанный веревкой, играл на органе Вагнера. Его зовут очень сладко, этого монаха, – фра Карамелло. Он очень талантлив.

Наши русские снобы бегают смотреть и слушать Карамелло, причем для приличия приходится делать пожертвования на монастырь.

— Он ходит, как Дункан, и играет, как святая Цецилия! — говорят про Карамелло.

Теперь мы сидим на каменной скамейке, прозванной «англичанкин диван». Скамейку соорудила на собственные средства влюбившаяся в пейзаж англичанка — отсюда и название.

Отдыхаем. Купили у грязной девчонки, с всклокоченными, как шерсть бурой козы, волосами, персиков, несколько веток винограда. Виноград тяжелый, пряный, будто медом намазанный. Персики такие розовые, пушистые,

что перед тем, как откусишь, сначала невольно погладишь их твердые щечки.

Группа итальянских бездельников серьезно и внимательно смотрит на нас.

Точно дело делают.

Иной устанет глазеть, — пойдет отдохнет немножко, и снова смотрит.

Пришел толстый старик с гитарой, прислонился к каменной ограде, закинул голову и запел на два голоса по очереди. Получалось впечатление, будто поют двое: один куплет — страстный мужской голос, другой — сладкий, женский.

Наш спутник, молодой итальянец с томными глазами, оживился:

— Это наша новая канцонетта, получившая приз в этом году. У нас каждый год устраиваются конкурсы. Послушайте, как красиво!

Старик пел хорошо. Даже не понимая слов, можно было их чувствовать, — так красиво умолял мужской голос, и так сладко мучился женский.

— Он поет об ее золотых волосах, — переводил наш итальянец. — «Твои золотые волосы, как золотые перья на крыльях ангелов»...

Мы наслаждались, любовались, итальянец переводил отрывки нужной песни и, полузакрыв томные глаза, смотрел на розово-голубой, вечерний город.

— Firenze! Mia Firenze!

Как он любил свой город-цветок.

Тут же, на Фьезоле, сидел с нами и Васюка Пономарев.

Васюка был наш новгородский, купеческий сын, знали мы его почти с детства, когда он был толстощеким гимназистом, съевшим потихоньку — история трагическая — целый именинный пирог, который его мать испекла на двадцать поздравителей.

Помним его и семнадцатилетним парнем, когда его отец выпорол через посредство трех городовых.

Порка эта была вызвана крайней необходимостью и принесла плоды блестящие.

Дело в том, что кроме Васюки было у его родителей трое старших сыновей, и каждый из них, как наступал ему семнадцатый год, начинал сбиваться с толку: переставал учиться, начинал безобразить и, в конце концов, спивался. И только с Васюкой старый Пономарев вовремя догадался. Выпоротый Васюка снова принялся за ученье и кончил университет.

Теперь старики отправили «сваво болвана потешествовать».

Мы встретились с Васюкой во Флоренции. Он вздыхал на палаццо и музеи, поднимая средневековую пыль, и всюду тащился за нами, тупо-равнодушный, точно нанятый.

И здесь, на Фьезоле, Васюка вздыхал и, повернувшись спиной ко всем флорентийским красотам, колупал стену ногтем.

В его толстой, понурой фигуре, беспомощно и неловко вывернутых ногах было столько тихой, застенчивой тоски, что мне стало жаль его.

— Василий Иваныч! Вы чего загрустили?

Он помолчал минутку, потом приподнял голову и посмотрел на меня грустно, точно с упреком.

— Суббота сегодня. Суббота.

— Да, кажется, суббота. А что?

— Суббота сегодня. У нас в городе теперь к всенощной звонят... Головиха Мавра Федотовна через мост идет в монастырь... Холодно, небось, сиверко. Небось, ватную кофту надела, в калошах, все как следует.

Он тянул слова медленно, с болью, с упреком.

— Деревья-то, небось, голые. Так, разве где внизу листок болтается, ослизлый, морщенный. А наверху, небось, голые палки торчат... Монахи через лужу доску перебросили, — пройдешь и ног не замочишь. Благодать!..

Он еще хотел что-то сказать, вздохнул, захлебнулся и смолк. Такой был жалкий, растерянный, как толстый обиженный ребенок, что и утешить его захотелось, как ребенка.

— Ну, что вы, Василий Иваныч! Посмотрите-ка лучше, какой чудный виноград, — желтый, медвяный.

Он машинально отщипнул ягодку, пожевал тупо, по-коровьи.

— А у нас-то теперь в городе клюква поспела! Бабы клюкву в кошелях по городу разносят. За шесть гривен можно целый кошель купить. Исправничиха с корицей варит. С корицей и с лимоном.

Он даже оживился слегка тем грустным оживлением, с каким родители говорят о талантах умершего ребенка.

— Да, с корицей и с лимоном. А брусника-то уж давно поспела, про бруснику-то у нас уж и думать забыли.

Он гордо откинул голову, точно здесь, на Фьеволе, только и думают, что о бруснике.

— У нас теперь хорошо!

И он снова поник и погас.

«Дурень ты несчастный, — думала я, — ну, как мне тебя утешить?»

А старый итальянец все пел, сладко, переливчато, а молодой переводил.

— Теперь он об ее глазах: «Я не видел звезд, я видел только их»...

— Скажите, Василий Иваныч, вы, кажется, не любите Флоренции?

Он как-то по-бабьи улыбнулся и сказал:

— Э, что там! Флоренцию просто любить.

Мне вспомнилась новгородская баба-погорелка, приплевшаяся просить с двумя ребятами, из которых старшая, поразительно красивая, здоровая девочка, весело прыгала, а вторая, чахлая, вся в коросте, еле поднимала слипшиеся больные веки.

— Небось, любишь девчонку-то? — спросили бабу про красавицу.

— Это-то? Эту просто любить, — презрительно усмехнулась баба, точь-в-точь, как теперь Васюка... — Я больше эту жалею.

Она прижала к себе чахлую, коростивую и вся задрожала и как-то по-звериному тихо зарычала: «у-ы-ы!».

— Слушайте, Василий Иваныч, — неожиданно для самой себя сказала я. — Мне кажется, что на болотах березки еще зеленые. Он на болотах как-то дольше держатся.

Я вспомнила осеннее болотце, унылое, с проступившей водой, с желто-ржавой зеленью. И на нем, на мокрой кочке — березку-недородыш, маленькую, тонкую, бледную, как

выдержанная без света и пищи святая мученица старинной иконы. Стоит — дрожит, тянется к солнцу чуть живая, а будет жить. Будет жить.

— Как глупо думать об этом! — вдруг спохватилась я. Почему-то — мое, а это — не мое, — этот вечер, эта гора, эта песня. Весь мир — мой в равной степени. Вся земля моя, и где я, там мое.

И вдруг почудился мне простой скрипучий голос, каким говорят у нас в России захудалые извозчики да корявые мужичонки.

— Ан вот и вре-ешь! — сказал голос. — Ан вот и не твое. И не родное. И город не твой, и вечер не твой, и на виноград этот смотришь ты с таким чувством, будто он по-русски не понимает. Вот комар тебя давеча укусил. Дома закричала бы на него непосредственно «ах, проклятый!», а здесь, небось, не закричала так, потому что вся душа твоя чувствует, что здесь этот самый комар — не комар, а «занзара», и кричать на него надо не непосредственно, а подумавши. «Mamma mia maladetta» или что-то в этом роде. Вот с края у стены пальма растет, — ствол сочный, упитанный, верхушка расфрантилась, распушилась, раскрахмалилась. Чужая, противная, несерьезная. Старик поет жирным фальцетом:

«Я не знаю, взошло ли солнце, потому что вижу только тебя!»

Противно.

— Ага, противно! — опять заскрипел голос. — А, небось, не было противно, когда патлатый ямщик гнусавил без складу, без ладу:

Жил мальчик на воле,
На воле мальчик на своей.
И кажну мелку пташку
На лету мальчик стрелял,
И кажну красную девицу
Навстречу мальчик целовал.
Вольно, мальчик, на воле,
На воле, мальчик, на своей! — Ч-у!

Пропел и у-ухнул так, что все три клячи только хвостами дернули. Тогда, небось, улыбалась, и ветерок обвевал рассветный, ласковый, незабываемый, свой, свой...

— O mia Firenze, o citta del canto! — томно стонал молодой итальянец.

— Василий Иваныч! Не пойти ли нам домой? Мне что-то так скучно!.. так скучно!

В Аббации

I

Дождь

Погода портится. Солнце заволоклось тучами. Недолетающие до нас ветер гонит море к нашему берегу, и вода в залив серая, злая, кипит белой пеной.

Дождик загоняет всех в кафе.

Сидим, смотрим с крытой террасы на немногих отважных купальщиков, решающихся влезть в эту неспокойную воду, которая хлещет им в лицо солеными брызгами, отрывает их руки от каната и, подхватив, выбрасывает на берег.

Сидим, пьем кофе, смотрим и сплетничаем.

— Взгляните, — говорит кто-то по-польски. — Это, кажется, пани Покульска идет купаться.

— О, Боже! Да у нее брови отмокнут!

— У нее дома запасные.

— Идет, а муж над ней зонтик несет. Библейская картина! Дочь фараона идет купаться!

— Будет в воде искать себе Моисея.

— Уже нашла. Вон там, в синем трико с кривыми ногами. Это же Моисей Берман из Черновиц.

Дочь фараона скрывается с поля зрения. Польская речь смолкает. Раздается немецкая:

— Что в такую погоду делать? В такую погоду нужно ехать в Фиуме.

— Большое, подумаешь, удовольствие ехать в Фиуме! Пароход по прямой линии идет от Аббации тридцать пять минут, а мой племянник берегом прошел пешком в двадцать.

— Отчего же не заявить капитану, чтобы шел скорее?

— Заявляли, а он отвечает, что дамы беспокоятся, если пароход идет скоро. Они думают, что, если пароход идет скоро, так он подымает волны, а когда на море волны, то делается качка. А качка вызывает морскую болезнь. Вот, — говорит капитан, — поэтому я и иду тридцать пять минут до Фиуме. На угле мне экономия, и к тому же слыву любезным кавалером.

— Ловкий малый!

Немецкая речь смолкает.

Раздается гулкая раскатистая венгерская, прерываемая французскими восклицаниями.

Гудит мужской голос, прерывает женский.

Наконец, мужской голос переходит тоже на французский язык.

— Неужели вы меня не понимаете? — удивляется он. — Венгерский язык такой легкий и совершенно простой, как латинский. Выговаривается совершенно просто. Каждое слово, как пишется, так и выговаривается. Пишется, например, «м-а-г-и-а-р», выговаривается: «маджар». Пишется: «е-г-и-е», выговаривается: «едье». Как по-латыни, — просто. Как выговаривается, так и пишется.

Его прерывает тихое французское восклицание, и он смолкает.

На смену звенят два женских голоса. Оба звенят по-немецки:

— Непременно поезжайте! Быть в Истрии и не видеть Адельсбергского грота — все равно, что быть в Риме и не видеть папы.

— Да, вы расскажите, что там интересного.

— Этого рассказать невозможно. Совершенно невозможно.

— Ну, что же — красиво?

— Этого передать невозможно.

— Так живописно?

— Этого выразить невозможно.

— Но все-таки скажите, очень интересно?

— Я же вам говорю, что объяснить невозможно.

— Так чего же вы требуете, чтоб я туда ехала, когда потом никому ничего рассказать нельзя? Это, по-моему, даром выброшенные деньги. Лучше я буду дома сидеть или поеду

в такое место, где не чересчур хорошо, — по крайней мере, рассказать можно будет, где была.

Небо чуть-чуть светлеет. На улицу выскакивает кельнер, машет салфеткой, точно подманивает солнце, потом подставляет лицо вверх и, повернув его к террасе, блаженно ухмыляется: дождь перестал.

II

Рулетка

Вечером идем в казино играть в рулетку.

Официально рулетки в Аббации не существует, гак как в Австрии азарт преследуется законом. Но выплачиваемые ежегодно сто двадцать пять тысяч крон городскому муниципалитету так ослепляют сей последний, что он ничего не видит и ничего не понимает.

И дирекция казино мало помалу оперяется и окрыляется. Она уже основала новый прочный фундамент, выстроив за два миллиона крон каменный, мол, на самом красивом месте берега, где к будущему году выстроится огромное казино с рулеткой.

Австрийская пресса молчит и не видит ничего, — как уверяют злые языки, на том же принципе, что и городской муниципалитет Аббации.

Пока в старом казино играют только в двух залах. Игра маленькая: ставка от одной кроны до двадцати.

— Это так только, одна забава, — говорят знатоки рулеточного искусства. — Карикатура на Монте-Карло. Положим, здешние крупье стараются, чтобы от них пахло чесноком, как от заправских монакских, но игра здесь ненастоящая.

Игра действительно ненастоящая, потому что выходит как-то так, что в выигрыше всегда казино. Говорят, что оно заслужило улыбку счастья потому, что вместо одного zero на тридцать шесть номеров, как в Монако, придумало поставить только девять номеров, при чем когда выходит пятерка, забирает все в свою пользу.

Ходит, положим, легенда о каком-то счастливом кроате, который выиграл шестьдесят крон и поехал на родину жениться.

Местные курортные купальщики втайне гордятся, что и они вкусили от греха рулетки.

Вялый толстый немец стоит, опершись о береговой гранит, и говорит, стараясь ущемить выпуклый монокль между рыжей бровью и дряблой щекой:

— Вчера изрядно продулся в рулетку. Конечно, стреляться не стану, но встряска нервам ужасная. Говорят, что в Монте-Карло сильно проигравшимся гостям дают деньги на выезд.

Не бойтесь за него. Он проиграл не больше четырех крон, из которых две пошли на плату за вход.

Но ему так приятно помучиться настоящей мукой настоящего игрока, продувшегося, как настоящий идиот в настоящем Монако.

Выслушайте его с состраданием, посмотрите на него со страхом, скажите ему, что он кончит жизнь под забором, — что вам стоит, раз ближнему нашему это даст столько радости!

Море и солнце

Полдень.

Яркое солнце.

Теплое, соленое, как вчерашний подогретый бульон, море.

Мы лежим на горячих камнях и медленно поджариваемся.

Нас много. Несколько сотен человек со всех концов земного шара; приехали мы специально, чтобы подсолиться в море и поджариться на солнце.

От воды и солнца, а боле всего оттого, что все мы полуголые, мы очень ласковы друг к другу.

Если кому-нибудь трудно вылезть из воды на камень, соседи любезно помогают, уступают место, советуют, как лучше лечь. Мы добрые и все равны. Наши деньги и наше общественное положение остались там, на берегу, в номерованной кабинке, под ключом и охраной мудрой «бадемейстерин», а здесь, в море, мы все равны: и пастор из

Дрездена, и кокотка из Вены, и профессора философии из Кенигсберга, и содержательница паровой прачечной из Самары, — все одинаково вскрикивают «уф!», бросаясь в воду, и «гоп!», влезая на камень.

Солнце припекает, поджаривает, прижигает, дезинфицирует, радиоактивирует тело.

Лежишь с полузакрытыми глазами, смотришь, как мелко дрожит и прыгает морская солнечная рябь. Ничего не думаешь, ничего не вспоминаешь. Только бы никто не помешал, не заставил бы пошевелиться.

Приятно мне или неприятно, — не знаю. Может быть, даже неприятно, потому что соленая вода раздает тело, а солнце жжет так больно. Чувство, испытываемое мною, есть самая чистая лень, какая только водится на свете. Лень золотистая, солнечная, лень, которая закроет человеку глаза, разбросает ему, как бессильному, как мертвому, руки и ноги, погасит мысль и наведет на лицо бессознательно-блаженную улыбку.

Лежишь, смотришь полузакрытыми глазами, думаешь:

«Господи! Неужели это моя нога такая длинная, такая черная? Как быть, как жить с такой ногой? И с чего она такая стала?»

Но шевельнуться нельзя. И вдруг нога сама медленно вытягивается, к ней примыкает другая такая же, и обе медленно скользят в воду. Слава Богу, это не мои ноги! Он прикреплены к длинному черному итальянцу в полосатой фуфайке. Как все, однако, хорошо выяснилось!

Когда солнце слишком нажжет, приходится спуститься в воду, и лень, улыбнувшись, уходит.

В воде оживленно.

Вот, уцепившись за канат, крякает, как старая утка, толстая немка с целым выводком веснущатых дочек в клеенчатых чепчиках. Дочки держатся за канат широкими красными лапами и робко болтают ногами.

За поперечный канат, где поглубже, ухватились четыре славянина — серб, кроат, поляк и русский — и занимаются сравнительной филологией.

Русского понимают все, только просят говорить помедленнее.

— Помалу! Помалу! — кричат кроат и поляк.

— Не брзи, — просит серб.

Но русский разборзился, и унять его трудно. Он декламирует «Письмо Татьяны» и требует, чтобы все восторгались простотой языка.

Молодая чешка тут же на канате воспитывает при помощи шлепков своего семилетнего первенца. Первенец — натура, плохо поддающаяся культуре, — ревет благим матом и, дрыгая ногами, брызгает на клетчатый бант, украшающий шляпу старой англичанки.

Англичанка сердито крутит большими глазами на темно-коричневом лице.

В тесной кучке кувыркающихся и ныряющих молодых людей больше всех и громче всех веселится белозубый негр. Он выгорел, отбелился на солнце и в смуглой, загорелой компании венгерцев чувствует себя совсем блондином.

— Оэ! Оэ!

Сверкают в воздухе смешные белые подошвы его ног и все смеются и ждут, откуда вынырнет его круглая голова, с круто вьющимися бараньими немокнущими волосами.

В жизни он просто мальчишка-кельнер приморского кафе. Но здесь, в море, на солнце, он один из самых интересных членов общества. Через час ему дадут сорок геллеров на чай за поданное мороженое, и он взмахнет салфеткой и скажет: «Kites die Hand». Но здесь, в море, на солнце, интересно и весело, схватив его черную руку, с узкой белой обезьяньей ладонью, нырнуть месте в эту едкую воду, ядовито-зеленого цвета.

— Оэ! Оэ!

Тут же в маленькой грязной лодчонка шныряет между купающимися ошалелый фотограф.

На нем рваная соломенная калоша вместо шляпы, купальная фуфайка, высоко засученные штаны и мокрые парусиновые туфли на босых ногах. Он нечто в роде земноводного пресмыкающегося, так как сам не знает, к кому себя причислить — к купающимся или материковым людям.

В его лодчонке такой же, как он, ошалелый земноводный мальчишка болтает веслом, стараясь не задевать за плечи купающихся.

Где группа погуще, лодчонка останавливается, водружается треножник, соломенная калоша прячется под черный платок, и все видят, что у фотографа ножки такие же тонкие и такие же черные, как у аппарата.

Пружинка щелкает.

— Четыреста пятьдесят восемь! — кричит фотограф.

Это — номер снимка, который вы можете завтра приобрести в виде карт-посталь, и, отметив крестом свою физиономию, послать на родину, на радость и удивление родных и знакомых.

А знакомые, где-нибудь в далекой Устюжне или Борисоглебске, посмотрят, наденут очки и еще раз посмотрят. И скажут, вздохнув:

— Наш-то Андрей Иваныч, видно, последнего лишился. Голый по заграницам ходит. Да от него другого и ждать было нечего. Вот только что родителей жалко!

Вечером мы сидим на берегу в кафе.

Веселый негритенок забыл свое беспечное «оэ!». Теперь он серьезен, озабочен и недоступен. Он служит. Он разносить, ловко лавируя между столами, тихо звенящие запотелые стаканы с лимонадом и гренадином. Он с достоинством опускает в карман полосатой жилетки полученные на чай сорок хеллеров и говорит почтительно:

— Küss die Hand!

Эта почтительность и это достоинство входят в его служебные обязанности.

Мы медленно тянем через соломку льдистую воду и смотрим на море.

Там усталое раскрасневшееся солнце лениво, медленно опускается в теплую, соленую, притихшую воду. Ляжет в нее и лениво погаснет золотистою ленью до утра.

А утром — мы снова вместе.

Экскурсия

Она сказала мне в субботу за табльдотом:

— Почему бы нам не поехать на Монте-Маджиоре? Красота, говорят, поразительная! Высота — тысяча двести ме-

тров над уровнем моря. Там — чудный вид, удобный отель, ослы, козье молоко.

В воскресенье она сказала:

— Едемте же на Монте-Маджоре! Красота — поразительная! Высота — полторы тысячи метров.

В понедельник она уже кричала на меня.

— Не понимаю вас совершенно! Сидит и киснет! Сами же говорили, что хотите на Монте-Маджиоре! Чего же вы, спрашивается, не едете? Высота поразительная, красота — две тысячи метров, чудный отель, козлиный вид, ослиное молоко! Чего вам еще надо?

Я подумала, что если отложить экскурсию до завтра, то метры дорастут до такого числа, до какого нам, пожалуй, и не долезть, — и согласилась.

После обеда подали зловонно-бензиновый мотор с двумя зловонно-сигарными немцами; мы сели, шофер загудел сиреной, и мотор пустился на гору.

Замелькало мимо все то, что обыкновенно мелькает мимо быстро несущегося мотора: равнодушная к победам культуры корова, мальчишка, показывающий язык, выпучивший глаза велосипедист, улепетывающая к подворотне курица, перекинувшаяся со страху через забор в самом неожиданном ракурсе баба, воз с шарахнувшимися лошадьми и ожесточенно ругающийся мужик.

Мотор гудит, ревет. Мы не слышим, что кричит нам мужик, но по его пламенным жестам догадываемся, что он от всей души желает нам чего-то.

— Направо — лес, налево — обрыв, а внизу — море, тот самый залив, который мы видим каждый день. Но каждый раз, когда мотор выезжает на открытое место, один из сигарных немцев молча толкает другого в бок и тычет пальцем на залив. Другой утвердительно кивает головой, потому что, в сущности, отрицать здесь совершенно нечего.

На одном из крутых поворотов утверждающей немец неожиданно привскочил с места, поднял шляпу и признался, что его фамилия — Шпрингер. Мы, со своей стороны, сделали вид, что чрезвычайно обрадованы этим фактом. После этого немец тыкал на залив всем нам по очереди.

После полуторачасовой езды мотор вдруг умерил ход, скользнул в какие-то ворота и ехал прямо в объятия черного бородача в зеленом переднике.

— Кофе чай шоколад молоко ослы — сказал бородач без запятых.

Мы вылезли и долго молча смотрели друг на друга.

Бородач, в свою очередь, смотрел на нас и пришел к определенному выводу. Он повернулся лицом к дому и закричал:

— Два осла, четыре порции кофе!

Мы пили кофе, а бородач объяснял все, что мы видим:

— Вот это — море. Адриатическое море. Это очень красиво. А сами вы сидите. Сидите вы на горе Монте-Миджиоре. Это очень красиво. А сейчас вы поедете на ослах на самую вершину. Это очень красиво. У нас два осла и два седла, мужское и дамское, по две кроны за час. Это очень красиво.

Пока мы с нашей спутницей пили кофе и слушали объяснения, братья Шпрингеры овладели одним из ослов и, громко запев патриотическую песню, в которой просили Германию быть совершенно спокойной и вполне рассчитывать на их силы, отправились на гору.

На нашу долю остался один осел под дамским седлом — животное поджарое, с ехидной мордой и презрительно оттопыренной губой.

— Вы можете ехать по очереди, — сказал бородач. — Одна поедет, а другая пойдет рядом. Потом поменяетесь.

— Попробуйте вы первая, — предложила моя спутница.

Бородач принес лестницу, придвинул ее к ослу и сказал, вздохнув:

— Ну, с Богом!

Мне стало жутко.

— Хорошо ли он у вас взнуздан? — деловито спросила я, чтоб оттянуть время.

— Можете быть спокойны, — отвечал бородач. — Маленькие дети ездят и не боятся.

— Маленькие дети! Нашел, чем прельстить! Именно маленькие-то дети и делают больше всего глупостей.

— Садитесь скорее, — нервничала моя спутница. — On nous regarde.

Я оглянулась. Из окна высунули головы три бабы, у ворот собрались мальчишки, девчонки; какой-то мужик, видно, бросил спешную работу, наскоро вытирал руки и

лез на сложенные у стены бревна, откуда лучше было видеть меня с ослом.

Все смотрели тупо, выжидательно и упорно, как смотрит театральная публика на занавес, который долго не поднимается.

Осел странно, быстро, как заяц, затряс ушами.

— Знаете, — сказала я, — вы его плохо взнуздали. Я привыкла ездить на этих... как они... на шенкелях. Вы ему шенкелей не привязали. Я так не поеду.

Бородач хотел что-то возразить, но осел вдруг повернул голову и скосил на меня круглый глаз с лукавым белком.

Положительно, эта подлая скотина вообразила, что я ее боюсь.

— Послушайте, хозяин, придержите же его немножко за хвост. Как же вы хотите, чтобы я села, когда у него хвост мотается во все стороны.

— Напрасно вы боитесь, сударыня, — сказал бородач. — Осел смирный, старый.

Я боюсь? С чего он взял, что я боюсь? Я, может быть, на арабских лошадях скакала по техасским степям! Я, может быть, призы брала на неоседланной лошади. Что он может знать о моей жизни и привычках, это тупое существо в зеленом переднике?

Я слезла с лестницы и сказала с достоинством:

— Если я не хочу ехать на вашем осле, то это еще не значит, что я боюсь его.

И, повернувшись к своей спутнице, прибавила:

— Ведь я же вам говорила, что доктора запретили мне верховую езду. Останемся внизу, попьем шоколаду. И без того мы уже поднялись на несколько тысяч метров.

Но она непременно хотела ехать. Она поедет на осле, а я пойду пешком.

Этот план мне не понравился.

— Знаете что, милый друг мой, Софья Ивановна! — сказала я. — Я, конечно, с удовольствием бежала бы за вами, если бы не этот осел. Не нравится мне этот осел, — говорю вам откровенно. Много ослов видала я на своем веку, но такой ехидной морды никогда еще не встречала. Он вас сбросит на первом же повороте и растопчет копытами.

— Пустяки, — храбрилась Софья Ивановна. — Он ведь маленький. Если и упаду, — не беда.

— Хорош маленький. Когда вы сядете, ваша левая нога будет почти на аршин над землей, — я уже не говорю о правой, которая будет прямо черт знает где. Итак, вам предстоит летать с аршинной высоты, все увеличивая скорость падения по мере приближения к земле. А когда вы наконец рухнете, он вас растопчет.

Она посмотрела на меня робко и недоверчиво.

— Почему же непременно растопчет. Во всяком случае, падая, я опишу дугу и не попаду ему под ноги.

— Вы опишете дугу? Ха-ха! Это с вашим-то характером! Да вы, милая моя, так растеряетесь, что собственную наружность описать не сумеете, не то что дугу. А если даже и опишите, велика корысть. Еще какая дуга попадется. Вдруг в сто восемьдесят градусов, — вот вы и под копытами. Много выгадали? Сами же себя собственным перпендикуляром треснете. Нет, милая моя, лучше дадим ему крону на чай, пусть других простаков ищет.

Она притихла.

— Вы думаете, так лучше?

— Ну, еще бы. Смотрите, что за упряжь! Как вы назад поедете с горы? Ведь, на этом проклятом осле даже тормоза нет.

— Действительно, они понятия не имеют, как надо седлать. А пешком мы не пойдем?

— А чего мы там не видали? Братьев Шпрингеров, что ли?

— Немцы, однако, подымаются и так и ахают.

Я вздохнула и сказала искренно:

— Я не могу сегодня ехать, у меня насморк.

Братья Шпрингеры вернулись скорее, чем их ждали. Осел не захотел везти их на самый верх. Он облюбовал себе на полпути зеленую полянку и начал удовлетворять свой аппетит, а когда братья стали его погонять, он повернулся и пошел домой. И чем больше кричали Шпрингеры, тем бодрее шел осел.

Хозяева очень удивлялись, но во взорах, которыми они обменивались с ослом и друг с другом, было не удивление, а какое-то спокойное удовольствие.

Подали мотор, загудела сирена, замелькали мужики, лошади, куры, мальчишки.

Один из братьев воодушевился и громко ревел:

«Lieb Vaterland, magst ruhig sein!»

Другой, более сентиментального темперамента, подталкивал нас на поворотах и тыкал пальцем на море:

— Адриатическое море! Адриатическое море! — надрывался он, стараясь перекричать гудок шофера.

Мы утвердительно кивали головой, потому что, в сущности, отрицать здесь было совершенно нечего.

Тип старика нищего

Мы встретили его у дверей нашего отеля.

Он был небольшой, но плотный, бритый старичок, одетый в самое живописное нищенское тряпье. Он подкатывал глаза и меланхолически-дрожащим голосом говорил что-то о «сольди» и о «панэ», протягивая корявую руку с зазубренными, черными ногтями.

Моей спутнице он понравился:

— Это настоящий тип старика нищего, какой может встретиться только в Неаполе. Какой он весь красочный! Хороший художник дорого бы дал за такую модель.

Старик, думая, что она говорит об его бедности и о своем сострадании, утвердительно кивал головой и показывал по очереди все прорехи на своем платье. В одну втыкал палец, в другую — два, в третью — целый кулак.

— Панэ! Панэ! Сольди!

Мы отдали ему всю мелочь, какая у нас была, и поехали на вокзал: мы отправлялись осматривать раскопки Помпеи.

Когда мы уже сидели в вагоне, к нашему окошку подошел какой-то старичок и грустно шептал что-то о «панэ» и «сольди».

— Послушайте! Да, ведь, это тот же самый старик! — сказала я. — Разве вы не узнаете его?

Моя спутница пожала плечами.

— Вот тоже фантазия! Как же он мог сюда попасть одновременно с нами?!

Это, действительно, было совершенно невероятно, но старик был так поразительно похож на нашего нищего, что жутко делалось. Даже дырки на платье приходились на том же самом месте.

Но моя спутница все живо сообразила:

— Чего же тут удивительного, что они похожи, раз это самый распространенный тип старика-нищего в Неаполе. Во всяком случае, он в этом сходстве не виноват, и нужно ему что-нибудь подать.

Мы дали нищему мелочи, и тот быстро заковылял куда-то.

Осмотрели Помпею основательно: удивлялись перед улицами, восхищались перед фресками, умилялись перед кувшинами из-под прованского масла.

Словом, все как следует.

Потом, в ожидании обратного поезда, сели завтракать.

Ели макароны, смотрели на лазурное небо, говорили:

— Ах! Подумайте только! Может быть, Лукреций, выходя в атриум своей помпейской виллы, любовался на это самое облако! Ах!

— Ах! — раздался за нами тихий вздох.

И вслед за ним тихий стон:

— Панэ! Сольди!

Боже мой, до чего этот нищий был похож на тех двух неаполитанских стариков!

— Положительно их здесь гримируют!

Моей спутнице смех мой не понравился.

— Смеяться над стариком-нищим только оттого, что он типичен, очень неостроумно и бессердечно... Да-с!

Я сконфузилась, а она для того, чтобы окончательно сразить меня благородством своих чувств, дала старику две лиры.

На неаполитанском вокзал мы снова встретили вокзального старичка, у дверей отеля — отельного.

Признаться, мне они уже надоели, но сказать этого я не решалась, потому что жалела свою спутницу; при малейшем знаке моего неудовольствия чувство милосердия вспыхива-

ло в ней с двойной энергией, так что отельный попрошайка получил четыре лиры.

На другое утро у дверей отеля ждал нас уже новый старичок. То есть, лицо у него было то же, что и у вчерашних, но одет он был чище и на голую шею повязал красный галстук. Держал он себя с большим достоинством и не всхлипывал, а говорил деловито:

— Панэ! Сольди!

Наградив его по заслугам, мы отправились на Везувий.

На платформе заковылял рядом с нами старый знакомый — вчерашний нищий. Он тоже принарядился, — на его голой грязной шее тоже красовался красный галстук.

— Послушайте, да это положительно тот же самый, которому мы только что подали. Смотрите — красный галстук. Я уже и не говорю про все остальное...

— Гм!..

Она удивилась, но сразу поняла, в чем дело.

— Голубчик! Ведь сегодня воскресенье, — вот бедняжки и принарядились, кто как мог. Право это трогательно! Вчера мы сунули им несколько грошей, — вот они сегодня и щеголяют. Ну, разве это не трогательно?

— Но почему же именно красные галстуки? — мучилась я.

Она рассердилась:

— Так про все можно спросить. Почему же им и не быть красными? Бедный простой человек натурально считает красный цвет самым нарядным.

На обратном пути наградила опять обоих — и вокзального, и отельного.

Надоел мне этот тип старика-нищего. Везде то же самое. Однообразно.

На следующее утро он уже ждал нас в новом костюме, с одной дыркой на самом законном месте — на колене. В петличке у него засунута была веточка мяты, и сказал он нам строго:

— Панэ! Сольди!

Мы торопливо сунули ему по монете.

Но он говорил еще что-то. Слушали, слушали, справились в лексиконе, поняли: он спрашивал, куда мы едем?

Мы удивились, но ответили: в Позилиппо.

Он сделал недовольную гримасу и стал объяснять, что ехать не стоит, потому что пыльно.

— Какой милый старичок, какой заботливый! Он к нам, как к родным! — умилялась моя спутница.

Но я не растрогалась.

— Какое ему дело? Едемте.

Поехали.

Было, действительно, так пыльно, что чихали не только мы, извозчик и лошади, но два раза мне показалось, как будто сама коляска чихнула где-то внизу, около рессор.

Остановились у маленького ресторанчика, попросили выбежавшего гарсона подать нам пелегрино. Гарсон, веселый, бойкий, расшаркивался, бегал вокруг коляски.

— А что прикажете подать вашему другу!

— Это он про кучера. Дайте ему стаканчик вина.

— Si signora. Кучеру вина, а вашему другу?

— Какому другу?

— А вот этому старому синьору...

Куда он смотрит, этот бойкий гарсон? Куда-то под колеса?

Мы выпрыгнули из экипажа: на запятках, подобрав ноги, сидел тип старика-нищего, тряс красным галстуком и сердито моргал на нас пыльными веками.

Кучер посмотрел тоже и рассердился.

— Лошадям и так тяжело тащить на гору, а ты еще уцепился.

Старик обиделся.

— Я? Уцепился? Я с этими синьорами третий день осматриваю окрестности. Хотел бы я видеть, как бы они без меня обошлись! «Уцепился»!! Какова дерзость! Человек работает, человек зарабатывает свой сольди на свой кусок хлеба, а он кричит «уцепился»!

Извозчик не позволил ему сидеть на запятках. Тогда он попрекнул нас, что из-за нас должен был тащиться по такой пыли, и что у него даром день пропал.

— Не бросать же его здесь. Пусть садится на переднюю скамейку, — решила моя спутница.

— Ну, конечно, — согласилась я. — Три дня ездили вместе, теперь уж как-то неловко отказывать.

Поехали вместе.

Вблизи у него была препротивная рожа. И он так явно показывал, что недоволен нами.

Эскалоп

Если вы хотите, путешествуя, получать какие-нибудь новые впечатления, — никогда не ездите с так называемым «комфортом», потому что вы ничего не услышите и ничего не узнаете.

Все хорошие отели всего мира похожи друг на друга, как две капли стерилизованной воды. Пойдете ли вы в Лондон, на остров Таити, на реку Миссисипи, в Париж или в центральную Африку, — у вас везде будет номер в два окна, с балкончиком, кровать и кушетка из белого дерева стиля модерн. Горничная, везде одинаково состоящая из крахмального передника, крахмального чепчика и рыжих веснушек, одинаково извинится в чем-то на одинаково скверном немецком языке.

Метрдотель, это чудо неизменности, иногда бывает чуть-чуть выше или чуть-чуть толще, но его пробор и его нагло-почтительная улыбка всегда одинаковы. Вы видели ее в Ментоне, видели на Лидо и увидите на Мадагаскаре.

Может быть, и вы для него та, которую он встречал много раз на белом свете:

— Я, кажется, уже имел честь служить мадам в Брейтоне?

— Нет, я не была в Брейтоне.

— Два года назад. Или это, может быть, было в Нагасаки в девятьсот восьмом году? В таком случае, я не ошибусь, если скажу, что это было в Марселе. Мадам потеряла свой чемодан... Нет? Неужели же в Шанхае?..

Он нагло почтительно склонит свой прямой пробор над меню и предложит жареную соль и «эскалоп де-во».

В какой бы стране земного шара вы ни находились, порядочный метрдотель ничего иного предложить вам себе не позволит.

Где-нибудь в Китае, где все кругом вас будут обедать какими-нибудь ласточкиными гнездами, павлиньими седлами и акульими плавниками, метрдотель склонит пробор и предложит вам эскалоп, как там — в Брейтоне, в Ницце, в Калифорнии...

Дирекция хорошего отеля позаботится обо всем.

Вы приехали на морские купанья? Но неужели же вы пойдете в то самое море, где одновременно с вами будут купаться какие-нибудь необразованные люди? Здесь, в отеле, вы можете получить роскошную ванну какой угодно температуры, в какое угодно время.

Вы понимаете сами, как уроните себя в глазах «эскалопа», если пойдете в общее море. О, нет, конечно, вы предпочитаете ванну.

— Сегодня, кажется, какой-то праздник? Я вижу пестрые фонарики, цветы, разряженную толпу...

— Ах, это местный праздник, это веселится простой народ. Но мы уже приняли меры, чтобы шум, музыка и блеск огней не обеспокоил мадам. Мы закрыли ставни и опустили жалюзи, и мадам будет спать спокойно, как в Брейтоне, как в Индии во время знаменитой процессии Кали, как в Средней Африке во время праздника огня. Мадам ничто не потревожит, ей будет казаться, что она у себя в Москве, на Сивцевом Вражке.

— Скажите, в Адриатическом море, вероятно, совсем нет рыбы, что у вас всегда подают только жареную соль?

— Ах, мадам в Адриатическом море, конечно, есть рыба, но, ведь это местная рыба простая, необразованная. Мадам ее не станет есть. У нас есть чудесная соль свежего привоза девятьсот десятого года.

— А лангусты, омары у вас есть?

— Мадам, конечно, шутит? Разве в хорошем итальянском ресторане станут подавать омаров? Их едят там, на берегу, в тавернах, где закусывают грузчики. Омары, которых ловят в здешнем море, — о ужас! У нас французская кухня, мадам, у нас тонкое меню; эскалоп де-во, жареная соль.

В Швейцарии вам не дадут после обеда швейцарского сыра. Вам дадут бри, рокфор, — сыры всех стран и народов, но швейцарского не дадут.

— Швейцарского сыру? Вы станете есть местный сыр? Ах, мы сразу заметили, что мосье шутник. Не хотите ли еще эскалопа? Это вас успокоит.

И везде будет одинаково, потому что теперь весь мир обратился в один большой отель с одинаковой постоянно перетасовываемой прислугой, с одинаковым меню, одинаковыми компотами, вестибюлем и эскалопами.

Сонный портье встретит вас у каждых дверей всемирного отеля, почешет карандашом у себя за ухом, и пока вы, глядя на него, думаете: «Где, однако, видел я эту скверную рожу?», он, глядя на вас, думает: «Как будто встречал я уже где-то эту продувную бестию. Не тот ли это, что обобрал вдову из Занзибара? Или тот, что не дал мне на чай в Ливерпуле?»

Старый моряк

Опалово-мутное вечернее море спокойно и ласково. Даже когда мой лодочник опустил, отдыхая, весла, волны не качнули челнока, и он тихо и сонно повернул к берегу.

На берегу уже зажигаются огоньки.

Вот засветилась пестрая гирлянда фонариков кафе Кварнеро, где я должна быть, и куда я не пойду.

А должна я там быть потому, что ждет меня там дама из Варшавы, которая вот уже пять дней хочет выпытать у меня, сколько мне лет. Прямо спросить она не решается, а делает все наводящие вопросы, ловко закидывая мне тонкие сети. Вначале это увлекало меня, как спорт, но потом надоело, и я уже решила малодушно сдаться, но вдруг почувствовала, как она осторожно расставляет мне другие капканы: она еще хочет знать, сколько я плачу за номер и кто за мной ухаживает. Тогда я убежала. Сказала, что буду в кафе, и не пошла.

Кроме дамы с капканами, ждет меня там же немец из Брюна. Немца ни капли не интересует интимная сторона моего существования. Он хочет меня видеть для того чтобы в пятнадцатый раз рассказать мне, как его уважают в Брюне.

Очевидно, ему кажется, что я не поверила предыдущим четырнадцати рассказам. Он даже как будто немножко ненавидит меня за то, что должен долбить мне все одно и то же, без всякого толку. Но, как человек добросовестный, не хочет бросить начатого дела, на которое уже затратил столько времени и энергии.

Все равно, пусть рассказывает завтра. На сегодня я спасена.

Легкая рябь пробежала узкой полоской к лиловым теням горизонта. Сейчас зажгутся звезды, начнется ночь.

— Хорошо! — сказала я громко.

— Хорошо! — повторил чей-то голос.

Я приподнялась. Это сказал старик, сидящий на веслах.

— Вы говорите по-русски?

— Я говорю на всех языках: и на немецком, и на английском, и на итальянском, и по-русски говорю. Я весь свет объездил. Всю землю знаю.

— Вы здешний?

— Здешний кроат. Всю землю знаю, как свою ладонь.

Он протянул руку и, раздвинув пальцы, показал свою ладонь.

— Вот! Все видел. В Японии был, в Австралии был, в Америке был, в Италии был, в Индии был, в Англии был, в Одессе был, во Владивостоке был, — везде был, все видел.

Он говорил, мешая русские слова с кроатскими и немецкими. Высокий, худощавый, немножко сутулый с длинными мягко-лежащими усами, он похож был в своих шароварах и полотняной рубахе на старого малоросса. Только резко сдвинутые брови и ясные внимательные глаза указывали на то, что этот человек привык смотреть в безбрежные дали и подмечать угрозу далеких туч.

Весла тихо шуршали в его сухих широких ладонях; челнок слушался малейшего движения жилистых рук. Высушенное ветром далеких стран лицо его было так спокойно и важно, что даже стыдно делалось при мысли, что этот серьезный человек должен работать из-за того, что я не хочу сидеть в кафе с чтимым в Брюне немцем.

— Понравилось вам в России? — спросила я моряка.

— Хорошо. Пшеница в России хорошая, очень хорошая. В Америке пшеница хуже. Гораздо хуже.

Он даже слегка сплюнул — настолько американская пшеница была хуже русской.

— А город Одесса понравился вам?

— Понравился. Пшеницу грузили. Хорошая пшеница.

— А вообще русские вам нравятся?

— Русский народ хороший. Очень крепкий народ; очень крепко ругается. Я всю землю знаю, как свою ладонь.

Он сделал два быстрых удара одним правым веслом и ловко проскользнул под самым носом большого парохода. Оттуда с палубы кричали ему что-то, и какой-то человек с галунами на фуражки злобно грозил кулаком.

Но он спокойно и ровно налегал на весла, и так верилось в силу и ловкость этих широких плеч, что я даже не обернулась посмотреть, не попадем ли мы снова под пароход, который где-то рядом бурлил воду лопастями своего винта и качал нас длинными упругими волнами.

— Вы под парусами плавали или на пароходах? — спросила я.

— Двадцать лет на парусах ходил. Пятнадцать на пароходе.

Двадцать лет на парусах! Этот человек действительно знает всю землю и все море! Он слышал, как свистит ветер между снастями, как буря поет свою песню и хлещет о мачты мокрым холстом парусов.

Сколько он видел! Сколько он знает!

Мы, путешествующие из одного отеля в другой в экспрессах и курьерских поездах, в гигантах пароходах, перекидывающих нас в своих гарантированных от качки подвесных каютах в пять дней через океан, — что знаем мы о дикой красоте ужаса морей, об ярко-красочной жизни закоулков большого порта, каких нам никогда не покажут, которые спрячут от нас подальше? В каждом городе каждой страны, куда забрасывали его пестро-заплатанные паруса шхуны, он жил настоящей жизнью, — той, которой живут там, а не той, которую видим мы, подкрашенную, подчищенную, приготовленную для специального потребления туристов.

Вот этот старик пока еще силен и работает, а через несколько лет сядет у ярко растопленной зимней печки, окруженный детьми и внуками, и, покуривая видавшую виды

трубочку, будет рассказывать все, что узнал о той земле, с которой знаком, как со своей ладонью. А дети и внуки, наверное, будут недоверчиво переглядываться. И немудрено. Нужно двадцать лет ходить на парусах, чтобы узнать то, что знает этот старик с ясными глазами.

— Вы русская? — спросил он меня вдруг.

— Русская.

— Русский народ крепкий. Очень сильно ругается.

Я поняла по тону фразы, что он хочет польстить мне, и благодарно улыбнулась. Но все же переменила тему.

— А в Англии вам понравилось?

— В Англии тоже ругаются сильно.

Он, очевидно, не так понял мой вопрос.

— А скажите, как лучше плавать: на парусах или на пароходе?

— На парусах очень сильно ругаются. Мы пшеницу возили. В Канаде тоже пшеницу грузили. Там по-французски ругались, а пшеница хуже, чем у русских. А в Австралии по-английски ругались, а пшеница плохая. Я все знаю, я весь свет объездил, всю землю. Русские — крепкий народ, очень сильно ру...

— А скажите, — перебила я его, — где, по-вашему, красивее всего? В Японии?

Он покачал головой:

— Нет. Вот где красивее всего.

Он показал рукой куда-то налево.

— Там? Где? В Италии?

— Нет, здесь, в заливе, наше новое кафе очень красивое. Кафе Кварнеро. Красивые фонарики, музыка играет. Это — самое красивое место на свете.

Он посмотрел на меня своими ясными, видавшими весь мир глазами, потом перевел их на кафе Кварнеро и вздохнул от удовольствия.

— Здесь лучше, чем в Японии. В Японии был два раза. В Японии тоже ругались, но русский народ крепче, русский народ очень...

— А Индия вам понравилась?

— В Индии нас по-английски руга...

— Теперь можно повернуть к берегу, мне пора.

Он сильнее заработал руками, и весла с тихим шорохом скользили в его сухих, широких ладонях. Ясные глаза, привыкшие вглядываться в далекие берега, смотрели спокойно и мудро. Он все видел, он все знает, знает всю землю, как свою широкую сухую ладонь.

И в долгие зимние вечера он расскажет о ней, этой земле, своим детям и внукам.

Мариенбад

Мариенбад в полном разгаре. Здесь — русско-американский сезон.

Русские вздохи, теплые, уютные, и американские улыбки, честно обнажающие запломбированные золотом зубы, — все вплоть до коренных.

Маленькая, черная, как мышь, американка переплыла океан потому, что ей показалось, что у нее правая щека толще левой.

— Сделайте так, доктор, чтобы я похудела справа и пополнела слева.

Доктор прописал массаж, и американка обиделась. Массаж можно и в Вашингтоне достать. Ей нужно что-нибудь особенное, — мариенбадское. Она хочет, чтоб щека похудела от мариенбадской воды.

Доктор смотрел на нее с тоской и отчаянием, но когда мышь переплыла океан, она в праве требовать себе удовлетворения.

Американка излила передо мной свою печаль, и сразу дала ей дельный совет:

— Неужели вы не знаете, как поступают в таких случаях? А ведь это так просто! Вам нужно похудеть с правой стороны. Отлично. Выпейте три стакана Крейцбрунена и ложитесь на правый бок. Вода вся перельется на эту сторону, — значит, и будет действовать только на нее, а левый бок останется, как был.

Американка долго удивлялась и благодарила меня.

На прощанье сказала, что в Америке я могла бы составить себе имя и приобрести большую практику.

А я улыбалась скромно:

— Мы, русские, мы не честолюбивы...

Приехал обычный мариенбадский гость — четырнадцатипудовый алжирский нотариус.

Он чувствует себя знаменитостью и обижается, если кто-нибудь, пройдя мимо, не обернется на него.

Местные магазинные и ресторанные фрейлейн решаются разговаривать с ним только втроем или вчетвером. Им кажется, что с человеком таких размеров можно говорить только хором.

Приехала традиционная американка с сорока сундуками туалетов. В семь часов утра она выходит под колоннаду пить свою воду в открытом платье с брильянтами на шее и руках, башмаках и зубах, — у нее в два боковых зуба вставлены бриллианты.

— Вы знаете, — говорит русская сплетница, — к ней каждое утро ювелир ходит, зубы ей чистит.

Собеседница, печальная старуха с больной печенкой, сердится на американские бриллианты. Она думает, что у нее болит под ложечкой именно от этих бриллиантов.

— И как это им только полиция позволяет безобразничать! Дурили бы у себя в Америке.

Дама в нитяных перчатках и стоптанных сапогах, слегка покраснев, вмешивается в разговор:

— Нет, я люблю бриллианты. У моей сестры, — у нее своя колбасная в Вильне, — так много бриллиантов, что она даже не может их все на себя надеть, — тяжело. Так она, когда на бал едет, всегда лакея с собой берет, лакей бриллианты за ней на подушке носит.

— Ну, а как же она танцует-то? — недоверчиво спрашивает сплетница.

— Да очень просто, танцует, а лакей, значит, сзади танцует, и брильянты на подушке.

Воцаряется долгое молчание.

— Неудачный ныне сезон, — меняет разговор сплетница. — Ужасная публика. Все какие-то голодранцы, по-немецки ни бе ни ме.

— Ужас, ужас! — соглашается сестра бриллиантовой колбасницы. — Ни туалетов, ни манер. Из людей нашего круга только один саксонский король. Неудачный сезон!

О мошенниках

Мы часто жалеем попавшегося мошенника:

— Если даже он и выкрутится благополучно, то, во всяком случай, ему конец, так как репутация у него останется подмаранная.

Вот с этим-то я и не согласна. Если репутация у него останется подмаранной, то будет ему не конец, а, напротив того, самый полный и пышный расцвет.

Я не шучу, — уж до шуток ли тут! К жуликам у нас какое-то совсем особое, влюбленно-почтительное отношение.

Мы немножко завидуем им, немножко гордимся ими.

— Посмотрите, вон тот, в красном галстуке, — знаете, кто это? Ведь это знаменитый Z, который четыреста тысяч выманил, помните?

И всем приятно.

— Ну, как же не знать, он мне даже родственник.

Может быть, вы даже приврали, что он вам родственник, но это маленькое хвастовство и поймут, и простят: все знают, что иметь в родственниках какого-нибудь захолустного пьяницу очень предосудительно, тогда как родство с крупным мошенником — это уж нечто положительное.

Здесь своя особая математика.

Убить старуху — нехорошо. Убить двух старух — еще хуже. Убить тридцать старух — совсем скверно.

Украсть рубль — стыд и срам.

Украсть десять тысяч — ловкий парень.

Украсть триста тысяч...

— Да неужели? Впрочем, позвольте, он, кажется, приходится дальним родственником моей жене.

Положение мошенника в обществе самое приятное. От сознания сего и лицо у мошенника всегда бывает хотя и озабоченное, как полагается человеку не ветрогону, а занятому

серьезными делами, но в то же время очень милое и располагающее к себе.

Шулер — другое дело. Лицо у шулера должно быть потрясающе честным. Лик, а не лицо. Глаза навыкате, борода лопатой, ноздри раздутые. К такому лицу и не подойдешь с шуточкой, — неуместно. Заподозрить его в чем-нибудь и в голову прийти не смеет.

Взяточник — опять совсем другое. Лицо у взяточника, с одной стороны честное с другой — как бы снисходительное к людской слабости.

Все лицо его и понимает, и подбодряет вас:

— Ну, чего, глупышечка, боишься? Ну, дай, сколько можешь, а уж мы вдвоем обмозгуем, как твое дельце устроить.

Лицо шулера говорит:

— Гляди и трепещи! И хожу перед Богом!

Лицо взяточника шепчет:

— Все мы люди, все человеки.

У мошенника на лице ничего не прочтешь. Оно просто спокойно, серьезно и приятно.

Он знает что-то такое, чего вы не знаете. Не то каких-то людей, не то какие-то дела, планы. Словом, что-то очень важное.

Ни одно большое дело не может начаться без мошенника. Оно не сладится, не склеится.

Прямо хоть в газете публикуй:

«Приглашается мошенник быть душой нового дела».

Если вам нужен управляющий для вашего дома, вы отвернетесь от предложений тихих и скромных тружеников и с восторгом пригласите мошенника, про которого вам расскажут, что он, управляя домом вашего приятеля, в три года нажил два своих дома.

— Вот это молодец! Уж за таким человеком не пропадешь. Он все ходы и выходы знает.

— Да ведь он и на вашем деле наживет. Ведь он и вас надует!

Этим никого не убедишь. Каждому лестно думать, что мошенник, который всех надувал, именно за него-то душу свою положит.

Затеяли мы как-то газету «на разумных началах». Кто-то откуда-то раздобыл двадцать тысяч.

Решили пока что отдавать свой труд даром.

Наняли квартиру, сторожа, купили самовар. Пили чай и придумывали заглавие для газеты.

Недели через две все надоело, — и сторож, и самовар, и заглавие, а газета все еще не двинулась.

Нужно было кому-то к кому-то поехать, что-то сделать.

— Нужно взять разрешение! — говорили мы друг другу.

Но всем было лень. Да и неприятно как-то.

И вдруг кто-то из нас сказал:

— А почему бы не пригласить Андрея Лукьяныча? Он бы живо устроил нам все дело. Человек бывалый.

Все ахнули.

Андрей Лукьяныч был известный взяточник, автор «жареных» статей и заметок, мошенник, уличенный и находящийся в упадке и унынии.

Никто его не захотел.

Но на другой же день, когда мы собрались у редакционного самовара, распахнулась дверь, и влетел сам Андрей Лукьяныч, розовый, оживленный, захлебнувшийся напором слов и мыслей.

— Дорогие мои! — закричал он. — Да чего же вы тут сидите? Да о чем вы думаете? Вами так интересуются, только о вас и говорят. Сам Х спрашивал у меня сегодня о вашем деле.

Он вертелся, как волчок, перебивал сам себя, сыпал именами министров, со всеми оказался знаком, и все, оказалось, говорили ему: «Дорогой Andre, вы один все можете устроить».

Подбежал к телефону, ткнул куда-то мимо кнопки и стал разговаривать, называя на «ты» кого-то такого важного, что сторож из почтительности прикрыл двери.

Потом Андрей Лукьяныч выспросил обо всех наших делах, выбранил за непрактичность, узнав, что мы хотим давать труд даром.

— К чему? Напротив того, вы все должны назначить себе жалованье. Для начала по пятисот рублей в месяц.

Мы выразили опасение, что денег не хватит.

Он только усмехнулся:

— А уж это я вам устрою. Кто ваш капиталист?

Он записал адрес, попросил какую-то доверенность и сказал, что должен ехать, не теряя ни минуты.

Мы остались растерянные, красные и немножко сконфуженные. А Андрей Лукьяныч на другой день приехал в редакцию уже на моторе, объявил, что нашел типографию и нужных людей, а отчет даст потом, потому что сейчас ему некогда, да и незачем, если денег не хватит, он доплатит своих. А дело пойдет прекрасно, потому что все министры только им и интересуются.

Он гипнотизировал нас, как гремучая змея кролика, и отдельно, у себя дома, каждый из нас понимал, что Андрей Лукьяныч врет и надувает, — собравшись вместе, мы были бессильны.

Через две недели кто-то очень важный сказал Андрею Лукьянычу: «Дорогой мой, бросьте эту затею: она несвоевремена».

Он пришел в редакцию, очень расстроенный, кричал, что мы его подвели, что он истратил на нас своих двенадцать тысяч, что он не так богат, чтобы это было для него безразлично.

Когда он ушел, мы решили продать редакционный самовар и уплатить ему, таким образом, хоть часть денег.

— Как вы думаете, — робко сказал кто-то, — он не считает нас жуликами?

Все решили, что нет.

Но было жутковато.

Жизнь и темы

Часто упрекают нас, бедных тружеников пера, что наши вымыслы слишком расходятся с жизнью и так явно неправдоподобны, что не могут вызвать веры в себя и доверия к себе.

Мните это столь несправедливо, что, в конце концов, чувствую потребность отстоять и себя, и других.

Я лично давно уже убедилась, что как бы ни были нелепы написанные мною выдумки жизнь, если захочет, напишет куда нелепее! И почти каждый раз, когда меня упрекали в

невероятности описанных событий, — события эти бывали взяты мною целиком из жизни.

У писателя почти всегда хороший культурный вкус, чувство меры, тактичность.

У жизни ничего этого нет, и валяет она прямо, без запятых. Вероятно, диктует какому-нибудь своему подручному дьяволу, а тот записывает и исполняет.

Часто добрые люди стараются прийти на помощь писательскому творчеству и дают «интересную тему».

— Вот для вас чудная тема! Прямо невероятное событие!

И расскажут действительно невероятное событие.

Если вы пожелаете обратить это событие в рассказ, то можете быть уверены, что ни одна уважающая себя редакция произведения вашего не напечатает. Вам скажут, что вы не знаете быта, не знаете жизни, не знаете людей и не знаете грамоты.

Подлинные происшествия нужно перерабатывать в литературные произведения, старательно подлаживая их под те требования, которые мы желаем предъявлять к жизни.

Трудно и скучно. Поэтому сюжетов из жизни никому брать не советую.

Даже питаясь исключительно продуктами собственного воображения, часто попадаешь в неприятные истории. Придет какая-нибудь милая дама, подожмет губы и скажет язвительно:

— А я читала, как вы меня продернули.

— Я? Вас? Когда?

— Нечего! Нечего! Ведь вы же написали, что одна толстая дама сломала свой зонтик, а я как раз вчера сломала.

— Так ведь я два месяца тому назад написала, не могла же я предвидеть, что это с вами случится!

— Ах, не все ли равно, когда это случилось — вчера, два месяца тому назад? Важен факт, а не время. Стыдно, стыдно друзей высмеивать!

— Да, ей-богу же, я...

— Ну, нечего, нечего!

И она демонстративно переменит разговор.

Когда вы описываете действительное происшествие, у вас получается такая ни на что не похожая штука, что все равно никто ничему не поверит. Если же наврете, насо-

чиняете, наплетете, нагородите, — десять человек откликнется.

Напишите вы святочный рассказ, как обезумевший дантист проглотил в рождественскую ночь свою сверлильную машину. Редактор поморщится, скажет, что это совсем уж ни на что не похоже и что у вас фантазия прогрессивного паралитика, но если рассказ этот напечатают, — вы получите через неделю десять писем от дантистов Европейской России, а еще через неделю — десять от дантистов Азиатской России с горькими упреками: зачем вы врываетесь в их частную жизнь и семейные дела? Будут письма и скорбные, и угрожающие.

«Милостивый государь! — напишут вам. — Прошу вас взять ваши слова назад, потому что сын мой не способен на такой низкий поступок, как порча инструмента своего товарища».

«Милостивый государь! Зачем вы бросили тень на прошлое бедной девушки? Теперь все подумают, что, уничтожив свою машинку, ее жених хотел отомстить за свое поруганное чувство».

«Милостивый государь! Ах, это — святая правда. В наше безвременье человек ни перед чем не остановится».

«Милостивый государь! Проведенная в вашей статье идея возмутила нас, нижеподписавшихся, до глубины души».

«Милостивый государь! Вы клевещете на русское общество. Назовите мне такую обитель, где бы русский мужик не страдал! Но, как видно, вы не бывали на Волге! Стыдитесь».

«Милостивый государь! Уверяю вас, что я не виноват. Подлец Окуркин просрочил вексель, и только потому пришлось пожертвовать машинкой. Умоляю вас, не думайте обо мне худо!»

Станет жутко.

Что же это такое? Разве не я сама собственной головой выдумала этого дантиста, и вот зашевелилось со всех концов, всхлипнуло, потянулось с обидой, с вопросами, с требованиями, с упреками. И все это оттого, что выдумка ваша слишком нелепа и потому похожа на жизнь.

Если вы хотели остаться только в литературе, вы должны были бы написать, что печальный дантист продал свою машинку или нечаянно ее сломал. Вот и все.

Недавно я была поражена, до чего грубо и безвкусно острит жизнь.

Слушался в суде процесс, и среди свидетелей фигурировали двое юнкеров-кавалеристов. Фамилия одного была Кобылин, а другого — Жеребцов.

Ведь самый завалящий фельетонист самой завалящей провинциальной газетки не позволит себе такого пошлого зубоскальства! Ну, сострить немножко, в меру с тактом, в пределах жизненности и возможности. Оставь одного Кобылина или одного Жеребцова, и того за глаза хватить. А то ведь грубо, ненужно, ни на что не похоже!

Придумай такую штучку какой-нибудь беллетрист, ему бы солоно пришлось. Написали бы о нем, что приемы его остроумия весьма грубы и примитивны, рассчитаны на самый низкий вкус и обличают в автора старшего дворника.

А раз эта блестящая выдумка принадлежит самой жизни, все относятся к ней с какой-то трусливой почтительностью.

Жизнь, как беллетристка, страшно безвкусна. Красивый, яркий роман она может вдруг скомкать, смять, оборвать на самом смешном и нелепом положении, а маленькому дурацкому водевилю припишет конец из «Гамлета».

И обидно, и досадно, и советую всем не портить себе вкуса, изучая эти скверные образцы.

Ну, что поделаешь, если выдуманная правда гораздо жизненнее настоящей!

Страшный гость

Американский рождественский рассказ

В рождественский сочельник, когда все театры закрыты и люди предаются мирным семейным забавам, холостякам деваться некуда.

Поэтому в клубе стали собираться рано, и к 12-ти часам игра была в полном разгаре.

Молодой инженер Джон Уильстер, проиграв изрядную сумму, отошел от стола, чтобы отдохнуть и перебить несчастную полосу.

Наблюдая за играющими, он заметил элегантного молодого человека, высокого, с острым крючковатым носом и быстрыми движениями, которого он раньше не встречал здесь.

Молодой человек не играл, а только вертелся у стола, толкая всех локтями и вызывающе смеясь над каждым, кому не везло.

— Что это за неприятный субъект? — спросил Уильстер у своего соседа.

— Не знаю. Очевидно, гость, так как он не играет.

А незнакомец в это время хлопал по плечу мистера Вильямса, старейшего и почтеннейшего члена клуба и кричал:

— Не везет старикашке! Поделом, нельзя играть как сапожник.

Мистер Вильямс покраснел и сказал сухо:

— Я попросил бы вас не быть таким фамильярным со мной, милостивый государь!

— Каково! — захохотал незнакомец. — Он же еще и недоволен мною!

Вильямс пожал плечами и отошел от нахала.

— Кто это? — спросил он у дежурного старшины.

— Право, не знаю, какой-то мистер Блэк.

— А кто же его рекомендовал?

— Кто-то из членов. Сейчас я отыщу его карточку.

Старшина выдвинул ящик стола и достал визитную карточку.

— Мистер Джонс. Он впущен по рекомендации Джонса.

— Джонса? Бедный Джонс — ведь он вчера скончался.

— Да, я знаю, — ответил старшина и, подумав, прибавил: — Но ведь рекомендацию он мог выдать дня за два до смерти. Тут число не проставлено.

— Надеюсь, что не после смерти, — проворчал Вильямс — и снова подошел к столу.

Незнакомец продолжал приставать и раздражать всех.

— Вы мне наступили на ногу! — вскрикнул один из игроков.

— Не беда! — дерзко ответил незнакомец и остановился в вызывающей позе, точно ожидал и желал ссоры.

Но, поглощенный картами, игрок не обратил внимания на его реплику, и незнакомец отвернулся с явной досадой.

— Кто это такой? — спросил у Вильямса инженер Уильстер.

— А кто его знает! Пришел сюда по загробной рекомендации от одного покойничка и чудит.

— От покойника? — удивился инженер. — А как же его фамилия?

— Блэк.

— Блэк? Блэк значит черный... Кто он такой?

— Должно быть, дьявол, — невозмутимо ответил Вильямс.

Уильстер усмехнулся, но ему почему-то стала неприятна шутка Вильямса.

— Что за вздор! Почему он рекомендован покойником?..

Он подошел к незнакомцу и с любопытством стал приглядываться к нему.

Тот, действительно, был похож на черта, каким принято его изображать. Остроглазый, носатый, и даже слегка прихрамывал, точно обул башмак не на ноги, а на копытца, и не мог свободно ходить.

Лоб у него был узкий, высокий с заливами и прямой пробор раздвигал жесткие волосы, которые торчали над висками двумя черными рожками.

Странное жуткое чувство охватило молодого инженера.

«Может быть, я сплю, — подумал он. — А если сплю, — тем веселее, потому что тогда этот господин самый настоящий черт».

В это время кто-то из игроков крикнул незнакомцу:

— Пожалуйста, не трогайте мои карты.

На что незнакомец ответил с мальчишеской заносчивостью:

— Хочу и трогаю!

Потом посмотрел внимательно на того, с кем говорил, и вдруг переменил тон:

— Впрочем, извиняюсь. С вами мне делать нечего, вы слишком и худощавый, и слабосильный. Я извиняюсь.

Он отошел от стола, и все удивленно расступились перед ним.

К Уильстеру подошел один из членов клуба, молодой поэт. Лицо его было бледно, и он растерянно улыбался.

— Кто этот господин, вы не знаете? — спросил он Уильстера. — Правда, что его рекомендовал кто-то в загробном письме? Я ничего не понимаю.

— Я сам ничего не понимаю, — признался Уильстер.

— Зачем он систематически вызывает всех на ссору с ним? Может быть, это какой-нибудь известный бретер и ищет дуэли?

В таком случае отчего же он извинился сейчас перед Тернером?

— Ничего не понимаю. Или я сплю, или я поверил в черта.

Он криво усмехнулся и отошел.

— Он тоже думает, что он спит! — пробормотал Уильстер. — Нет, это я сплю. Иначе я сошел с ума и галлюцинирую.

Он сжал себе виски руками и вдруг смело подошел прямо к незнакомцу.

— Итак, черный господин, — сказал он, — вы явились сюда ровно в полночь, — не правда ли? И предъявили визитную карточку покойника, и у вас рога на голове и копыта в сапогах, и вы пришли, чтобы выбрать жертву и погубить ее. Не правда ли, господин Блэк?

Незнакомец пристально взглянул Уильстеру прямо в лицо своими острыми глазами, потом оглядел всю его фигуру и вдруг сказал:

— Мне ваша физиономия не нравится!

Это уже был не сон.

Уильстер вспыхнул.

— Вы мне за это ответите, милостивый государь. Вот моя визитная карточка.

Но незнакомец не принял карточки Уильстера.

— Я не буду драться с вами, мальчишка, — презрительно ответил он. — Вы трус! Вы никогда не посмеете даже дать мне пощечину! Ваша рука слишком слаба для удара.

Это было что-то неслыханное.

Ему, Уильстеру, знаменитому боксеру, говорят, что его рука слишком слаба. Или все это действительно снится ему?

Он поднял глаза.

Незнакомец стоял, повернувшись к нему почти в профиль, и ждал.

Уильстер вскрикнул и ударил со всей силы по обернутой к нему щеке дьявола.

Тот ахнул и упал.

— Доктора! — закричал он. — Скорее доктора, — и засунул палец себе в рот.

Сидевший среди играющих доктор кинулся к нему.

Незнакомец медленно поднялся и, обращаясь к доктору, сказал:

— Освидетельствуйте меня скорее и констатируйте факт: два зуба выбиты — вот здесь и здесь, а два, находящиеся между ними, остались целы и даже не шатаются. Можете убедиться. Это происходит оттого, — торжественно продолжал он, — что выбитые зубы были вставлены обыкновенным способом, а оставшиеся — по новому способу дантиста Янча, живущего в Лег-стрите, дом № 130 Б, принимает ежедневно от часу до пяти, два доллара за визит!

Он вскочил и, медленно отступая к дверям, стал разбрасывать веером визитные карточки.

— Дантист Янч, Лег-стрит, 130 Б! — повторял он. — Подробный адрес на этой карточке. Доктор Янч! Лег-стрит!

Лицо его преобразилось. Он имел спокойный и довольный вид человека, хорошо обделавшего выгодное дельце.

— Дантист Янч, — донеслось уже из-за двери. — Лег-стрит.

Игроки молча смотрели друг на друга.

Праздничное веселье

Петербург любит и умеет веселиться на праздниках.

Всюду идут деятельные приготовления: достаются из кладовой чемоданы, свертки, ремни, саки.

Собираются ехать — все равно куда, лишь бы «не видеть хоть на праздниках этих рож».

«Куда-нибудь, здесь место поглуше и меньше шансов встретиться?.

Но «эти рожи» тоже не хотят ни с кем встречаться и поэтому тоже ищут места поглуше.

— Вы не знаете, что думают делать на праздниках Иволгины?

— Они собирались в Парголово.

— Ах, Боже мой! Мы ведь тоже туда хотели! Какая досада! Теперь придется искать другое место.

— Не волнуйтесь. Иволгины откуда-то проведали, что вы хотите в Парголово, и уже заказали комнаты на Иматре.

— Ну, слава Богу. Они очень милые, конечно, но так бы хотелось не видеть хоть несколько дней всех этих рож.

И каждый ищет уединенного местечка, ищет в приятной уверенности, что и от него, как от чумы, бегут его добрые знакомые и милые приятели, и что он для них, в сущности, тоже не кто иной, как «эта рожа».

Одна дама сказала:

— Как хорошо, что Христос родился на Рождество. К этому времени все успевают до того надоесть друг другу, что хоть недельку должны передохнуть.

И вот к Рождеству выплывает на свет страшная, много месяцев тщательно всеми скрываемая истина: человек человеку — «рожа».

Едут.

Едут не на радость.

Едут в Финляндии, в холодные деревянные дачи, где дует с пола и из окошек, где скучно даже спать.

Выползет утром спасшаяся из Петербурга «рожа», робко оглянется кругом, — не занесла ли нечистая сила кого из знакомых, — пощурится на непривычный белый снег, пожмурится на просторное серое небо и вздохнет:

— Хоть бы винтишко какой ни на есть составить.

Подойдет чухонец-хозяин, спросит, глядя в сторону:

— Лизы хочешь?

— Чего?

— Лизы. Хороший лизы хочешь? Я тащил лизы. Все приезжая лизы хотел.

Пока «рожа», застенчиво улыбаясь, хлопает глазами, чухонец приволочет пару лыж.

— Посол! Хороший лизы, от волка уйдешь.

«Рожа» робко берет лыжи, оглядывается по сторонам и стыдится.

— Здесь нельзя начинать. Здесь увидеть могут. Пойду в поле.

Пойдет в поле.

Поставит лыжи аккуратненько рядом, всунет ноги в петли, двинется. Лыжи медленно пойдут носами друг к другу. Потом один нос наедет на другой, и к ним тогда немедленно присоединится третий нос самой «рожи».

«Рожа» встанет, отряхнется, с ужасом оглядится кругом, — только бы никто не видел. Страдать она готова сколько угодно, но тайно.

Опять поставит лыжи, опять всунет ноги, но на этот раз, — дудки, мы сами с усами, — ноги держит выворотно, носками врозь.

Лыжи начинают быстро разъезжаться.

Испуганная «рожа» кричит:

— Тпру! Тпру!

Еще минута, и она погибнет смертью Игоря.

Но тут приходит на помощь закон равновесия, и «рожа» шлепается всей спиной в снег.

Освобожденные лыжи, бодро и весело подпрыгивая, разлетаются по уклону в разные стороны.

Тогда «рожа» сползает сама, вязнет, охает, подбирает лыжи и красная, сердитая направляется домой.

По рыхлому снегу идти трудно, приходится снова надевать лыжи. Идет медленно, как паралитик.

— «От волка уйдешь»? Чухна проклятый! Чтоб ты сам так ушел.

На подъем лыжи ползут назад, на спуске летят вперед. Так что на подъеме падаешь носом вперед, а на спуске — затылком назад.

Это вносит грустное разнообразие в тяжелый труд передвижения.

Если по дороге встретятся сани с местными жителями, местные жители, остановив лошадь, будут мрачно любоваться вашим унижением.

Русский мужик стал бы издеваться и острить:

— Эхма! Ишь, как наловчился-то! Так и летит. Лови зайца! Держи! Уйдет!

Финн не таков. Финн будет молча сосредоточенно смотреть, и когда, наконец, очнувшись, подстегнет лошадь, — на лице его встреча с вами не выявится ни малейшим движением.

Дома «рожа» сядет красная, сердитая, ненавидящая спорт и болванов, увлекающихся им.

К вечеру, когда подадут на стол керосиновую лампу и сильнее подует с пола и из окошек, он совсем расстроится.

— Нечего сказать! Устроил себе праздничек! Люди веселятся, отдыхают, радуются. А я, как пес бездомный, сижу без электричества и без общества.

Он вспомнит с удовольствием о знакомых и приятелях и на другое же утро, уложив чемоданы, поедет на станцию, и всю дорогу, смотря на спину чухонца-хозяина, будет сам причмокивать лошади и думать:

«До чего эти финны медлительны».

Тотчас по приезде он поспешит повидать знакомых и порадует их своей оживленностью и любезностью.

— Какой у вас хороший вид! — скажут они. — Где вы так поправились?

— Ездил в Финляндию. Воздух, спорт, — всем рекомендую.

— Удивительно! Совсем другим человеком стал.

И будет хорошо и весело. И будет мир и благоволение, вплоть до Пасхи, когда снова дерзко выплывет наружу тщательно скрываемая истина: человек человеку — «рожа»!

Провидец

— Видно, Васенька к обеду не вернется. Задержался, видно, у Хряпиных. Нужно ему хоть супцу оставить.

Сели за стол сама вдова Чунина и обе дочки. Все три белесые, безбровые, с белыми волосами, светлее лба, и белыми круглыми глазами, столь между собою похожими, что ка-

залось, будто это попарно рассаженные скверные костяные пуговицы — ровно полдюжины.

Ели молча белую лапшу на белых фаянсовых тарелках, шевелили белыми салфетками, и так им самим было бело и тошно, что, оглянись на них Провидение хоть один разок, — немедленно окунуло бы кисть свою в какую ни на есть, хоть в зеленую краску и перемазало бы их на новый лад.

— Видно, не придет Васенька, — снова сказала Чунина, покончив с лапшой. — Видно, у Хряпиных задержали. Нужно ему хоть котлетку оставить.

Но, видно, не задержали, потому что Васенька как раз в эту минуту и вошел в столовую.

Он был потемнее сестер и матери, на верхней губе его желтела щетинка, и глазные пуговицы сидели для разнообразия косо. Основываясь на этих достоинствах, он чувствовал себя баловнем судьбы и существом высшей породы.

Он подошел к столу, посмотрел на мать, на тарелки и расстроился.

— Вот вы теперь скажете: «Опять Васька к обеду опоздал!» А как же я мог не опоздать, когда у Хряпиных меня задержали. Не могу же я, как бешеная собака, посидеть две минуты и идти домой. А вы скажете: «Нужно было раньше из дома выбраться». А какой смысл был бы мне раньше выбраться, когда Хряпин мне русским языком сказал, что раньше половины пятого его дома не будет. Вам, конечно, приятно, чтобы я везде и всюду из себя дурака валял, а спросите сначала, пойду ли еще я на это.

— Ешь лучше, суп простынет, — белым голосом вставила мать.

— Да, да, буду есть суп, а вы скажете: «Вот расселся, да знай ест!» А вы спросите, ел ли я с утра-то. Я, как собака, голодный бегаю, а вы сейчас скажете, зачем же я не ел. А как же я мог, есть, когда я завтрак проспал, а потом должен был идти к Хряпиным? Все на свете происходит по известным причинам, по самостоятельным причинам и по несостоятельным причинам. Если я не мог позавтракать по несамостоятельным причинам, то нечего мне в глаза тыкать, что я голодный хожу.

— Господи! Опять он философию завел, — зашептала мать. — Да ешь ты ради Бога. Суп стынет, и других задерживаешь.

Вся полудюжина костяных пуговиц повернулась к нему с мольбой и страхом. Но он только отшвырнул ложку и горько усмехнулся.

— Да! Вот теперь вы скажете, что я всем поперек дороги стою, что я чужой век заедаю, что Глафира из-за меня в девках сидит. Чем я виноват, что Палкину приданое нужно? Вы обращайтесь с вашей репликой к нему, а не ко мне. Он меня не уполномочивал за него объясняться. А вы сейчас скажете, что я, как представитель имени, должен сам обо всем заботиться и защищать все интересы. Сегодня, значит, беги сюда, а завтра беги туда, а послезавтра снова куда-нибудь. А если у меня физиологических сил не хватит, тогда что? Тогда, значит, умирай? А вы сейчас скажете...

— Господи! — застонала вдова Чунина. — Господи! Твоя сила, — вразуми его!

— А вы сейчас скажете...

— Ничего я не говорю! Я говорю только: ешь суп. Вон Глафира плачет...

— Ну, конечно, вы сейчас скажете, что я во всем виноват и что у меня характер скверный. А чем у меня скверный характер? У меня характер самый общительный. Общительный и твердый. А вы сейчас скажете: «Хорош твердый, когда даже гимназии кончить не мог!» Это даже с вашей стороны прямо бессовестно, потому что вы сами прекрасно знаете, что не кончил я курса исключительно из-за переутомления. А если вы меня попрекаете куском хлеба, то уж это такая несправедливость... такая несправедл...и...ивость...

Он страдальчески поднял брови, всхлипнул и, прижав ко рту свернутый в комочек носовой платок, говорил вполрта:

— ...такая ужа... сная несправед... А вы сейчас скажете, что я — низкий и неблагодарный, а я этого не могу вынести. Я не могу! Не могу-у-у!

Он встал и, путаясь длинными макаронными ногами, пошел прочь из комнаты.

Полдюжины костяных пуговиц повернулись в его сторону и остановились, круглые, мокрые и покорные.

Гедда Габлер

Они все хотят играть Гедду Габлер. Все. Начиная от маленькой шепелявой ingénue и кончая комической старухой с тройным подбородком и подагрическими пальцами.

Если вы увидите в оперетке какую-нибудь толстую тетку короля или жену трактирщика, будьте уверены, что вся показываемая вам буффонада — только корявая оболочка, в которой, как кащеева смерть в голубином яйце, невидимо, но плотно угнездилась мечта о Гедде Габлер.

Как-то в одном из маленьких наших театриков ставилась маленькая пьеска маленького драматурга. По просьбе автора одну из ролей отдали его жене.

Для этого пущены были в ход все пружины, начиная с дочери суфлера и кончая матерью режиссера. Увидя игру своей протеже, все эти пружины чуть не лопнули от ужаса. Жена автора была трагична в самых комических местах пьесы и вызывала веселые взрывы смеха в лирических.

Вдобавок она обладала таким невероятным, неслыханным акцентом, что после первого же акта друзья театра хлынули к режиссеру с расспросами:

— Что это значит?

— Что это за акцент?

Режиссер сконфузился, помялся и ответил:

— Н-не знаю. Говорят, будто она молоканка.

Публика долго удивлялась, дирекция долго мучилась, как бы поделикатнее отобрать от нее роль, а молоканка сидела в своей уборной в позе отдыхающей Дузэ и говорила, улыбаясь мечтательно и грустно:

— Нет, не могу. Тяжело! Тяжело ежедневно кривляться в этой пошлой пьеске, повторять пошлые, бессмысленные фразы, размениваться на четвертаки глупого смеха для глупой публики! Я устала. Я хочу отдохнуть душой. Я хочу... Я хочу, наконец, сыграть Гедду Габлер. Пора! Пора!

Другая была маленькой начинающей актрисой. Играла толпу, и самой ответственной ее ролью была горничная, подающая письмо, да не просто, а со словами:

— Барыня! Вам письмо.

Роль эту разработала она так тщательно, что после второго же представления ее выгнали.

Выходила она с письмом не прямо, а как-то подкрадывалась боком. Слово «барыня» произносила свистящим шепотом. Потом делала ликующее ударение на слове «вам» и, наконец, грустное и недоуменное «письмо!».

Она объяснила потом театральному парикмахеру (больше никто не хотел ее слушать), что поняла и воплотила в своей роли тип сознательной горничной, которой давно режет ухо слово «барыня», которая подчеркивает слово «вам», как бы намекая на то, что и с нею следует обращаться тоже на «вы». «Письмо» она выговаривала с грустным недоумением, чтобы оттенить свое отношение к госпоже и показать, что считает последнюю слишком неразвитой для такого интеллигентного занятия, как корреспонденция.

Покидая театр, она сказала, что, в сущности, очень рада поскорее вырваться из этой душной атмосферы, где ее заваливали работой, не оставляя времени на изучение серьезной роли, к которой она себя готовила.

— Что же это за серьезная роль? — удивлялись собеседники.

— Как что за роль? — удивилась и она. — Гедда Габлер. Чего вы глаза выпучили?

Третья актриса, вынашивавшая в себе зерно Ибсена, была хорошая бытовая актриса, отчасти комическая старуха, мастерски игравшая теток, старых дев, тещ и неблагородных матерей.

Сидела она как-то в свободный вечер в театре и смотрела Гедду Габлер в исполнении иностранной гастролерши.

— Н-нет, не нравится она мне, — сказала актриса в антракте. — Не поняла она Гедды. Совсем не тот рисунок роли. Она играет так, — тут актриса начертила в воздухе какие-то круги. — А я ее сыграла бы вот так.

И она быстро завертела рукой зигзаги и острые углы.

— Понимаете? Сначала так, потом вот так, потом поворот, потом срыв вверх, потом подъем в бездну. Понимаете?

Сначала думали, что она шутит, хлопали ее по плечу и приговаривали:

— А и затейница вы, Марья Ивановна! Никто лучше вас не придумает. Захотите — мертвого рассмешите!

Но она и не думала смешить. До смеху ли тут! Она затеяла открыть собственный театр, чтобы сыграть Гедду Габлер.

— Одна беда, — под ложечкой у меня взбухло. Как кислого поем, — ни одно платье не лезет. Печень, что ли. Придется принять меры.

Приняла. Поехала в Карлсбад, подтянулась, вернулась, стала устраивать театр.

— Ничего, теперь под ложечкой все в порядке, будет вам настоящая Гедда. Подъем в бездну, срыв вверх, роковой зигзаг, — понимаете?

И она чертила в воздухе сгибы и срывы. Все так к этому привыкли, что как увидят издали бестолково махающие руки, кланяются и здороваются, уверенные, что это непременно она.

А она все говорила, все показывала, захлебывалась, от спешки стала вместо «Гедда Габлер» говорить «Гадда Геблер» вплоть до первого спектакля.

Провалилась она так эффектно, что от треска своего провала сама словно оглохла. Но, очнувшись, забыла все и открыла в Харькове самый безмятежный шляпный магазин.

Если бы судьба покровительствовала развитию модной промышленности, она, не будь глупа, на каждую жаждущую душу ассигновала бы возможность осуществить свою Гедду. И с небольшой затратой принесла бы большую пользу модничающему человечеству.

Оминиатюренные

Только что прочла длинный немецкий роман и пришла в ужас, — до чего развратила нас миниатюра!

Роман интересный, написан талантливо, но после миниатюр все в нем кажется таким растянутым, длинным и томительным, словно после поезда-экспресса едешь по той же дороге на извозчике. Только что мелькали телеграфные

столбы, как палки частокола, а теперь плетешься от одного к другому трусцой, вперевалку.

Ну, какое мне дело, что Ганс перед свиданием с Мари зашел в кафе и съел три пирожка? Мог бы он сесть их и десять, мог бы потерпеть немножко и ни одного не съесть, — мне решительно нет до этого никакого дела.

А когда автор начал подробно докладывать мне, сколько у покойной Гансовой матери было в молодости десятин земли, я серьезно рассердилась. Положительно, автор думает, что мне совершенно нечего делать, если полагает, что я могу заинтересоваться делами этой никому не нужной старухи.

В кафе, где Ганс ел свои пирожки, прислуживала молодая девушка с мутными глазами и блуждающей улыбкой.

«Ага! — подумала я. — Вероятно, эта девушка сыграет не последнюю роль в романе»

И представьте себе, — автор так ни разу и не вернулся к ней.

Посудите сами, имел ли он моральное право угощать читателя мутными глазами, если он знал, что не вернется к ним?

Если ему самому делать нечего, то он, во всяком случае, не должен отнимать время у других.

Как, должно быть, скучно писать роман!

Во-первых, нужно героев одеть, — каждого соответственно его положению и средствам. Потом кормить их опять-таки, принимая во внимание все эти условия. Потом возить по городу, да не спутать, — кого в автомобиле, кого на трамвае.

Потом нужно помнить их имена, потому что, если героиня, в порыве страсти, закричит Евгению: «Виктор, я люблю тебя!» — то из этого последует масса осложнений, — изволька потом их все распутывать.

Нужно также хорошенько запомнить, у кого какая наружность.

Я помню, как меня неприятно поразило, когда в одном романе цыганка взглянула на офицера «широко раскрытыми голубыми глазами». Вероятно, офицера это также поразило, потому что он изменил цыганке через три дня.

Потом нужно помнить природу, т. е. где происходит действие и в какое время года.

— «Addio bello Nappoli», — лилась неаполитанская баркарола в открытое окно вместе с запахом померанцев. Мороз крепчал. Иогансон, надев наушники Нансена, стал медленно сползать с ледяной горы».

Правда, нехорошо?

Как-то не внушает доверия.

А кто упрекнет автора? У кого подымется рука, если только он подумает, как тяжело на протяжении пятнадцати печатных листов нянчиться со всей этой бандой. Обувать, одевать, кормить, поить, возить летом на дачу и давать им возможность проявлять свои природные качества.

Хлопотная работа. Кропотливая. Хозяйственная.

Недаром теперь в Англии романы пишут почти исключительно женщины. Считают, что это прямой шаг от вязания крючком.

Такое же странное впечатление производят на «обминиатюренного» человека и современные большие пьесы.

Смотришь какую-нибудь драму и думаешь: «И к чему все это? Тянут — тянут, тянут — тянут... Дедка за репку, бабка за дедку...»

В миниатюре взвешено каждое слово, каждое движение. Оставлено только самое необходимое. Миниатюра процеживается автором, режиссером, актером и публикой. Если заметят на репетиции, что фраза тяжеловата или длинна, ее сокращают, вычеркивают. Если заметят, что публика в продолжение целой минуты не реагирует на действие, это место выбрасывают или изменяют, потому что было бы чудовищно давать публике в продолжение целой минуты слова, на которые она не отвечает. Это уже скука, неудача, провал. Потому что вся драма-миниатюра идет двенадцать минут и каждая из минут должна быть на счету.

В былые времена советовали больному круглый год есть кору такого-то дерева. И он ел и поправлялся туго, потому что вместе с целебными элементами этой коры поглощал массу вредных частей. Теперь для него сделают вытяжку из этой коры, и он, лизнув ее кончиком языка, получит больше пользы, чем от трех пудов этой же коры в ее примитивном виде.

Конечно, надрать коры с дерева легче, чем приготовить лекарство.

Конечно, рассиропить длинную драму легче, чем написать яркую миниатюру. В драме для достижении желаемого настроения вы располагаете очень широкими средствами: паузами, повторениями. В миниатюре фабула должна дать все.

Женщина убила мужа и знает, что ее бабушка догадалась об этом.

Вот как расскажет об этом драма.

Мария. Бабушка! (*Молчание*).

Мария. Бабушка! Ты здесь? (*Молчание*).

Мария. Бабушка, отчего же ты молчишь? Ведь я знаю, что ты здесь.

Старуха. Что?

Мария (*с силой*). Я говорю, что я знаю, что ты здесь.

Старуха. Ты хочешь что-нибудь сказать мне?

Мария (*испуганно*). Я? Нет, ничего. Я ничего не хочу сказать тебе. Почему ты думаешь, что я хочу сказать?

Старуха молчит. Снаружи кто-то стучит. Это ночной сторож. Шаги его тихо удаляются.

Мария. Скажи что-нибудь.

Старуха. Мне нечего сказать тебе. Но, может быть, ты хочешь что-нибудь сказать.

Мария. Как ты бледна.

Старуха. Что?

Мария. Я говорю, что так бледна.

Старуха. Кто?

Мария. Ты.

Старуха. Я?

Мария. Да, ты.

Старуха. Что я?

Мария. Ты бледна.

Тут создается такое настроение, что нервных дам начнут немедленно выносить в обморочном состоянии.

Продолжится этот диалог, в особенности если бабушка глуховата, около получаса. Сторож будет стучать. Скрипнет калитка. Потом старуха, чтобы увильнуть от прямого ответа, станет вспоминать свою молодость. Потом горничная принесет самовар и лампу, и акт кончится.

— Как интересно развивается драма! — скажет зритель. — Как жизненно! Только, собственно говоря, пора уже и по домам. А чем все это кончится, — узнаем завтра из газет.

Миниатюра передаст эту сцену так:

Мария. Бабушка! Иди сюда! И не притворяйся. Я прекрасно знаю, что ты все слышишь и все понимаешь. Ну да. Я убила его. Я! Я! Слышишь? Ну, а теперь можешь идти чай пить.

И старуха живо уходит, потому что ей некогда. Ей осталось ровно две минуты, чтобы написать завещание, поджечь дом и повеситься. Последнее она проделает только из чувства долга по отношению к автору, потому что публика все равно не досмотрит. Ей некогда. Если она сэкономит эту минуту, она успеет на шестидесятисильном моторе проехать несколько верст.

Ведь это же целая минута, целая минута, господа!

Шутить изволите!

Золотое детство

Нянька, ради праздничка, дольше обыкновенного терла Яшу губкой и больше обыкновенного напустила ему мыльной пены и в глаза, и в рот, и в нос.

Яша мотал головой и ругал няньку толстой дурищей.

В столовую он вышел сердитый, с красными глазами и мокрыми волосами. Увидел мать и тетку и сразу вспомнил, что нужно поскорее разрешить все утро мучивший его вопрос.

— Мама! — спросил он озабоченно. — Скажи, пожалуйста, во что лошади сморкаются?

Но мама, видно, сама толком не знала, потому что вместо прямого и честного ответа стала Яшу воспитывать.

— Во-первых, когда входят в комнату, прежде всего здороваются. Подойди к тете, шаркни ножкой и пожелай доброго утра. Ты слышишь, что тебе мать говорит?

Слышать-то он слышал (слава Богу — не глухой), но желать доброго утра, вообще, было стыдно, а сразу после приказания уж и совсем невозможно. Большие могут притворяться, им все нипочем: «Благодарю! Пожалуйста!» А маленькому все это ужасно совестно.

Яша помолчал, посопел носом, и, решив, что отношения с матерью все равно испорчены, перешел окончательно на линию злодея:

— Дай мне кофею! Небось, сама-то пьешь, а мне велишь молоко!

— Возмутительно! — прошептала тетка и закатила глаза.

— Садись и пей свое молоко, — сказала мать твердо.

Яша потянулся за булкой и, задев локтем, опрокинул свою кружку.

Он сконфузился и виновато смотрел, как капает молоко со скатерти на пол.

— Посмотрите, пожалуйста! Ведь это он нарочно разлил! — взвизгнула тетка.

Яше и в голову не приходило разлить молоко нарочно, но теперь эта мысль ему очень понравилась. Злодей, так уж и есть злодей.

Он надул губы и, упершись об стол ногой, стал раскачиваться на стуле. Это мгновенно вызвало то, на что было рассчитано, и через минуту Яша уже ревел по ту сторону двери.

Ревел он долго, так что даже самому надоело, и под конец уж ничего не выходило — ни слёз, ни настоящего реву. Тогда он пошел в садик, состоящий, как и большинство дачных садиков, из зеленого забора, зеленой скамейки и бурого куста без листьев, влез на забор и стал обдумывать дальнейший план.

Хорошо было бы, например, пойти к купцу в сарай, где стоит лошадь. На лошадь можно покричать басом: «Но-о! — балуй!»

Хорошо также взять хворостину и погнать корову с полянки — вниз к речке. Но недурно также пойти покумиться с докторовой собакой. Он расслышал, как доктор кричал ей «апорт». Вот бы так покричать самому!

А напротив купцовой дачи у старухи есть индюк, которого очень весело дразнить. Старуха богатая — верно, индюка нарочно для дразнения и держит.

Но все эти планы давно были известны и матери и няньке, и тетке, и были запрещены строго-настрого, потому что лошади лягают, коровы бодают, собаки кусают, а индюк — рассердится, так и глаза выклюет.

Одно оставалось — скакать на заборе, хлопать по бурому кусту палкой и кричать ему «но-о! балуй!».

Но на террасу вышла тетка и сказала, подкатывая глаза:

— Не кричи под окнами, сделай одолжение. У матери, по твоей милости, мигрень. Она пошла прилечь. Иди в детскую!

В детской было душно, и скучно, и даже небезопасно, потому что нянька разбирала в комоде Яшино белье, а вид этого белья всегда вызывал в ней отвращение к Яшиному образу жизни.

— Вон, смотрите, ради Бога! Новые штаны, а коленка продрана. Раз надел, а коленка продрана! Сколько раз говорю — не ползай на коленках! Как об стену горох! Эт-то что? Батюшки! Уж это не иначе, как нарочно — весь обшлаг оборван!

Яша сидел тихо и, делая вид, что все это к нему прямого отношения не имеет, рассматривал книжки с картинками, причем каждой девочке рисовал карандашом на голове ленточку. Так как девочек оказалось мало, а Яша хорошо вработался, то пришлось рисовать ленточки и мальчикам, и собакам.

Вдали загудел локомотив.

— Вот бы построить железную дорогу, чтобы из детской прямо в столовую ездить в вагоне!

Он быстро вышел из комнаты.

— К маме не ходи! Мама спит, — крикнула нянька вслед.

— Ничего, я тихонько, она и не проснется.

Вошел в спальню на цыпочках.

— Мама, мама.

Молчание.

— Мама! Ма-ама!

Мать подняла обмотанную теплым платком голову.

— Господи! Что такое! Что случилось?

— Ничего, ты спи себе, спи! Я только пришел спросить, нет ли у тебя немножко рельсов — мне очень нужно!

— Няня! — закричала мать отчаянным голосом. — Зачем же вы его сюда пускаете, ведь вы же знаете, что у меня мигрень! Наказал меня Бог этим ребенком! Несчастная я!

От няньки пришлось выслушать столько тяжелого, что даже мысль о железной дороге выскочила у Яши из головы.

Он снова вышел в садик.

«Вот, — думал он, — маму-то Бог наказал. А за что?»

И тут же задумался: «Уж, видно, за дело. Даром-то, поди, не наказывают!»

На крылечко докторовой дачи вылезла докторова Наденька, прилизанная, с гребеночкой на голове и в клетчатом передничке. Хлопотливо приподняла и без того не достающее до колен платье, села на ступеньки и по-бабьи подперла щеку.

Яша перелез через забор, но так как поздороваться с девочкой было стыдно, то он просто проскакал мимо нее на одной ноге и повалился на кучу песку у крылечка. В сущности, это было вполне равносильно обыкновенному «здравствуйте».

Девочка совсем по-бабьи пожевала губами и спросила:

— А барыня у вас строгая?

Яша сделал обиженное и деловое лицо, как дворник Семен, когда тот жалуется няньке: «Эх, жисть тоже у нынешних господ!» — ответил:

— Строгая. А у вас?

— У нас очень строгая, — зашептала девочка, выворачивая губы и втягивая воздух — точь-в-точь как докторова Лукерья. — Очень даже строгая. Как я упаду, так она сейчас и кричит, и кричит! И все не позволяет.

— Чего не позволяет?

— Дурить не позволяет! Совсем не позволяет дурить — ни тебе капельку.

— У господ нашему брату жить тяжело! — басом подхватил Яша, уже совсем как дворник Семен, и даже пощупал то место, где лет через четырнадцать ожидалась борода. — Жалованья дает хорошо — тридцать копеек.

— А я вот, даст Бог, когда выраст большая и выйду замуж, буду всегда есть сардинки, и в каждой комнате все у меня будут сардинки, и в постелях будут сардинки.

Из дверей высунулась голова докторовой Лукерьи.

— Ты сюда зачем, мальчик, пришел? Еще нашкодишь что-нибудь, а потом за тебя отвечай! Иди, иди, нечего баловать.

Яша сначала собрался было послушаться, но вспомнил, что Лукерья чужая, и сказал степенно:

— Я тебя не обязан слушаться. Ты не имеешь никакого права!

— Вот я тебе ужо дам права разбирать, — пригрозила Лукерья и, взяв Наденьку за руку, увела в комнаты. Наденька поплелась вразвалку, совсем как Лукерья, и, переступая через порог, приподняла короткую юбчонку. Из всего этого Яша понял — вдруг и всецело перешла на сторону Лукерьи. Он еще не знал, что это называется изменой, но ему сразу стало противно сидеть на «их» песке у «их» крылечка.

Он вскочил и, чтоб показать полное презрение ко всему происшедшему, с громким гиком поскакал домой.

Дома его долго бранили. Сначала нянька — за оборванную пуговицу, потом тетка — за грубый вид, затем вставшая мать — за грязные руки, и под конец — приехавший из города отец за то, что все им недовольны.

— Свинопасом будешь!

Сели за стол.

К обеду неожиданно пришла чужая дама, и Яшу уже никто не бранил вслух.

— Наш Петруша такой умненький! — звенела гостья. — Сегодня, можете себе представить, спрашивает у Лизы: «Кто важнее, митрополит или губернатор?» Та отвечает — митрополит. «Ну, — говорит, — в таком случае я хочу быть митрополитом, а мои дети пусть будут губернаторами». Подумайте! Такой крошка, и уже мечтает о карьере. А ты, Яшенька, кем хочешь быть?

— Я-то?

Яша на минутку задумался и затем твердо, не увлекаясь мимолетно мелькнувшими перспективами быть капитаном, разбойником, графом и кондуктором на конке, высказал свои планы на будущее:

— Когда я выросту большой и выйду замуж, я хочу быть краснокожим.

По лицам родителей он увидел, что продешевил себя, и хотел уже вернуться к кондуктору, но дама вдруг замахала руками и закудахтала:

— Ах, прелесть! Ах, золотое детство! Отдайте мне, я его возьму с собой.

— Н-да, так я и пошел! Мне здесь тридцать копеек жалованья-то платят. Ты, што ль, платить станешь? Начетисто будет! Невподъем!

Проговорил он это, как и все денежные разговоры, дворниковским басом. Хотел еще что-нибудь ввернуть, но отец посмотрел на него строго и отправил его спать.

Так рано его еще никогда не укладывали. Он лежал в постели, и казалось ему, что он один на свете такой несчастный. День мог бы быть очень хорошим, если бы они все не сердились всё время.

Перед сном он немножко всплакнул, потом высек мысленно всех по очереди, начиная с отца и кончая докторовой Лукерьей, а так как ушел из-за стола без сладкого блюда, то в первом же сне увидел розовое бланманже и даже ложку около него. Но пришла гостья, засмеялась, закудахтала, утащила все к себе в курятник и оттуда звонко прокричала:

— Золотое детство! Ко-ко-ко-кудах!

Неживой
зверь

Предисловие

Я не люблю предисловий.

Пусть читатель остается свободным в своем отношении к читаемой книге, и не дело автора забегать вперед, так или иначе рекомендуя свое произведение.

Я бы и теперь не написала предисловия, если бы не одна печальная история...

Осенью 1914 года напечатала я рассказ «Явдоха». В рассказе очень и грустном и горьком говорилось об одинокой деревенской старухе, безграмотной и бестолковой и такой беспросветно темной, что когда получила она известие о смерти сына, она даже не поняла, в чем дело, и все думала — пришлет он ей денег или нет.

И вот одна сердитая газета посвятила этому рассказу два фельетона, в которых негодовала на меня за то, что я якобы смеюсь над человеческим горем.

— Что в этом смешного находит госпожа Тэффи! — возмущалась газета и, цитируя самые грустные места рассказа, повторяла: — И это, по ее мнению, смешно?

— И это тоже смешно?

Газета, вероятно, была бы очень удивлена, если бы я сказала ей, что не смеялась ни одной минуты.

Но как могла я сказать?

И вот цель этого предисловия — предупредить читателя: в этой книге много невеселого.

Предупреждаю об этом, чтобы ищущие смеха, найдя здесь слезы — жемчуг моей души — обернувшись, не растерзали меня.

Тэффи

Неживой зверь

На елке весело было. Наехало много гостей и больших, и маленьких. Был даже один мальчик, про которого нянька шепнула Кате, что его сегодня высекли. Это было так интересно, что Катя почти весь вечер не отходила от него; все ждала, что он что-нибудь особенное скажет, и смотрела на него с уважением и страхом. Но высеченный мальчик вел себя как самый обыкновенный, выпрашивал пряники, трубил в трубу и хлопал хлопушками, так что Кате, как ни горько, пришлось разочароваться и отойти от него.

Вечер уже подходил к концу, и самых маленьких, громко ревущих ребят стали снаряжать к отъезду, когда Катя получила свой главный подарок — большого шерстяного барана. Он был весь мягкий, с длинной кроткой мордой и человеческими глазами, пах кислой шерсткой и, если оттянуть ему голову вниз, мычал ласково и настойчиво: мэ-э!

Баран поразил Катю и видом, и запахом, и голосом, так что она даже, для очистки совести, спросила у матери:

— Он ведь неживой?

Мать отвернула свое птичье личико и ничего не ответила; она уже давно ничего Кате не отвечала, ей все было некогда. Катя вздохнула и пошла в столовую поить барана молоком. Сунула ему морду прямо в молочник, так что он намок до самых глаз. Подошла чужая барышня, покачала головой:

— Ай-ай, что ты делаешь? Разве можно неживого зверя живым молоком поить! Он от этого пропадет. Ему нужно пустышного молока давать. Вот так.

Она зачерпнула в воздухе пустой чашкой, поднесла чашку к барану и почмокала губами.

— Поняла?

— Поняла. А почему кошке настоящее?

— Так уж надо. Для каждого зверя свой обычай. Для живого — живое, для неживого — пустышное.

Зажил шерстяной баран в детской, в углу, за нянькиным сундуком. Катя его любила, и от любви этой делался он с каждым днем грязнее и хохлатее, и все тише говорил ласко-

вое «мэ-э». И оттого, что он стал грязный, мама не позволяла сажать его с собой за обедом.

За обедом вообще стало невесело. Папа молчал, мама молчала. Никто даже не оборачивался, когда Катя после пирожного делала реверанс и говорила тоненьким голосом умной девочки:

— Мерси, папа́! Мерси, мама́!

Как-то раз сели обедать совсем без мамы. Та вернулась домой уже после супа и громко кричала еще из передней, что на катке было очень много народу. А когда она подошла к столу, папа взглянул на нее и вдруг треснул графин об пол.

— Что с вами? — крикнула мама.

— А то, что у вас кофточка на спине расстегнута.

Он закричал еще что-то, но нянька схватила Катю со стула и потащила в детскую.

После этого много дней не видела Катя ни папы, ни мамы, и вся жизнь пошла какая-то ненастоящая. Приносили из кухни прислугин обед, приходила кухарка, шепталась с няней:

— А он ей... а она ему... Да ты, говорит... В-вон! А она ему... а он ей...

Шептали, шуршали.

Стали приходить из кухни какие-то бабы с лисьими мордами, моргали на Катю, спрашивали у няньки, шептали, шуршали:

— А он ей... В-вон! А она ему...

Нянька часто уходила со двора. Тогда лисьи бабы забирались в детскую, шарили по углам и грозили Кате корявым пальцем.

А без баб было еще хуже. Страшно.

В большие комнаты ходить было нельзя: пусто, гулко. Портьеры на дверях отдувались, часы на камине тикали строго. И везде было «это»:

— А он ей... А она ему...

В детской перед обедом углы делались темнее, точно шевелились. А в углу трещала огневица — печкина дочка, щелкала заслонкой, скалила красные зубы и жрала дрова... Подходить к ней нельзя было: она злющая, укусила раз Катю за палец. Больше не подманит.

Все было неспокойное, не такое, как прежде.

Жилось тихо только за сундуком, где поселился шерстяной баран, неживой зверь. Питался он карандашами, старой ленточкой, нянькиными очками, — что Бог пошлет, смотрел на Катю кротко и ласково, не перечил ей ни в чем и все понимал.

Раз как-то расшалилась она, и он туда же, — хоть морду отвернул, а видно, что смеется. А когда Катя завязала ему горло тряпкой, он хворал так жалостно, что она сама потихоньку поплакала.

Ночью бывало очень худо. По всему дому поднималась возня, пискотня. Катя просыпалась, звала няньку.

— Кыш! Спи! Крысы бегают, вот они тебе ужо нос откусят!

Катя натягивала одеяло на голову, думала про шерстяного барана, и, когда чувствовала его, родного, неживого, близко, засыпала спокойно.

А раз утром смотрели они с бараном в окошко. Вдруг видят: бежит через двор мелкой трусцой бурый кто-то, облезлый, вроде кота, только хвост длинный.

— Няня, няня! Смотри, какой кот поганый!

Нянька подошла, вытянула шею.

— Крыса это, а не кот! Крыса. Ишь, здоровенная! Этакая любого кота загрызет! Крыса!

Она так противно выговаривала это слово, растягивая рот, и, как старая кошка, щерила зубы, что у Кати от отвращения и страха заныло под ложечкой.

А крыса, переваливаясь брюхом, деловито и хозяйственно притрусила к соседнему амбару и, присев, подлезла под ставень подвала.

Пришла кухарка, рассказала, что крыс столько развелось, что скоро голову отъедят.

— В кладовке у баринова чемодана все углы отгрызли. Нахальные такие! Я вхожу, а она сидит и не крянется!

Вечером пришли лисьи бабы, принесли бутылку и вонючую рыбу. Закусили, угостили няньку и потом все чего-то смеялись.

— А ты все с бараном? — сказала Кате баба потолще. — Пора его на живодерню. Вон нога болтается, и шерсть облезла. Капут ему скоро, твоему барану.

— Ну, брось дразнить, — остановила нянька. — Чего к сироте приметываешься.

— Я не дразню, я дело говорю. Мочало из него вылезет, и капут. Живое тело ест и пьет, потому и живет, а тряпку сколько ни сусли, все равно развалится. И вовсе она не сирота, а маменька ейная, может быть, мимо дома едет да в кулак смеется. Хю-хю-хю!

Бабы от смеха совсем распарились, а нянька, обмакнув в свою рюмку кусочек сахару, дала Кате пососать. У Кати от нянькина сахару в горле зацарапало, в ушах зазвенело, и она дернула барана за голову.

— Он не простой: он, слышишь, мычит!

— Хю-хю! Эх ты, глупая! — захюкала опять толстая баба. — Дверь дерни, и та заскрипит. Кабы настоящий был, сам бы пищал.

Бабы выпили еще и стали говорить шепотом старые слова:

— А он ей... В-вон... А она ему...

А Катя ушла с бараном за сундук и стала мучиться.

Не живуч баран. Погибнет. Мочала вылезет, и капут. Хотя бы как-нибудь немножко бы мог есть!

Она достала с подоконника сухарь, сунула барану под самую морду, а сама отвернулась, чтобы не смущать. Может, он и откусит немножко... Пождала, обернулась, — нет, сухарь нетронутый.

— А вот я сама надкушу, а то ему, может быть, начинать совестно.

Откусила кончик, опять к барану подсунула, отвернулась, пождала. И опять баран не притронулся к сухарю.

— Что? Не можешь? Неживой ты, не можешь!

А шерстяной баран, неживой зверь, отвечал всей своей мордой, кроткой и печальной:

— Не могу я! Неживой я зверь, не могу!

— Ну, позови меня сам! Скажи: мэ-э! Ну, мэ-э! Не можешь! Не можешь!

И от жалости и любви к бедному неживому так сладко мучилась и тосковала душа. Уснула Катя на мокрой от слез подушке и сразу пошла гулять по зеленой дорожке, и баран бежал рядом, щипал травку, кричал сам, сам кричал «мэ-э» и смеялся. Ух, какой был здоровый, всех переживет!

Утро было скучное, темное, беспокойное, и неожиданно объявился папа. Пришел весь серый, сердитый, борода мохнатая, смотрел исподлобья, по-козлиному. Ткнул Кате руку для целованья и велел няньке все прибрать, потому что придет учительница. Ушел.

На другой день звякнуло на парадной.

Нянька выбежала, вернулась, засуетилась.

— Пришла твоя учительница, морда как у собачищи, будет тебе ужо!

Учительница застучала каблуками, протянула Кате руку. Она, действительно, похожа была на старого умного цепного пса, даже около глаз были у нее какие-то желтые подпалины, а голову поворачивала она быстро и прищелкивала при этом зубами, словно муху ловила.

Осмотрела детскую и сказала няньке:

— Вы — нянька? Так, пожалуйста, все эти игрушки заберите и вон, куда-нибудь подальше, чтоб ребенок их не видел. Всех этих ослов, баранов — вон! К игрушкам надо приступать последовательно и рационально, иначе — болезненность фантазии и проистекающий отсюда вред. Катя, подойдите ко мне!

Она вынула из кармана мячик на резине и, щелкнув зубами, стала вертеть мячик и припевать: прыг, скок, туда, сюда, сверху, снизу, сбоку, прямо. Повторяйте за мной: прыг, скок... Ах, какой неразвитой ребенок!

Катя молчала и жалко улыбалась, чтобы не заплакать. Нянька уносила игрушки, и баран мэкнул в дверях.

— Обратите внимание на поверхность этого мяча. Что вы видите? Вы видите, что она двуцветна. Одна сторона голубая, другая белая. Укажите мне голубую. Старайтесь сосредоточиться.

Она ушла, протянув снова Кате руку.

— Завтра будем плести корзиночки!

Катя дрожала весь вечер и ничего не могла есть. Все думала про барана, но спросить про него боялась.

— Худо неживому! Ничего не может. Сказать не может, позвать не может. А она сказала: в-вон!

От этого ужасного слова вся душа ныла и холодела.

Вечером пришли бабы, угощались, шептались:

— А он ее, а она его...

И снова:

— В-вон! В-вон!

Проснулась Катя на рассвете от ужасного, небывалого страха и тоски. Точно позвал ее кто-то. Села, прислушалась.

— Мэ-э! Мэ-э!

Так жалобно, настойчиво баран зовет! Неживой зверь кричит.

Она спрыгнула с постели вся холодная, кулаки крепко к груди прижала, слушает. Вот опять:

— Мэ-э! Мэ-э!

Откуда-то из коридора. Он, значит, там...

Открыла дверь.

— Мэ-э!

Из кладовки.

Толкнулась туда. Не заперто. Рассвет мутный, тусклый, но видно уже все. Какие-то ящики, узлы.

— Мэ-э! Мэ-э!

У самого окна пятна темные копошились, и баран тут. Вот прыгнуло темное, ухватило его за голову, тянет.

— Мэ-э! Мэ-э!

А вот еще две, рвут бока, трещит шкурка.

— Крысы! Крысы! — вспомнила Катя нянькины ощеренные зубы. Задрожала вся, крепче кулаки прижала. А он больше не кричал. Его больше уже не было. Бесшумно таскала жирная крыса серые клочья, мягкие куски, трепала мочалку.

Катя забилась в постель, закрылась с головой, молчала и не плакала. Боялась, что нянька проснется, ощерится по-кошачьи и насмеется с лисьими бабами над шерстяной смертью неживого зверя.

Затихла вся, сжалась в комочек. Тихо будет жить, тихо, чтоб никто ничего не узнал.

Олень

Обещали повести в Зоологический сад еще осенью, да все тянули-тянули, а там и совсем забыли.

— Ужо весной, по зеленой травке, — говорила нянька.

Лелька сначала очень обижался. Все думал о зверях, строил им из стульев клетки и сам в них залезал, либо сажал толстую Бубу.

Потом и он забыл. Зима пошла интересная. У Бубы была корь, ездил новый доктор. Потом родился маленький. Потом открылась печка.

Это было, пожалуй, самое интересное и случилось так: стоял Лелька у круглой печки и смотрел в темную пыльную щель около стены, куда печка не доходила. Вдруг оттуда выбежал кто-то, кругленький, маленький, на тоненьких ножках. Побежал по стенке бойко, будто за делом. И вдруг остановился. Словно ключи забыл или что. Стоит. Лелька на него смотрит, а он думает.

Пришла нянька, сняла с ноги туфлю, шлепнула по кругленькому:

— Ишь, павок проклятый. Павка убить — сорок грехов простится.

А потом Лелька всунул голову в щель и много увидел хорошего. Мотались там пушистые комки пыли, висела черная, прокопченная паутина и бегали, шурша ножками, разные маленькие, пузатенькие и усатенькие.

Лелька покрошил им пряника и привел Бубу, чтоб та удивлялась. Но Буба не удивилась. Она испугалась, засопела носом и заплакала. И Лельке стало страшно. Они убежали, взявшись за руки, и больше никогда в щель не заглядывали. Но уже ничего нельзя было поделать. Печка была открыта, и стоило Лельке заснуть, как из нее вылезала всякая невидаль, нехорошая.

Вообще спать было страшно.

Укладывали рано — в восемь часов. Заставляли поворачиваться лицом к стене и закрывать глаза. Но Лелька глаз не закрывал.

Нянька долго прибиралась и бубнила себе под нос, вспоминая все дневные обиды.

— Рады со свету сжить! Ра-ады! В церкву не ходи, лба не перекрести... Статочное ли дело...

Бубнит, бубнит... А по стене бегают тени, зайцы, собаки и разные маленькие, пузатенькие, усатенькие.

Ждут, чтоб заснул, тогда прямо в сон прыгнут.

Потом объявился бакалавр.

Большие за обедом несколько раз повторили это слово. Буба спросила тетку, что это значит. Та ей ответила:

— Молчи и сиди смирно.

Лелька уже не смел спрашивать, а ночью во сне все объяснилось само собой.

Он вошел в большую пустую комнату, в которой уже несколько раз бывал во сне. Там стоял странный господин с длинным овечьим лицом, симпатичный и немножко сконфуженный. Он держал в руке распоротую подушку и ел из нее перья, выгребая полными горстями. Ясное дело, что это и был бакалавр.

На другой день, когда учительница заставляла повторить фразу: «Пчелы питаются медом», Лелька робко сказал: «А бакалавр — перьями и пухом».

Учительница посмотрела на него рассеянно и ничего не ответила, а Лелька подумал: «Молчит — значит ,правда».

С тех пор бакалавр стал постоянным гостем всех снов. Приходил на тоненьких ножках и угощал перьями. Было вкусно, если есть умеючи, полными горстями. А на Рождестве, когда Лелька заболел, так бакалавр и среди бела дня залезал к нему в кровать и воровал пух из подушки.

Хворал Лелька долго. Бубу к нему не пускали. Отделили его ото всех. Сидела одна нянька и рассказывала свою сказку. Она одну только и знала.

Сказка была очень страшная — про девочку Путю, которая двадцать лет не росла и говорить не умела. А ночью Путю подкараулили. Встала она из люльки, поднялась огромная, выше потолка, все поела, что в печке было, избу вымела, сделалась опять маленькой и спать легла. Понесла Путю мать в Почаев у угодников отмаливать. Пошла через мосточек, слышит голос: «Путю! Путю! Куда ты идэшь?» Говорил, ясное дело, черт, оттого и выговаривал не по-русски: по-чертовски говорят «идэшь» вместо «идешь». А Путя в ответ громким голосом: «До Поцаева!» — да шлеп в воду. Так и сгинула.

Страшно было.

И за печкой затихали. Слушали.

— До Поцаева! И шлеп в воду...

А на рассвете по стене маячила огромная тень. Это Путя мела избу.

Наконец выпустили в другие комнаты.

— Здравствуй, Буба!

Но мать остановила строго:

— Зачем сестрицу Бубой называешь? Ее зовут Сонечка. Ты теперь уж большой. Нехорошо.

Но Лелька посмотрел на сестрицу и не поверил.

У нее были пухлые, отвислые щеки, надутый рот и, словно пальцем притиснутый, задранный нос.

— А тогда она Буба! — заупрямился он.

Так по-старому и осталось.

От болезни Лелька ослаб и стал тихий. Бакалавр тоже запечалился. Приходил хромая и жаловался, что есть нечего.

За печкой тоже произошла история: насыпали сладкого (Буба лизнула) порошку, и днем стало тихо. Не шуршали, не шелестели. Нянька вымела гусиным пером дохлых тараканов. Зато по ночам стал кто-то всхлипывать из-за печки, из щелки, и тягучая тоска шла до самой Лелькиной кровати. Он лежал, закрыв глаза, и слушал.

Постом повели в Зоологический сад. Зеленой травки, однако, не было, и Лелька смутно тревожился. Так привык думать, что в Зоологический сад идут по ярко-зеленой полоске, веселой и смешной.

Поехали на извозчике, все вместе. Буба на коленях у матери, он у няньки. Прохожий мальчишка крикнул: «Мала куча!», и Лелька остро обиделся.

«Они, верно, тоже мучаются, — думал он про мать и няньку, — только не показывают».

Приехали, долго покупали какие-то билеты и толковали с важным человеком в зеленом поясе, который все знал, что в саду делается, и нарочно, из гордости, принимал равнодушный вид. Пошли.

Прежде всего увидели в клетке белку. Она грызла орех и притворилась, будто не видит гостей.

Лельке подумалось, что неприлично так остановиться и смотреть на чужую белку, и он отвернулся.

Видели за решеткой поганого человека с синим лицом, мохнатого. Он быстро моргал злыми глазами и протягивал узкую, бурую руку.

— Это человекообразная обезьяна, — сказала мать.

Лельку затошнило.

Из-за большой загородки пахнуло навозом. Там понуро стояли большие горбатые коровы... Им, верно, тоже было худо.

В маленьком квадратном прудочке купался какой-то нечеловек. Он нырял, выставлял из воды круглую усатую голову, мокрую, черную, громко кричал и нырял снова. Плыл под водой.

— А вот орел — царь птиц.

Костистая грязная птица в смешных штанах деловито ходила в своей клетке.

— Вон никак волки! — показала нянька.

Мать схватила детей за руки.

— Подальше! Еще как-нибудь вырвутся...

Это были самые страшные звери, свои, русские. И нянька засуетилась в коровьем страхе.

— Отойтить от греха!

Смотрели еще на какую-то гадину, придавленную круглой крышкой, из-под которой торчали только лапки с коготками. Бубе понравилось.

Лелька заскучал, отошел в сторону и увидел в пустой загородке одинокого зверя.

Зверь стоял прямо, сдвинув передние ножки и закинув голову, и смотрел вперед темными печальными глазами. Голова у него была мучительная. К ней сверху приросли две длинные сухие ветки, тяжелые и, казалось, сейчас расколют лоб пополам.

Зверь смотрел вдаль, на узкую розовую полоску, отделяющую в сумерки небо от земли. Смотрел как завороженный, тихо, недвижно, мучительно.

Кругом мокрый, оттаявший снег с черными проплешинами и запах земляной гнили. А он смотрит туда, на розовую полоску.

Лелька задрожал и вскрикнул.

Подошла мать.

— Олень. Млекопитающее, — сказала она. — Пора домой — ты весь посинел.

Дома Буба стала играть в Зоологический сад и представляла черепаху, ползая по дивану. Лелька не мог играть, сидел один и томился.

На другой день после обеда вынесли маленького в гостиную. Все собрались вокруг, улюлюкали. Лелька подошел тоже и, как все, щелкнул языком и сказал:

— У-лю-лю!

Приятно чувствовать свое превосходство. Могу, мол, говорить и по-настоящему, да ты не поймешь.

Послали в детскую за погремушкой. Лелька пошел.

В детской было тихо, особенно. Он никогда не видел эту комнату пустой, — там всегда спал, или кричал, или купался маленький. А теперь тихо.

Форточка была открыта и чуть-чуть постукивала. Тоскливо. Сумерки, как свет тающего снега, томили тоской. Что-то, чего не видно, притаилось здесь где-то и мучается.

— Олень! — вспомнил Лелька.

Он почувствовал, что олень здесь. Чувствует, словно видит. Рога длинные, ветвистые, давят и ломят голову, ножки сдвинуты, а глаза тоскуют на розовую полоску печального неба...

Лелька прибежал в гостиную без погремушки и ничего не ответил няньке.

На четвертой неделе поста водили в церковь исповедоваться. Лелька ничего не сказал священнику, а вернувшись домой, плакал.

Мать увидела, приласкала мельком.

— О чем, глупыш, убиваешься?

Он заторопился и, не глядя в глаза, тихо сказал:

— У меня есть одна тайна!

— Какая тайна? У детей от родителей не...

— Я боюсь оленя.

— Оленя? Что за вздор! Где же здесь олень?

— Там! — отвечал Лелька, показывая рукой в гостиную. Он чувствовал, что все равно, куда показывать. — Там.

— Какие глупости! — удивилась мать. — Как же мог олень залезть на четвертый этаж?

Она отстранила Лельку и встала.

— Олень четвероногое, млекопитающее.

И, уходя, прибавила:

— Очень полезное животное.

Лелька худел. Лицо у него стало острое, как у мыши. Сидел в углу и думал об олене. Как он стоит, сдвинув ножки, как сладко ему от муки и от розовой полоски.

Стал сам уходить в детскую, слушал, как хлопает форточка, дышал сумерками талого снега и ждал оленя. Чувствовал его, но видеть не мог.

— Чего ты такой? — спрашивали.

— Ху-удо мне! — тянул он весь день.

— Надо желудивым кофеем поить, — бубнила нянька. — У Корсаковых всех детей желудивым кофеем поили. Вот и были здоровы.

Три дня перед Пасхой все ходили сердитые. Мыли, чистили, попрекали друг друга, готовили.

В субботу вечером Лелька зашел в кухню. Там злая, красная кухарка поворачивала на плите какой-то кусок, который шипел и плевался.

Лелька юркнул на черную лестницу, подошел к раскрытому окну и взобрался на подоконник.

— Ах!

Тягучий запах гнилой земли, и белый сумрак, и там вдали розовая полоска, тусклая, но та самая. И та же самая сладкая тоска, как тогда у него, у оленя.

По лестнице поднимался рослый парень в белом переднике, с окороком ветчины на голове. Взглянул на Лельку и вошел в кухню.

— Самолучшей кухарочке самолучшие подарочки, — загудел и звякнул его голос, как медная посудина.

— Прилетела пава! — затянула кухарка. — Ни раньше, ни позже, а непременно, когда не нужно!

Лелька встал на колени и перегнулся вниз.

В ушах звенели радостные тихие колокольчики.

— Какетка! — звякал парень. — От самой давно панафидой пахнет! А туда же!

Зазвенели колокольчики, и ласковая печаль протянулась ближе.

— Олень! Аль-лень! Аль-лень!

— Это ваш мальчишка на лестнице на окно залез? — спрашивает парень.

Кухарка выглянула.

— Чего врешь? Никого тут нету.

— Ну нету так нету.

— И не было.

— Не было так не было.

Кухарка подошла к окну, провела ладонью по подоконнику.

— Место гладко. Ничего. Ну? Проваливай! Ишь? Лезут тоже... ни раньше, ни позже...

Троицын день

Кучер Трифон принес с вечера несколько охапок свежесрезанного душистого тростника и разбросал по комнатам.

Девочки визжали и прыгали, а мальчик Гриша ходил за Трифоном, серьезный и тихий, и уравнивал тростник, чтоб лежал гладко.

Вечером девочки побежали делать к завтрему букеты: в Троицын день полагается идти в церковь с цветами. Пошел и Гриша за сестрами.

— Ты чего! — крикнула Варя. — Ты мужчина, тебе никакого букета не надо.

— Сам-то ты букет! — поддразнила Катя-младшая.

Она всегда так дразнила. Повторит сказанное слово и прибавит: «сам-то ты». И никогда Гриша не придумал, как на это ответить, и обижался.

Он был самый маленький, некрасивый и вдобавок смешной, потому что из одного уха у него всегда торчал большой кусок ваты. У него часто болели уши, и тетка, заведовавшая в доме всеми болезнями, строго велела затыкать хоть одно ухо.

— Чтоб насквозь тебя через голову не продувало.

Девочки нарвали цветов, связали букеты и спрятали их под большой жасминовый куст, в густую траву, чтоб не завяли до завтра.

Гриша подойти не смел и приглядывался издали. Когда же они ушли, принялся за дело и сам. Крутил долго, и все ему казалось, что не будет прочно. Каждый стебелек привязывал к другому травинкой и обертывал листком. Вышел букет весь корявый и неладный. Но Гриша, точно того и добивался, осмотрел его деловито и спрятал под тот же куст.

Дома шли большие приготовления. У каждой двери прикрепили по березке, а мать с теткой говорили о каком-то помещике Катомилове, который завтра в первый раз приедет в гости.

Непривычная зелень в комнатах и помещик Катомилов, для которого решили заколоть цыплят, страшно встревожили Гришину душу. Ему чувствовалось, что началась какая-то новая страшная жизнь, с неведомыми опасностями.

Он осматривался, прислушивался и, вытащив из кармана курок от старого сломанного пистолета, решил припрятать его подальше. Вещица была очень ценная; девочки владели ею с самой Пасхи, ходили с нею в палисадник на охоту, долбили ею гнилые доски на балконе, курили ее как трубку, — да мало ли еще что, — пока не надоела и не перешла к Грише.

Теперь, в предчувствии тревожных событий, Гриша спрятал драгоценную штучку в передней, под плевальницу.

Вечером, перед сном, он вдруг забеспокоился о своем букете и побежал его проведать.

Так поздно, да еще один, он никогда в саду не бывал. Все было — не то что страшное, а не такое, как нужно. Белый столб, что на средней клумбе (его тоже удобно было колупать курком), подошел совсем близко к дому и чуть-чуть колыхался. Поперек дороги прыгал на лапках маленький камушек. Под жасминовым кустом было тоже неладно; ночью там росла, вместо зеленой, серая трава, и когда Гриша протянул руку, чтоб пощупать свой букет, что-то в глубине куста зашелестело, а рядом, у самой дорожки, засветилась огоньком маленькая спичечка.

Гриша подумал: «Ишь, кто-то уж поселился...»

И на цыпочках пошел домой.

— Там кто-то поселился, — сказал он сестрам.

— Сам-то ты поселился! — поддразнила Катя.

В детской к каждой кроватке нянька Агашка привязала по маленькой березке.

Гриша долго рассматривал, все ли березки одинаковые.

— Нет, моя самая маленькая. Значит, я умру.

Засыпая, вспомнил про свой курок и испугался, что не положил его на ночь под подушку и что мучится теперь курок один под плевальницей.

Тихонечко поплакал и заснул.

Утром подняли рано, причесали всех гладко и раскрахмалили вовсю. У Гриши новая рубашка пузырилась и жила сама по себе; Гриша мог бы в ней свободно повернуться, и она бы и не сворохнулась.

Девочки гремели ситцевыми платьями, твердыми и колкими, как бумага. Оттого что Троица, и нужно, чтоб все было новое и красивое.

Заглянул Гриша под плевальницу. Курок лежал тихо, но был меньше и тоньше, чем всегда.

— За одну ночь чужим стал! — упрекнул его Гриша и оставил пока что на том же месте.

По дороге в церковь мать посмотрела на Гришин букет, шепнула что-то тетке, и обе засмеялись. Гриша всю обедню думал, о чем тут можно смеяться. Рассматривал свой букет и не понимал. Букет был прочный, до конца службы не развалился, и когда стебли от Гришиной руки сделались совсем теплые и противные, он стал держать свой букет за головку большого тюльпана. Прочный был букет.

Мать и тетка крестились, подкатывая глаза, и шептались о помещике Катомилове, что нужно ему оставить цыпленка и на ужин, а то засидится — и закусить нечем.

Еще шептались о том, что деревенские девки накрали цветов из господского сада и надо Трифона прогнать, зачем не смотрит.

Гриша смотрел на девок, на их корявые, красные руки, держащие краденые левкои, и думал, как Бог будет их на том свете наказывать.

— Подлые, скажет, как вы смели воровать!

Дома снова разговоры о помещике Катомилове и пышные приготовления к приему.

Накрыли парадную скатерть, посреди стола поставили вазочку с цветами и коробку сардинок. Тетка начистила земляники и украсила блюдо зелеными листьями.

Гриша спросил, можно ли вынуть вату из уха. Казалось неприличным, чтобы при помещике Катомилове вата торчала. Но тетка не позволила.

Наконец гость подъехал к крыльцу. Так тихо и просто, что Гриша даже удивился. Он ждал невесть какого грохоту.

Повели к столу. Гриша стал в угол и наблюдал за гостем, чтобы вместе с ним пережить радостное удивление от парадной скатерти, цветов и сардинок.

Но гость был ловкая штука. Он и виду не показал, как на него все это подействовало. Сел, выпил рюмку водки и съел одну сардинку, а больше даже и не захотел, хотя мать и упрашивала.

— Небось меня никогда так не просит.

На цветы помещик даже и не взглянул.

Гриша вдруг понял: ясное дело, что помещик притворяется! В гостях все притворяются и играют, что им ничего не хочется.

Но, в общем, помещик Катомилов был хороший человек. Всех хвалил, смеялся и разговаривал весело даже с теткой. Тетка конфузилась и подгибала пальцы, чтобы не было видно, как ягодный сок въелся около ногтей.

Во время обеда под окном раздался гнусавый говорок нараспев.

— Нищий пришел! — сказала нянька Агашка, прислуживавшая за столом.

— Снеси ему кусок пирога! — велела мать.

Агашка понесла кусок на тарелке, а помещик Катомилов завернул пятак в бумажку (аккуратный был человек) и дал его Грише.

— Вот, молодой человек, отдайте нищему.

Гриша вышел на крыльцо. Там на ступеньках сидел старичок и выгребал пальцем капусту из пирога: корочку отламывал и прятал в мешок.

Старичок был весь сухенький и грязненький, особой деревенской, земляной грязью, сухенькой и непротивной.

Ел он языком и деснами, а губы только мешали, залезая туда же в рот.

Увидя Гришу, старичок стал креститься и шамкать что-то про Бога и благодетелей и вдов и сирот.

Грише показалось, что старик себя называет сиротой. Он немножко покраснел, засопел и сказал басом:

— Мы тоже сироты. У нас теткин маленький помер.

Нищий опять зашамкал, заморгал. Сесть бы с ним рядом да и заплакать.

— Добрые мы! — думал Гриша. — Как хорошо, что мы такие добрые! Всего ему дали! Пирога дали, пять копеек денег!

Так захотелось ему заплакать с тихою сладкою мукой. И не знал, как быть. Вся душа расширилась и ждала.

Он повернулся, пошел в переднюю, оторвал клочок от покрывавшей стол старой газеты, вытащил свой курок, завернул его в бумажку и побежал к нищему.

— Вот, это тоже вам! — сказал он, весь дрожа и задыхаясь.

Потом пошел в сад и долго сидел один, бледный, с круглыми, остановившимися глазами.

Вечером прислуга и дети собрались на обычном месте у погреба, где качели.

Девочки громко кричали и играли в помещика Катомилова.

Варя была помещиком, Катя — остальным человечеством.

Помещик ехал на качельной доске, упираясь в землю тонкими ногами в клетчатых чулках, и дико вопил, махая над головой липовой веткой.

На земле проведена была черта, и, как только помещик переходил ее клетчатыми ногами, человечество бросалось на него и с победным криком отталкивало доску назад.

Гриша сидел у погреба на скамеечке с кухаркой, Трифоном и нянькой Агашкой. На голове у него, по случаю сырости, был надет чепчик, делавший лицо уютным и печальным.

Разговор шел про помещика Катомилова.

— Очень ему нужно! — говорила кухарка. — Очень его нашими ягодами рассыропишь!

— Шардинки в городу покупала, — вставила Агашка.

— Очень ему нужно! Поел да и был таков! Бабе за тридцать, а туда же, приваживать!

Агашка нагнулась к Грише.

— Ну, чего сидишь, старичок? Шел бы к сестрицам поиграл. Сидит, сидит как кукса!

— Очень ему нужно, — тянула кухарка моток своей мысли, длинный и весь одинаковый. — Он и не подумал...

— Няня Агаша! — вдруг весь забеспокоился Гриша. — Кто все отдает бедному, несчастному, тот святой? Тот святой?

— Святой, святой, — скороговоркой ответила Агашка.

— И не подумал, чтоб вечерок посидеть. Поел, попил, да и прощайте!

— Помещик Катомилов! — визжит Катя, толкая качель.

Гриша сидит весь тихий и бледный.

Одутлые щеки слегка свисают, перетянутые тесемкой чепчика. Круглые глаза напряженно и открыто смотрят прямо в небо.

Крепостная душа

Старая нянька помирала уже десятый год в усадьбе помещиков Двучасовых.

На сей предмет в летнее время предоставлялась в ее распоряжение маленькая деревянная кухонька при молочной, где творог парили, а зимой, когда господа уезжали в город, нянька перебиралась в коридор и помирала в углу, за шкапом, на собственном сундуке, вплоть до весны.

Весной выбирался сухой солнечный день, протягивалась в березняке веревка, и нянька проветривала свою смертную одежу: полотняную зажелкшую рубаху, вышитые туфли, голубой поясок, тканый заупокойною молитвой, и кипарисовый крестик.

Этот весенний денек бывал для няньки самым интересным за целый год. Она отмахивала прутом мошкару, чтобы не села на смертную одежу, и говорила сама с собой, какие бывают сухие кладбища, какие сырые, и какие нужно покойнику башмаки надевать, чтобы по ночам половицы не скрипели.

Прислуга хихикала:

— Смотри, нянюшка, рубаху-то! Пожалуй, больше двадцати лет не продержится! А? Придется новую шить! А?

Зимой оставалась она одна-одинешенька в пустом, гулком доме, сидела целый день в темном углу, за шкапом, а вечером выползала в кухню, с бабой-караулкой чаю попить.

Придет, сядет и начинает с полфразы длинный бестолковый рассказ. Баба-караулка сначала долго добивается понять, в чем дело, потом плюнет и успокоится.

— ... К старухиной невестке, — шамкает нянька, напруживая губы, чтобы не вывалился засунутый в рот крошечный огрызок сахару. — И говорит: «Каравай печь хочу, пусть Матрена кардамону даст». А какой у меня кардамон? Я говорю: «Измывайтесь над кем другим, а Матрену оставьте в покое». Прикусила язык!

— Да про кого вы, нянюшка, а? — допытывается баба.

Но нянька не слышит.

— Чего бояться? Лампадку зажгла, на молитву встала, во все углы поклонилась: «Батюшка-душегуб, на молитве не тронь, а потом уж твоя святая волюшка». Он меня и не тронет.

— Это у душегуба волюшка-то святая? — удивляется баба. — И чего только не наплетут старухи.

— Таракан, вон, за мной ходит: шу-шу-шу!... И чего ходит? Позапрошлой ночью, слышу, половица в диванной скрып-скрып. Лежу, сплю не сплю, одним глазком все вижу. Приходит барин-покойник, сердитый-сердитый, туфлями шлепает. Прошел в столовую часы заводить: тырр... тырр... Стрелки пальчиком равняет. Куда, думаю, теперь пойдет? А он туфлями шлепает, сердитый. «Нехорошо, — говорит, — нехорошо!» И ушел опять через диванную, видно, к себе в кабинет. А таракан мне около уха: шу-шу-шу... Ладно! Не шукай. Сама все слышала.

— Ой, и что это вы, нянюшка, к ночи такое... Рази и вправду приходил барин-то?

— Не верят! Нынешние люди ничему не верят. Привезли из Питера лакея, а он нож востреём кверху положил... «Это, — я говорю, — ты что, мерзавец, делаешь? Да ты знаешь, что ты нечистину радость строишь?» А он как заржет! Ничему нонеча не верят. А старый барин отчего помер? Я им сразу сказала.

Привезли к детям немку. Я это в комнату вхожу, смотрю, — а немка какие-то иголки просыпала да и подби-

рает. «Это говорю ты что тут делаешь?» А у ей лицо нехорошее, и какое-то слово мне такое нерусское говорит. Я тогда же к барыне пошла и все рассказала, и про нерусское слово, и про все. А барыня только смеется. Ну, и что же? Через два дня старый барин и захворай. Колет его со всех сторон. Я-то знаю, что его колет. Говорю барыне: «Стребуйте с немки ейные иголки, да в купоросе их растворите, да дайте вы этого купоросу барину выпить, так у него все колотье наружу иголками вылезет». Нет, не поверила. Вот и помер. Рази господа поверят? Сколько их видела, — все такие. Стану их личики вспоминать, так, может, рож пятьсот вспомню, — и все такие.

Налей еще чайку-то!

Ишь, таракан по столу бежит. Был у наших господ повар, хороший, дорого за него барин заплатил, — готового купил, так повар этот такой был злющий, что нарочно нам в пироги тараканов запекал. Плачем, а сказать не смеем, потому барин его очень любил. Вот, говеем на Страшной, скоро Пасха, — думаем, напечет он нам куличей с тараканами. Плачем. Пошли на исповедь, а одна наша девка и скажи попу, на духу, про повара-то. Пошел и повар к исповеди. Выходит от попа, а на нем лица нет. Серый весь и дрожит. Нам ни слова не сказал, куличи спек, все хорошо, а на утреню и пропал. Искали-искали, как в воду канул. Сели разговляться, священный кулич взрезали, ан в ем поваров мертвый палец! Вот те и тараканы!.. Налей чайку!

...Платочек вышивали два года; четыре кружевницы иголочками плели, кажная свой уголок. Барыня наша к Государыне пресмыкнуться должна была, так вот, платочек в подарок, чтоб дочку ейную в институт взяли. Ну, и взяли. Барыня толковая была. Никогда девку по правой руке не ударит. Потому все мы у ей кружевницы были. Ну, а левую руку всю, бывало, исщиплет; у каждой левая ручка, как ситчик, рябенькая. А и все девки кособокие были. С пяти лет за пяльцы сажали, — правое плечо вверх, а левое — вниз, левой рукой снизу иголку подтыкиваешь.

Старый барин сурьезный был человек. Тихо сидел, гарусом туфли вышивал. И барыне вышил, и тетеньке, и всякой родне. А барышня институт кончила, — он ей целые ширмы

вышил. Серьезный был. А барчук шутить любил. Приехал из полка, выволок Стешку ночью за косу в столовую и кричит: «Пой мне, красавица, волжские песни». Стешка-то о двенадцатом годку была, дура, испугалась, да бряк об пол. Два дня в себя не приходила. Что смеху-то было. Хю-хю! Шутник. А как стали у меня глаза болеть, отдала меня барыня барчуковой жене в няньки. Хорошая была барчукова-то жена. Нежная. Все на цыпочках ходила, как ангел! Тоненькая. Людмила Петровна.

А сам-то уж очень людей обижал. Зверь был. Как бить начнет, сам весь зайдется.

А к барыне ейный родственничек ходил. Тихоня такой. Все что-то вместе плачут. И письма ей писал. Письма-то она мне прятать давала, потому я неграмотная, сама не прочту и людям не покажу. Доверяла мне.

Очень ее все любили. Одна наша заступница была. Бывало, за каждого последнего мужика у зверя в ногах валяется. Очень любили.

Вот раз собрался барин вечером в гости. А кучер, Наум был, и говорит мне: «Смотри, нянька, я не я буду, коли сегодня десять целковых не заработаю». Поехали. К барыне тихоня пришел. Сидят в столовой, плачут. А кучер Наум барину-то и скажи: «Нам бы, барин, теперь домой вернуться, посмотреть бы, как у нас вечера справляются». Вернулся барин, зверь-зверем. Посуду всю перебил, а сам-то тихоня убежать успел. Слышу я из детской, как барин раскомаривает. Ну, думаю, — знать, пришло наше время покаянное. Выждала, чтобы поуспокоился, взяла барынины письма, побежала к барину, да и в ноги. Так, мол, и так. Супротив барина моего я, мол, не потатчица. И-и, Господи! Что тут было! Барыня-то, ангел-то наш, и году не протянула. Очень он ее письмами-то этими донимал. А кучеру Науму лоб забрил. Что смеху-то было, хю-хю-хю! Вот те и десять целковых.

Померла моя барыня, светлая ты моя Людмила Петровна, заступница. Верно, и в рай-то вошла на цыпочках. Вот, помру я теперь, оденут тело мое в одежу смертную, положат в могилку на кладбище, а сама я в рай пойду, и встретит меня там моя барыня нежная, и перед Богом заступится. «Вот, — скажет, — Господи, пришла нянька Матрена, верная

моя раба, крепостная душа, преданная. Дай ты ей, Господи, местишко под пазушкой, чтобы душенька ейная в тепле распарилась, в довольствии накуражилась! Аминь!»

Старухи

(В. М. Дорошевичу)

В маленьких захолустных городках всегда есть несколько боковых глухих улочек, ведущих либо к реке, либо к городскому выгону, либо к какому-нибудь заброшенному заводу. Улицы эти живут всегда своей отдельной жизнью.

В центре города, на какой-нибудь Большой Дворянской или Малой Московской, давно уже фельдшер ездит на велосипеде, а жена следователя перетянула ноги жгутом и ходит, как лошадь, выпущенная в ночное без пастуха, — словом, вкушают от плодов культуры всем ртом; на боковой же улочке, немощеной и поросшей по краям травой, пасется корова, и заботливый пастух кормит своих кур чем Бог послал прямо на тротуаре

Домики на таких улицах — деревянные, в три окошечка, с сенцами и калиткой.

Климат у них тоже свой, особенный. Когда в центре города уже объявлена весна, и даже камни мостовой успели просохнуть — здесь еще лежит снег, и мальчишки катаются на саночках.

Вдова земского начальника Анна Михайловна Сивачева, прозванная для удобства и краткости просто «начальницей», жила именно на такой улочке в городке Сосновичах в собственном домике.

Домик был хотя и собственный, но тем не менее гнилой и старый. Но Сивачева этим обстоятельством не огорчалась, так как в домике жило только ее неприхотливое туловище. Голова же, завернутая в платок, так что видна была только передняя папильотка, весь день торчала в открытом окошке.

Жизнь на улице была очень интересна. По утрам видно было, как Фогельшина кухарка идет с базара. Вечером ме-

щанин Кошкин бил свою жену. По воскресеньям проезжал на извозчике пьяный клубный музыкант со скрипкой. А раз как-то была совсем уже редкая и интересная картина, какую не каждому доведется увидеть: Маньку Кошкину бодала безрогая акушеркина корова. Бодала прямо лбом.

Но больше всего интересовали начальницу собаки.

— Ты куда бежишь? — спрашивала она какую-нибудь пеструю дворняжку. — А? Ты уже два раза тут пробегала. Разве можно так много бегать? Хи-хи!

Она говорила с собаками кокетливо и жеманно, как говорят с хорошеньким, нарядным ребенком, желая понравиться его родителям.

— А ты куда? Ну, зачем ты лазала под забор? Хи-хи! Ай как нехорошо!

Собак в Сосновичах было много, и начальница за день наговаривалась с ними до хрипоты.

Были у начальницы и кошки — в количестве неопределенном, потому что приходили и уходили, когда им вздумается.

— И что это, быдто эта рябая и не наша! — удивлялась начальницына Фекла. — Быдто и не наша, а молоко локчет!

— Ну, и пусть не наша! А тебе уж жалко! Жадничаешь! Над голодным зверем куражишься! — заступалась начальница.

Кошки спали в сенцах, рядом с собаками, и собаки, от старости и немощи изменившие природным инстинктам, не трогали их.

Если кошка ночью выходила погулять, начальница сама отворяла ей дверь и освещала дорогу фонариком, чтобы кошка не стукнулась.

Отдавая себя на служение собакам и кошкам, начальница раз в году, а именно в первый день Пасхи, вспоминала, что она не кто-нибудь, а вдова воинского начальника, почтенная дама, воспитанная в пансионе де Газель.

С самого утра она снимала свою заветную папильотку (единственный раз в году), взбивала на лбу челку и доставала из сундука зеленое шелковое платье, пахнущее пачулями и нюхательным табаком.

Фекла, подавленная великолепием барыни, молча оправляла на ней платье.

— Женщина моего круга должна поддерживать свои знакомства и связи, — сухо говорила начальница сама себе в зеркало.

Знакомство у нее было только одно — с Ольгой Петровной Фогель, или, как она говорила, «с этой дурой Фогельшей».

Связей же не было никаких, если не считать одной мимолетной, бывшей лет сорок тому назад, с доктором Веревкиным, перед которым никто, буквально никто устоять не мог, а эта дура Фогельша настолько потеряла стыд и совесть в своем увлечении, что даже покойному Фогелю (умный был человек) пришлось ее поколотить.

Начальница подкалывает юбку и идет, шурша шелками, через сенцы мимо изумленных собак прямо на улицу.

Фогельша жила наискось, домов через шесть. Она была старая и одинокая и почти глухая. Дом у нее был большой, гостиная с бархатным ковром и вязаными салфеточками.

Сама Фогельша, толстая, красная и сердитая, сидела в пестром капоте с малиновым бантом. Начальница думала, что она носит этот бант потому, что до сих пор воображает, будто доктор Веревкин был влюблен только в нее одну. И хотя начальница знала, что это сущий вздор, и что доктор Веревкин, наверно, в душе насмехался над Фогельшей, тем не менее бант этот раздражал ее.

На Пасху у Фогельши бывал гость, кругленький седой старичок, такой румяный, будто ему щечки морковкой натерли. Глаза у него были кроткие и веселые.

— Здравствуйте, Анна Михайловна, голубушка! Спасибо, что пришли... Воистину воскрес! — встречала хозяйка начальницу. — А то вот этот франт сидит тут три часа и бурчит себе что-то под нос. И что это они все нынче говорить разучились, что ли? Отчего же прежде-то все умели? Ума не приложу.

— Ольга Петровна, хе-хе, все нервничают, хе-хе! Капризная, хе-хе, дамочка, — кротко веселился старичок.

— Ну вот, сами слышите. Ну, можно ли тут хоть одно слово разобрать! Бурчит, да и только.

— Я Ольге Петровне изволил рассказать один анекдотик, а оне не могут, хе-хе, понять соли.

— Слышите, слышите! Ей-богу, и смешно, и досадно! Уж ушел бы лучше, коли говорить не умеет.

Старичок, который, по-видимому, тоже не все слышал, что ему говорят, долго кротко шутил и смеялся.

После его ухода хозяйка вздохнула:

— Какие они неинтересные пошли, эти нынешние. Нет, в наше время не такие люди были. Помните, Анна Михайловна, доктора Веревкина?

Начальница пожевала губами и сказала почти громко:

— Ах ты, толстая дурища!

Но та все равно не слышала.

— Анна Михайловна, я вас все собираюсь спросить, — вдруг заволновалась она, — помните, исправник Федор Нилыч пикник-то устраивал? А? Так вот я не могу никак вспомнить, с кем тогда доктор Веревкин в своей таратаечке поехал? А? Вы помните? Доктор Веревкин?...

Анна Михайловна молча поджала губы.

— Ну, голубушка, — задыхалась хозяйка, — ну, неужели же вы не помните?

Лицо у нее все словно повисло и обмякло, а глаза стали жалкие и жадные.

Начальница понимала, что она прекрасно помнит, что доктор Веревкин поехал именно с ней, с дурой Фогельшей, и понимала, что Фогельше хочется услышать это от нее, чтобы ее унизить, так как доктор Веревкин и за ней ухаживал.

Губы у нее задрожали, и, гордо подняв голову, она ответила презрительно:

— Да с вами же, Ольга Петровна! Конечно же, с вами, но неужели же вы придаете этому такое значение? Хи-хи!

Та вся сразу залучилась мелкими самодовольными морщинками:

— Ах да, ведь правда, со мной! А я и забыла. Теперь припоминаю...

Но начальница больше уже не могла слушать, как Фогельша «воображает».

Она наскоро попрощалась и пошла домой.

Платье уже не шуршало гордо и радостно — отсырело, что ли.

Собаки в сенцах завиляли хвостами, и лица у них, после Фогельшиной морды, казались родными и добрыми.

Заяц

Четыре месяца подряд бегала баба Матрена из деревни Савелки каждое воскресенье к барыне Кокиной за расчетом. Барыня Кокина сама к Матрене не выходила, а присылала через прислугу сказать, что, мол, нынче заняты, блины кушают, либо книжку читают, либо занездоровили, и пусть Матрена как-нибудь ужо зайдет.

Матрена грелась на кокинской кухне, кланялась в сторону двери, за которой предполагала барынино местопребывание, и говорила:

— Да уж ладно, уж что ж тут, уж чего ж тут, да рази я что? Я ведь ничего.

Потом бежала десять верст домой по шоссейной дороге, либо по боковой тропочке, мимо телеграфных столбов. Проволока гудела зловеще и тоскливо, Матрена отплевывалась.

— Гуди, гуди на свою голову.

И говорила сама с собой про барыню Кокину:

— Барыня, слова нет, добрая. Другая бы как ни на есть излаяла, а энта добрая. Пусть, говорит, Матрена ужо зайдет. Ужо, значит, зайду, ужо, значит, и деньги заплатит. Добрая барыня, слова нет.

Четыре месяца ходила Матрена, на пятый месяц Матрене пофартило. Поручила ей попадья картошку в город свести и лошадь дала. Покатила Матрена. Картошку отвезла, заехала к барыне Кокиной, а та вдруг сама в кухню вышла и все деньги Матрене выплатила. И за стирку, и за огороды, и за то, что полы мыла, — все сосчитала и пятнадцать рублей отвалила золотом, так и звякнуло. Матрена даже испугалась.

— Да что же это, — говорит, — да чего же это... Да рази я что? Я ведь ничего.

И когда барыня ушла, долго кланялась ей вслед, а потом заехала в лавку, купила чаю, сахару, обнов и гостинцев ровно на пять рублей, а большой золотой, десятирублевый, завязала в узелок, сунула за пазуху и поехала домой.

Загудели столбы про что-то свое, про нестрашное, попадьина лошадка потрюхивает, на грачей пофыркивает, а Матрена едет да считает, не надул ли ее лавочник. То выйдет, что две копейки передал, — и тогда Матрена, лукаво подмиг-

нув, почмокивала на лошадку; то выйдет, что обсчитал он ее не то на копейку, не то на три, — тогда она озабоченно покачивала головой и чесала пальцем за ухом, сколько можно было достать под платком.

На второй версте смотрит — у столба лежит кулек какой-то ушастый.

— Батюшки! Никак находка!

Вылезла из саней, зашагала. Подошла уж совсем близко и тогда рассмотрела, что кулек-то — вовсе не кулек, а живой заяц. Сидит тихо, смотрит, только мордочка чуть трясется.

— Чего ж это ты сидишь-то? Наваждение египетское! — удивилась Матрена.

Шевельнулся заяц чуть-чуть, а не уходит. Подняла его Матрена, смотрит — одна лапа красная, подстреленная.

— Несчастный ты!

Потащила зайца в сани. Заяц был тяжелый, и сердце у него так шибко стучало, что даже нос дрожал.

— Ишь ты! — удивлялась Матрена. — Зверь малый, а душа как и ни у коровы, — все понимает.

Обтерла снегом зайцеву лапу, перевязала тем самым платком, где в узелке золотой закручен был, усадила зайца в сани, рогожкой прикрыла.

— Сиди уж, коли Бог убил. Грейся! Чего уж тут! Рази я что? Я ведь ничего.

Говорила с зайцем, как с деревенским дурачком Гринюшкой, — громко и толково, чтоб лучше понимал.

Тронула вожжи, чмокнула. Теперь уже не было тяжелых сомнений насчет лавочникова обсчета. Теперь мысли были самые приятные. Все про зайца. Как будет заяц под лавкой жить, или у печки; у печки теплее, только чтоб под ногами не путался.

— Вот поправится, будет Петрунька с ним играть. Петрунь, ты чего животную мучаешь? Ты не смотри, что он мал! Он-то мал, да душа-то у него, может, как и ни у коровы, — все понимает! Ишь, сидит! Быдто человек. Васька! А, Васька! Застудился ты, что ли?

Заяц ехал чинно, в беседу не вступал, чуть-чуть пошевеливал ушами, будто слушал, что столбы гудят. Один разок вытянул морду, понюхал рогожку и снова притих.

— Ну и Васька! — удивлялась Матрена. — Все понимает!

Попадьина лошадка мирно потрюхивала все как-то больше вверх, чем вперед, и долго Матрена говорила сама с собой про зайца и с зайцем про самое себя, как вдруг на повороте метнулось что-то быстрое сбоку да в канаву, да мимо столбов.

— Что такое?

Вот из-за бугорка снежного выскочили какие-то будто две палочки, спрятались, потом подальше опять выскочили. Словно кто зарыл руку в снег и показывает оттуда только два пальца то тут, то там.

Обернулась Матрена, а зайца-то и нет.

Выпрыгнула из саней кубарем, бежит, хлюпает по талому снегу.

— Куды! Куды! Стой!

А он дальше прыг да прыг. Вот мелькнула красная тряпица на больной лапе. Вспомнила Матрена про деньги, даже затряслась вся.

— Васинька! Голубчик ты мой! Деньги-то отдай! Деньги отдай! Андел Божий! Ведь десять рублей! Де-ся-ать!

Заяц приостановился, пошевелил ушками, словно ножницами постриг, и поскакал дальше.

— Милостивец, — надрывалась Матрена. — Иди себе с Богом, деньги только отдай! Кормилец!

Добежала до самого леса, тут заяц пропал, а Матрена провалилась в снег по колена.

— Корми-илец! — голосила она зайцу вслед. — Голубчик ты мой ласковый, свеча негасимая! И на кого-о ты на-ас... Чтоб те под первым кустом лопнуть!

Еле выбралась на дорогу.

Лошадь стояла какая-то сконфуженная, нюхала снег. Кулька с обновками и гостинцами в санках не оказалось, моталась одна рогожка.

Далеко за поворотом подымался в гору кто-то в розвальнях, и видно было, как он часто оборачивается и хлещет кнутом лошаденку, а та, как попадьина лошадка, скачет вверх, торопится.

Поднялась со столба ворона, замахалась черной тряпкой по серому небу и громко все одобрила:

— Та-ак! Та-ак!

Повернула к лесу, заспешила, вести понесла.

— Та-ак! Та-ак!

Аптечка

Когда умер воинский начальник, печальная вдова его, Степанида Павловна, с верной кухаркой Федосьей переехала в маленькую усадебку и стала там жить, «пока что».

Казалось чем-то нелепым, чтобы так все и кончилось, и Степанида Павловна все ждала каких-то событий, которые не сегодня-завтра перевернут ее жизнь.

Для этого чего-то неизвестного и важного она по воскресеньям взбивала на лбу волосы, варила особое варенье с миндалем и апельсиными корками, вышивала гарусом подушку и посадила в палисаднике розовый левкой.

Но варенье с миндалем уже давно засахарилось, подушка была готова, а событий все не было.

С розовым левкоем случилось совсем неприятное приключение. Заборчик, окружающий палисадник, был старый, гнилой и обвалившийся, и вот как-то под вечер подошла к нему корова, ткнула боком, пролезла и на глазах у оторопевшей Федосьи слопала барынин левкой.

Степанида Павловна загрустила. Сгоряча хотела было прогнать Федосью, продать корову и починить забор, но сил хватило только на тихую и скорбную ненависть к корове, так что целую неделю пила Степанида Павловна чай без молока.

А по ночам снился ей загубленный левкой. Будто вырос он высокий, пышный, даже с большой дороги видно было, и проезжие спрашивали:

— И что это за красота такая? И какая это помещица так весело живет?

Раз как-то случилось что-то вроде события. Вечером, часов в десять, когда Степанида Павловна уже укладывалась спать, зазвенели колокольчики, сначала по большой дороге, потом все ближе, ближе. Повернул кто-то, видно, прямо к усадьбе.

Вскочила Степанида Павловна — и верит, и не верит. А тут бежит из кухни Федосья, кричит как оголтелая:

— Едет! Едет!

— Господи, да кто же это? — в радостном испуге заметалась Степанида Павловна. — Беги скорей, ворота открой! Господи, вот не ждали, не гадали!

Взбивает на лбу волосы, — успеть бы только! Все-таки приличнее. Пусть видят, что хоть и в деревне живет, а не опустилась.

Но вернулась Федосья уже не радостно-взволнованная, а степенная и насмешливая.

— Нечего вам наряжаться-то. Так вот к нам сейчас гости и поедут! Только им и дела, что к нам по ночам ездить.

И рассказала сконфуженной барыне, что ехал по дороге пьяный становой на пьяном ямщике, а тройка, — может, тоже пьяная была, — сама собой в усадьбу завернула.

Степанида Павловна долго не могла забыть ночной тревоги, потому что часто слышала через растворенное окно в кухню, как Федосья сама себе про нее рассказывает.

— На пьяном ямщике пьяный становой, и оба храпят. А наша-то прифрантилась, приголандрилась, гостей встречать бежит. И грех, и смех!

В трех верстах от усадьбы сползла к реке маленькая деревушка, совсем захудалая, серая и корявая. Мужики из деревушки все ушли на чугунку, и мыкались в ней одни бабы с ребятами.

Скотины числилось на всю деревню одна лошадь с каким-то небывалым коровьим телосложением: костлявая и пузатая. Когда влезал ей на спину хозяин, косой парень Вавила, ноги у лошади расползались в разные стороны, и брюхо почти что волочилось по дороге.

Земля у деревни была какая-то «рассыпущая» и ничего, кроме картошки, рожать не соглашалась. Картошку эту собирали не просто, а почему-то все крали друг у друга: Дарья ночью выкопает мерку у Марьи, в следующую ночь Марья у Феклы, а там, смотришь, — Фекла у Дарьи. Получался какой-то особый севооборот.

Но Фекла была баба дошлая и сумела втереться в доверие к барыниной Федосье, благодаря чему ходила в усадьбу огороды копать и постирушку стирать.

Вечером Федосья поила ее чаем и слушала необычайную и потрясающую повесть, единственную озарившую ярким светом серую жизнь Феклы. Дело было лет шесть назад и заключалось вот в чем: посадила Фекла репу, а выросла редька. Набрала в рот семян, поплевала, как полагается, и вдруг выросла редька.

— И так это, милая моя, хорошо поплевала, так это в охотку поплевала-то, и вдруг те на: редька, редька, редька!

Здесь Фекла понижала голос до жуткого, свистящего шепота, и мистический ужас расширял ее глаза:

— Редька!

Фекла была такая худая, тощая и страшная, что на нее и так смотреть было жутко, а тут еще такой рассказ! Федосья только руками разводила:

— Святой Никола, великомученицы!

Шла в комнаты, рассказывала барыне, и та каждый раз слушала с интересом и предлагала все те же вопросы, рада была хоть что-нибудь послушать. Хоть и старая новость, а все-таки новость.

Но потом, когда Федосья уходила, Степанида Павловна долго сама на себя дулась за эти беседы с простой бабой.

— Этак можно совсем опуститься.

Пробовала она одно время немножко развить Федосью, «поднять ее уровень». С этой целью пошла она сама в кухню и прочла Федосье вслух главу из «Анны Карениной».

Федосья слушала, не перебивала и молча икала. А когда барыня закрыла книгу, вдруг сказала:

— А вот такие тоже, когда я еще в Луге жила, купчиху одну зарезали, а у работника у ейного язык вырезали.

Что значило это умозаключение, — Степанида Павловна так и не добилась. Но больше Федосьин уровень уже не тревожила.

Индивидуальность у Федосьи была сильная, никакой обработке не поддавалась, а, напротив, мало-помалу подчиняла себе самое Степаниду Павловну, и та, возмущаясь Федосьиной некультурностью, незаметно для себя стала сама говорить: «нонеча», «давеча», «рыбина», «окромя» и «приголандриться».

События же так и не случалось.

И вот как-то осенью, когда заплакали оконные стекла и застучали в рамы черные ветки, пошла Степанида Павловна в свою комнатку, порылась в сундуке и вынула белые атласные туфли, в которых плясала мазурку еще с женихом своим, бравым в те поры офицером.

Полюбовалась на туфли, попробовала примерить, да не тут-то было. Туфля была узенькая, нежная, а нога распухшая, в шерстяном чулке Федосьиной вязки. Вот так значит было, как

эта атласная туфелька, а так стало, как эта толстая нога, и уж ничего не вернешь, и никак эту ногу с туфлей не соединишь.

Капут!

«Отрекусь я от этого всего, — думала Степанида Павловна про туфлю. — Отрекусь и буду жить для других».

И она отреклась от туфли и спрятала ее в комод поглубже, под мундир покойного мужа. А как жить для других, придумать не могла. Но тут выручил случай.

Поехала она в город за покупками. Зашла в аптекарский магазин шафрану для булок взять, вдруг видит — стоит на прилавке какой-то аккуратный ящичек.

— Это у нас домашняя аптечка. Новость. Для деревни незаменимо. Можете сами лечить, тут и руководство приложено.

Степанида Павловна купила аптечку и всю дорогу думала, как она всех окрестных крестьян на ноги поставит.

— Благодетельница наша! — скажут они и будут розовые, здоровые.

А она будет жить для других. Чуть что — сейчас накапает лекарства и спасет погибающего.

— Чего это Фекла такая худая? — в тот же вечер спросила она у Федосьи. — Больная, что ли?

— Не ест ничего, вот и худая. Кабы ела, так и не была бы худая.

— Ну, как же это можно ничего не есть! — возмутилась барыня. — Пошли ее завтра утром ко мне.

Она открыла приложенное к аптечке руководство и стала искать.

— «Тошнота, отсутствие аппетита, Arsenicum». Как жизнь полна, когда живешь для других!

На следующее утро она заботливо расспрашивала Феклу:

— И что же, голубушка, и тошнит тебя тоже?

— И тошнит! — вяло отвечала Фекла.

— Ну, вот тебе капли. На рюмку воды три капли, четыре раза в день. Увидишь, как поправишься. Уж я тебе помогу, уж я тебя не оставлю!

— Помоги, родная, помоги, андел наш. Уж Бог тебя не оставит.

— Ну что, как Фекла? — спрашивала барыня у Федосьи дня через два. — Ест?

— Нет, что-то не слыхать, чтобы ела.

— Это ужасно! — горевала Степанида Павловна. — Как же можно не есть! Человек рабочий должен есть. Позови ее ко мне.

Пришла Фекла, подперла щеку, заморгала глазами.

— Ну что, ела ты вчера что-нибудь?

— Вчерась-то? А так, корочку пожевала.

— Это за весь день?!. Ну, милая моя, так недолго и ноги протянуть. Тебе нужно яйца есть, бульон, что-нибудь питательное. Нельзя к своему здоровью так халатно относиться. Ты — человек рабочий. Хорошо, что я могу помочь, но не вечно же я буду с вами, — я не бессмертна.

И она дала Фекле новую порцию Arsenicum.

— Ну, как Фекла? — спрашивала она снова у Федосьи. — Неужели до сих пор нет у нее аппетита? Пусть попробует делать моцион перед обедом. Жалко бабу. Пришли ее ко мне, я ей еще капель дам.

Пришла Фекла.

— Ну что, Фекла? Неужели тебе совсем есть не хочется?

— Это мне-то? — вяло спросила Фекла. — Мне-то не хочется? Х-хы!

— Так чего же ты не ешь, чудак ты эдакий! Аппетит, слава Богу, вернулся, а она не ест! Ешь скорее!

— Это я-то? А что же я буду есть?

— Да все, что хочешь, только, конечно, не тяжелое…

— Не чижолое? А какое же я такое не чижолое есть стану, когда хлеба нетути, а восоркинские ребята и всю картошку покрали? Я думала, ты мне своей водой хоть кишку стянешь, а оно еще пуще на еду погнуло. Ты мне лучше ее и не давай. Очень благодарим, а только лучше не давай.

Степанида Павловна дрожащими руками перебирала скляночки своей аптечки.

Неужели и от этого отречься? Как же так? Служение ближнему — самое святое дело! Чем же она виновата, что эта баба такая бестолковая.

Скляночки были гладенькие, аккуратненькие, с ярлычками, весь ящичек такой уютный, что отречься от него никак нельзя было. Невозможно и бессмысленно. Лучше просто прогнать Феклу, чтобы не смела в усадьбу шляться.

— Дура неблагодарная!

Дедушка Леонтий

Перед обедом дети заглянули на террасу и — сразу назад: на террасе сидел кто-то.

Сидел маленький, серенький, седенький, мохрастый, вертел вострым носиком и ежился.

— Кто такой?

— Спросим у Эльвиркарны.

Эльвира Карловна возилась с банками в буфетной комнате, сердилась на грушевое варенье, что оно скисло и шипело.

— Кто такой? Дедушка ваш! Дедушка Леонтий, вашего дедушки брат.

— Отчего же он сидит? — спросила Валька.

Странным показалось, что не шагает дедушка по зале, как другие гости, не спрашивает, как кто поживает, не смеется «хе-хе-хе, мерси», а просто сел и сидит один у посудного столика, куда грязные тарелки ставят.

— Пришел через сад, вот и сидит, — отвечала Эльвира Карловна.

— А где же лошади? — спросила Валька.

И маленькая Гуля повторила басом:

— А где же лошади?

— Пешком пришел.

Пошли, посмотрели в щелочку на дедушку, который в гости пешком пришел.

А тот все сидел да поглядывал, как воробей. На коленях у него был клеенчатый сверточек, черный, на сгибах набелевший — старый, много трепанный, и веревочкой крест-накрест перевязан.

Покосился дедушка на щелочку.

Дети испугались.

— Смотрит!

— Шмотрит!

Отошли. Зашлепала Фенька босыми ногами, загремела посуда, закричала Эльвира Карловна.

— Подано! Подано!

И в ответ застучали каблуки на лестнице — отец обедать спускался.

— Папа, там дедушка... дедушка Леонтий... пришел и сидит.

— Знаю, знаю.

Отец чем-то недоволен.

Пошли на террасу обедать.

Дедушка встал, засуетился на одном месте, а когда отец поздоровался, стал долго и смешно трясти ему руку. Потом опять подошел к своему стулу у посудного стола.

— Садитесь с нами, чего же вы! — сказал отец.

Дедушка покраснел, заторопился, сел на углу стола и подсунул под стул свой клеенчатый узелок.

— У меня тут кое-какие вещи... путешествую по-стариковски! — объяснил он, точно старики всегда ходят с такими клеенчатыми узелками.

За супом все молчали. Только когда дедушка съел свою порцию, отец сказал Эльвире Карловне:

— Налейте же ему еще...

Дедушка покраснел и заволновался.

— Я сыт! Я уже совершенно сыт!

Но снова принялся за суп, изредка только вскользь поглядывая на хозяина.

— Вы откуда сейчас? — спросил наконец тот.

— От Крышкиной, от Марьи Ивановны. Тут недалече, всего тринадцать верст. Она непременно хотела бричку дать, непременно хотела, да я отказался. Погода хорошая, и моцион полезен. Мы, старики, должны моцион делать. А Марья Ивановна новую мельницу строит. Чудесную. Я у них три недели гостил. Непременно хотела, чтоб я еще пожил. Непременно. Ну, да я лучше потом заверну.

Он говорил скоро, так что даже покраснел, и смотрел на всех пугливо и быстро, точно справлялся — нравится ли то, что он говорит.

— И на что ей мельница? — сказал отец. — Только лишние хлопоты...

— Да, да, — заспешил дедушка. — Именно на что... именно... хлопоты...

— В хороших руках, разумеется, доходно, а тут...

— Да, да, в хороших доходно... именно доходно.

Потом снова замолчали на весь обед.

После обеда отец пробурчал что-то себе под нос и ушел наверх. Дедушка тоже пропал.

— Эльвиркарна! Он будет жить у нас?

Эльвира Карловна все еще была чем-то недовольна и молчала.

— Он дедушкин брат?

— Не родной брат. От другой матери. Все равно ничего не понимаешь.

— А где его домик?

— Нету дома, зять отнял.

Странный был дедушка. И мать у него какая-то другая и дом отняли...

Пошли смотреть, что он делает.

Нашли его на крылечке. Сидел на лесенке и говорил собачонке Белке что-то длинное и толковое, только не разобрать что.

— Это наша Белка. Она приблудная пустолайка, ночью спать не дает, — сказала Валька.

— Ее кухарка кипятком шпарила, — прибавила Гулька.

Обе стояли рядом на толстых сытых ножках, смотрели круглыми глазами, и ветер шевелил их белокурые хохолки.

Дедушка очень заинтересовался разговором. Расспрашивал про Белку, когда пришла, да откуда, да чем кормится. Потом рассказал про своих знакомых собак, какую как зовут, да где живут, у каких помещиков, да про разные их штуки, очень все интересное.

Белка слушала тоже, изредка только отбегала полаять, насторожив ухо к большой дороге. Пустолайка была.

С собак перешел разговор на детей.

Дедушка Леонтий столько их перевидал, что три дня рассказывать мог. Все имена помнил, и у какой девочки какое платье, и как кто шалил.

Потом показывал, как у помещика Корницкого мальчик Котя китайский танец плясал. Вскочил, маленький, седенький, мохрастый, завертелся, присел, сразу сморщился и закашлял.

— Извините, старик я. Старый человек. Вы сами попробуйте, у вас лучше выйдет.

Завертелись втроем, Гулька шлепнулась, Белка-пустолайка залаяла. Весело стало.

А перед ужином дедушка снова съежился, затих, сел около посудного стола и вертел головой по-воробьиному, пока его за стол не позвали.

А за столом опять смотрел всем в глаза, точно боялся, что не угодил.

На другой день дедушка совсем подружился, так что Валька даже рассказала ему о своем заветном желании купить пояс с пряжкой и скакалку. У Гульки отдельных желаний еще не было, и она присоединилась к Валькиным: тоже пояс и скакалку.

Тогда дедушка рассказал о своей тайне: денег у него совсем нету, но помещица Крышкина обещала на праздник подарить десять рублей. Она страшно добрая, и мельница у нее будет чудесная — первая в мире. Десять рублей! Вот тогда они заживут. Прежде всего табаку купят. Дедушка уже две недели не курил, а хочется до смерти. Чудесного табаку купят массу, чтобы курить и чтобы надолго хватило. Хорошо бы на какой-нибудь таможне какую-нибудь контрабанду, заграничного значит. Только какие же тут таможни, когда тут и границы никакой нету. Ну просто табаку купят простого, но чудесного. И пояса купят с огромными пряжками и скакалки. А на остальные деньги чего?

Два дня мечтали, придумывали, чего купить на остальные деньги. Потом решили купить сардинок. Очень уж вкусно.

Только бы Крышкина не раздумала. Да нет, не раздумает. Добрая такая и богатая. Бричку предлагала дедушку довезти — ей-богу!

На четвертый день за ужином дедушка, запинаясь и переглядываясь с детьми, сказал, что завтра должен заглянуть к помещице Крышкиной. Она очень просила навестить ее. Заночует ночку, а утром и вернется.

Отец отнесся к этому плану с полным равнодушием и стал о чем-то с Эльвирой Карловной говорить по-немецки.

Дедушка, верно, не понимал или чего боялся. Он как-то съежился, робко косился, и ложка чуть-чуть дрожала в руке.

На другое утро ушел рано. Дети мечтали одни. Решили вместо сардинок купить несколько домов и жить по очереди, то в одном, то в другом.

А к вечеру забыли и дедушку, и планы, потому что придумалась новая игра: всовывать травинки в щели крыльца, получался сад для гулянья мух.

На следующий день после обеда приехал дедушка в крышкинской бричке. Такой веселый, соскочил с поднож-

ки и долго еще вокруг брички суетился. Очень рад был, что довезли.

— Я в бричке приехал. Меня в бричке довезли, — говорил всем, хотя все и так видели, откуда он вылез.

Глаза у него сделались от удовольствия маленькие, и вокруг пошли морщинки-лучики, смешные и веселые.

Побежал на крыльцо, зашептал детям:

— Молчите только, все у нас есть... дала десять рублей. Вот вам, смотрите!

Валька не выдержала, завизжала, сорвалась и прямо в комнаты.

— Папа! Эльвиркарна! Крышкина дедушке десять рублей подарила! Дедушка нам пояса купит, скакалку подарит.

Отец вытянул шею, как гусь, собирающийся зашипеть, посмотрел на Эльвиру Карловну.

Та поджала губы и раздвинула ноздри.

Отец вскочил и пошел на крыльцо.

Там он долго визжал, что дедушка приживальщик и что дедушка срамит его семью и позорит дом, выпрашивая подачки от посторонних людей, и что он обязан сейчас же вернуть эти гнусные деньги.

— Никифор! Седлай лошадь! Отвезешь пакет к Крышкиной.

Дедушка молчал и ежился и был совсем виноватый, такой виноватый, что оставаться с ним было стыдно, и дети ушли в комнаты.

Отец долго еще визжал про приживальщика и позор, потом отвизжался и ушел к себе.

Стало интересно посмотреть, что-то делает дедушка.

Дедушка сидел как тогда, в первый день, на крылечке, перевязывал веревкой свой клеенчатый узелок и сам с собой разговаривал. Приблудная пустолайка стояла тут же и внимательно слушала.

— Все сердятся да сердятся, — испуганно твердил дедушка. — А разве так хорошо? Я ведь очень старый. За что же так?

Увидел детей, сконфузился, заспешил.

— Я теперь пойду. Мне пора. Меня очень в одно место звали!

Он не смотрел в глаза и все суетился.

— Звали одни помещики... погостить. Там у них чудесно.

Может быть, у них и было чудесно, но у дедушки лицо было расстроенное и голова тряслась как-то вбок, словно отрицательно, словно сама себе не верила.

— Дедушка, — спросила Валька. — Ты приживальщик? Что такое приживальщик?

— Ты призивальщик, — повторила басом Гулька. — Сто такое...

Дедушка съежился и зашагал по ступеням.

— До свиданья! До свиданья! Ждут меня там...

Видно, не слышал.

Пошел. Обернулся.

Девочки стояли обе рядом, на сытых, толстых ножках, смотрели прямо на него круглыми глазами, и ветер шевелил их белокурые хохолки.

Пошел.

Белка, заведя хвост крючком, проводила его до ворот.

Там он снова обернулся.

Девочки уже не стояли рядом. Они озабоченно втыкали зеленые травинки в щели крыльца и о чем-то бойко спорили.

Дедушка подождал минутку, повернулся и пошел.

Белка насторожила ухо и несколько раз тявкнула ему вслед.

Приблудная была, пустолайка.

Исповедь

Первая неделя Великого поста.

Петь не позволяют, прыгать тоже нельзя.

Куклы убраны в шкап и смотрят через стекло испуганными круглыми глазами на мои муки: сегодня, в четыре часа, меня в первый раз поведут на исповедь.

Нянька завтракает, — ест гороховый кисель с постным маслом, — блюдо очень вкусное на вид и очень скверное на вкус. Я уже много раз просила попробовать, все надеясь, что авось теперь оно мне понравится.

На душе у меня очень худо. Боюсь. Вчера нянька, убеждая меня не рвать чулки на коленках, не ездить верхом на

стульях и вообще бросить разнузданный образ жизни, прибавила:

— Вот ужо пойдешь к исповеди, запряжет тебя поп в телегу да заставит вокруг церкви возить.

Я, конечно, не уронила своего достоинства и сказала, что для меня это сущие пустяки, — возить так возить, но стало мне очень тревожно.

Чулки и верховая езда, — я это прекрасно понимала, — невелики грехи, но водилась за мной штучка и похуже — самый настоящий грех, который даже в заповедях запрещен: кража.

Случился этот грех очень просто. Подошла я к нянькиному окошку, гляжу, а на окошке какая-то круглая ватрушка, а сбоку из нее варенье сквозит. Захотелось посмотреть, неужели же она вся вареньем набита. Ну, и посмотрела. К концу осмотра, когда дело уже окончательно выяснилось, от ватрушки оставался такой маленький огрызочек, что ему даже некрасиво было на окошке лежать. Пришлось доесть насильно.

Нянька долго удивлялась, куда могла деться ватрушка, а я сидела тихо за столиком и низала бисерное колечко. Только когда нянькина мысль, ударившись о тупик, вдруг наскочила на меня, я решилась направить ее на ложный путь.

— Я думаю, нянюшка, что это ее домовой съел.

С домовым у няньки были старые счеты. Он частенько рассыпал ее иголки, плевал в печку, чтобы дрова не разгорались, а то и еще обиднее: подсунет ей наперсток под самый нос, а глаза отведет, и ползает нянька, шарит и под постелью, и под комодом, и не может найти наперстка, пока домовой власть не наиграется.

История с ватрушкой так и осталась невыясненной, и сама я давно погребла ее под пластами новых преступлений более мелкого калибра, но теперь, перед исповедью, вспомнила все и ужаснулась.

Главное было ужасно, что я не только украла, но еще и свалила грех на другого, на ни в чем не повинного домового. Все утро предавалась я печальным размышлениям, а после завтрака пришла шестипалая баба-судомойка и поклонилась няньке в пояс три раза, приговаривая:

— Простите раз! Простите два! Простите три!

Потом подошла с тем же и ко мне.

Нянька ответила: «Бог простит». Я поняла, что и мне нужно ответить так же, да уж очень чего-то стыдно стало. А когда нянька укорила меня за молчание, я придумала очень неудачное оправдание:

— Не могу я ей отвечать.

— Это отчего же не можешь-то?

— Оттого, что я есть хочу.

Вышло так глупо, что я тут же всплакнула, чтобы хоть слезами сдобрить немножко эту ерунду.

Перед тем как идти в церковь, повели меня в классную комнату и велели с христианским смирением попросить прощения у старших сестер и их гувернантки.

Гувернантка, толстая усатая француженка, по многим причинам не любившая, когда я появлялась в ее владениях, спросила строго:

— А вам что здесь угодно?

Я сделала реверанс и сказала, забивая в рот три пальца, чтобы не так было совестно.

— Madame, pardonnez moi, je vous en prie[1].

Гувернантка покрутила глазами, стараясь понять, что я натворила и за что нужно меня бранить; но когда сестра объяснила, в чем дело, она вдруг впала в чисто французское умиление и, подняв руки, воскликнула:

— Oh! Oh! Je te pardonne, ma fille[2].

Это было уже слишком! Она, чужая гувернантка, власть которой, строго ограниченная, могла простираться только на старших сестер, и вдруг смеет говорить мне «ты», да еще называть дочерью.

Смирение мое мгновенно сменилось самым бешеным негодованием.

— Как ты смеешь, дурища, говорить мне «ты»?

В церкви было пусто.

Темные старухи лепились у стенки, гулко вздыхали, маленькие, горбатенькие, семенили суетливо за сторожем,

---

[1] Сударыня, простите меня, прошу вас (*фр*).

[2] О! О! Я тебя прощаю, дочь моя (*фр.*)

расспрашивали что-то шлепающим беззубым шепотом, звякали медяками.

Вот кто-то спешно прошел, застучав каблуками, мимо коврика по каменным плитам; отдалось, загудело, пронеслось стоном к куполу.

«Грешная! Грешная!» — думаю я и слышу, как стучит что-то в левом виске, и вижу, как дрожит согнувшаяся от теплой моей руки свечка.

«Грешная! Грешная! Как признаюсь? Как расскажу? И разве можно все это рассказывать? Батюшка и слушать не станет».

Стою у самой ширмочки. Чей-то тихий и мирный голос доносится оттуда. Не то батюшка говорит, не то высокий бородач, стоявший передо мной в очереди.

«Сейчас мне идти! Ах, хоть бы тот подольше поисповедовался. Пусть бы у него было много грехов. Ведь бывают люди, например, разбойники, у которых так много грехов, что за целую жизнь не расскажешь. Он все будет каяться, каяться, а я за это время и умру».

Но тут мне приходит в голову, что умереть без покаяния тоже нехорошо, и как быть — не знаю. За ширмой слышится шорох, потом шаги. Выходит высокий бородач. Я едва успеваю удивиться на его спокойный вид, как меня подталкивают к ширме, и вот я уже стою перед священником.

От страха забыла все. Думаю — только бы не заплакать.

Слышу вопросы, понимаю плохо, отвечаю сама не знаю что и чувствую, как губы опускаются вниз — только бы не заплакать!

— Сестер не обижаешь?

— Грешная, обижаю.

— А братьев?

— Братьев?

Ну, как я скажу, что и братьев обижаю. Ведь это же ужас! Лучше молчать. Да и брат у меня всего один, да и тот меня бил линейкой по голове за то, что я не умела говорить, как у них в корпусе, «здравия желаю!»

Лучше уж помолчать.

Пахнет ладаном, торжественным и ласковым. Батюшка говорит тихо, не бранит, не попрекает. Как быть насчет

нянькиной ватрушки? Неужели не скажу? А если сказать, то как сказать? Какими словами?

Нет, не скажу.

На высоком столике выше моего носа блестит что-то. Это, верно, крест.

Как стану я при кресте рассказывать про ватрушку? Так стыдно, так просто и некрасиво.

Вот еще спросил что-то священник. Я уже и не слышу, что. Вот он пригнул мне голову, покрывает ее чем-то.

— Батюшка! Батюшка! Я нянину ватрушку съела. Это я съела. Сама съела, а на другого свалила.

Дрожу вся и уж не боюсь, что заплачу, уж ничего не боюсь.

Со мной все теперь кончено. Был человек, и нет его!

Щекочет что-то щеку, задело уголок рта. Соленое.

А что же батюшка молчит?

— Нехорошо так поступать. Не следует!

Еще говорит, не слышу что.

Выхожу из-за ширмы.

Встать бы теперь перед иконой на колени, плакать, плакать и умереть. Теперь хорошо умереть, когда во всем покаялась.

Но вот подходит нянька. Лицо у нее будничное, всегдашнее. Чего она смотрит? Еще расскажет дома, что я плакала, а потом сестры дразнить станут.

Я отвертываюсь, крепко тру платком глаза и нос.

— И не думала плакать. Чего ради?

Ревность

С самого утра было как-то тревожно.

Началась тревога с того, что утром вместо обычных белых чулок подали какие-то мутно-голубые, и нянька ворчала, что прачка все белье пересинила.

— Статочное ли дело этакое белье подавать. А туда же, «Матрена Карповна»! Нет, коли ты себя Матреной Карповной зовешь, так должна понимать, что делаешь, а не валять зря!

Лиза сидела на кровати и разглядывала свои худые длинные ноги, которыми она вот уже семь лет шагает по Божьему свету. Смотрит на голубые чулки и думает: «Нехорошие чулки. Смертный цвет. Будет мне беда!»

Потом вместо няньки стала ее причесывать горничная Корнелька с масляной головой, масляными руками и хитрыми масляными глазами.

Корнелька драла гребнем волосы больно-пребольно, но Лиза считала унизительным для себя хныкать при ней, и только кряхтела.

— Отчего у вас руки масляные?

Корнелька повернула несколько раз свою красную короткую руку, словно любуясь ею.

— Это у меня ручки от работы так блестят. Я до работы прилежна, вот и ручки блестят.

У террасы, под старой липой, на маленькой глиняной печурке нянька варила варенье.

Кухаркина девчонка Стешка помогала, подкладывала щепок в печурку, бегала за ложкой, за тарелкой, отгоняла веткой мух от тазика.

Нянька поощряла девчонку и подзадоривала:

— Молодец, Стеша! Ну что за умница эта Стеша. Вот она мне сейчас и холодненькой водички принесет. Пойди, Стеша, принеси водички. Этой Стеше прямо цены нет.

Лиза ходила вокруг липы, перелезала через толстые ее корни. Между корнями было много занятного. В одном уголку жил дохлый жук. Крылья у него были сухие, как шелуха, что бывает внутри кедрового орешка. Лиза перевернула его палочкой сначала на спину, потом снова на брюшко, но он не испугался и не убежал. Совсем был дохлый и жил спокойно.

В другом уголку натянута была паутинка, а в ней лежала крошечная муха. Паутинка, верно, была мушиным гамаком.

В третьем уголку сидела божья коровка и думала про свои дела.

Лиза подняла ее палочкой и понесла к мухе познакомиться, но божья коровка по дороге вдруг раскололась посредине, раздвинула крылья и улетела.

Нянька застучала ложкой по тарелке, снимая накипь с варенья.

— Нянюшка, дайте мне пеночек! — попросила Лиза.

Нянька была красная и сердитая. Сдувала муху с верхней губы, но муха точно прилипла к влажному лицу и переползала то на нос, то на щеку.

— Пойди, пойди! Нечего тут вертеться! Какие тебе пеночки, еще и не вскипело. Другая сидела бы в детской, картинки бы смотрела. Видишь, няне некогда. У, непоседа! Стеша, умница, подложи щепочек! Молодец у меня Стеша.

Лиза смотрела, как Стеша, мелко семеня босыми ногами, принесла щепок и старательно подсовывала их в печурку.

Косичка у Стеши была тоненькая, перевязанная грязной голубой тряпочкой, а шея под косичкой темная, худая, как палка.

— Это она нарочно так старается, — думала Лиза. — Нарочно. Воображает, что она и вправду умная. А няня просто так говорит.

Стешка поднялась, няня погладила ее по голове и сказала:

— Спасибо, Стешенька. Ужо дам тебе пеночек.

У Лизы вдруг громко-громко застучало в висках.

Она легла животом на скамейку и, болтая ногами в «смертных» чулках, сказала, злобно улыбаясь вздрагивающими губами:

— А я не пойду отсюда! Не хочу и не пойду!

Нянька обернулась и всплеснула руками:

— Ну, что это, ей-богу, за наказание! Сегодня чистое платье надели, а она его по грязной скамейке валяет. Как есть все загваздала! Да уйдешь ты отсюда или нет?

— Не хочу и не пойду!

Нянька хотела что-то сказать, но в это время поднялась на варенье густая белая пена.

— Ах ты, Господи! Варенье уйдет.

Она кинулась к тазику, а Лиза, поднявшись, демонстративно запела и заскакала прочь на одной ножке.

Она уже вышла из-под липы, когда встретила Стешку, несшую ягоды на блюде.

Стешка шагала осторожно — нарочно, чтобы показать Лизе, что она умница.

Лиза подошла к ней и, задыхаясь, сказала шепотом:

— Пошла вон! Пошла вон, дура!

Стешка сделала испуганное лицо, нарочно, чтобы няня заметила, и, ускорив шаг, пошла под липу.

Лиза побежала в густые заросли крыжовника, повалилась в траву и громко всхлипнула.

Теперь вся жизнь ее была разбита.

Она лежала и, закрыв глаза, видела тонкую Стешкину косичку и грязную голубую тряпочку-завязушку, и худую Стешкину шею, черную, как палка.

А няня гладит ее и приговаривает:

— Умница, Стешенька! Вот ужо я тебе пеночек дам!

— Пе-еночек! Пе-еночек! — шепчет Лиза, и каждый раз от этого слова делается так больно, так горько, что слезы текут из глаз прямо в уши.

— Пе-еночек!

— А ведь может и так быть, что пойдет Стешка за щепками, да и помрет. Вот все и поправится!

Нет, не поправится. Няня жалеть станет. Скажет: «Вот была умница да и померла. Лучше бы Лиза померла».

И снова слезы текут прямо в уши.

— Нечего сказать, нашла умницу! Необразованную. Я учусь. Я по-французски умею: жэ, тю а, иль а, вузавэ, нузавэ...[1] Я вырасту большая, выйду замуж за генерала, приеду сюда, скажу: «Это что за девчонка? Выгоните ее вон, она украла мою голубую тряпку себе в косу».

Лизе стало уже немножко легче, да вдруг вспомнились пеночки.

— Нет! Ничего этого не будет! Теперь всему конец.

Она и домой не пойдет. К чему?

Она ляжет вот так на спину, как прачка Марья, когда померла. Закроет глаза и будет лежать тихо-тихо.

Увидит Бог и пошлет ангелов за ее душенькой.

Прилетят ангелы, крылышками зашуршат, — фрр... и понесут ее душеньку высоко-высоко.

А дома сядут обедать, и все будут удивляться:

— Что это с Лизой?

— Отчего это Лиза ничего не ест?

---

[1] Я имею, ты имеешь, он имеет, вы имеете, мы имеем .. (*Искаж. фр*).

— Отчего это наша Лиза стала такая бледная?

А она все молчит и ни на кого не смотрит.

А мама вдруг и догадается!

— Да как же, — скажет, — вы не понимаете? Ведь это она умерла!

Лиза сидит тихо, умиленно вздыхает, смотрит на свои тонкие ноги в чулках «смертного цвета». Вот и умерла она, вот и умерла.

Гудит что-то, гудит все ближе, ближе... и вдруг — бац прямо Лизе в лоб. Это толстый майский жук, пьяный от солнца, налетел, ударился и сам свалился.

Лиза вскочила и бросилась бежать.

— Няня! Няня-а! Меня жук ударил! Жук дерется!

Няня испугалась, смотрит ласково:

— Чего ты, глупенькая? И знаку никакого нету. Это тебе так показалось. Присядь, умница, присядь на скамеечку, вот я тебе сейчас пеночек дам, хороших пеночек. Хочешь? А?

— Пе-еночек! Пе-еночек! — засмеялось что-то у Лизы глубоко в самой душе, которую не поспели унести божьи ангелы.

— Няня, я никогда не помру? Правда? Буду много супу есть, молоко пить и не помру. Правда?

Приготовишка

Лизу, стриженую приготовишку, взяла к себе на масленицу из пансиона тетка.

Тетка была дальняя, малознакомая, но и то слава Богу. Лизины родители уехали на всю зиму за границу, так что очень-то в тетках разбираться не приходилось.

Жила тетка в старом доме-особняке, давно приговоренном на слом, с большими комнатами, в которых все тряслось и звенело каждый раз, как проезжала по улице телега.

— Этот дом уже давно дрожит за свое существование! — сказала тетка.

И Лиза, замирая от страха и жалости, прислушивалась, как он дрожит.

У тетки жилось скучно. Приходили к ней только старые дамы и говорили все про какого-то Сергея Эрастыча, у которого завелась жена с левой руки.

Лизу при этом высылали вон из комнаты.

— Лизочка, душа моя, закрой двери, а сама останься с той стороны.

А иногда и прямо:

— Ну-с, молодая девица, вам совершенно незачем слушать, о чем большие говорят.

«Большие» — магическое и таинственное слово, мука и зависть маленьких.

А потом, когда маленькие подрастают, они оглядываются с удивлением:

— Где эти «большие», эти могущественные и мудрые, знающие и охраняющие какую-то великую тайну? Где они, сговорившиеся и сплотившиеся против маленьких? И где их тайна в этой простой, обычной и ясной жизни?

У тетки было скучно.

— Тетя, у вас есть дети?

— У меня есть сын Коля. Он вечером придет.

Лиза бродила по комнатам, слушала, как старый дом дрожит за свое существование, и ждала сына Колю.

Когда дамы засиживались у тетки слишком долго, Лиза подымалась по лесенке в девичью.

Там властвовала горничная Маша, тихо хандрила швея Клавдия, и прыгала канарейка в клетке над геранью, подпертой лучинками.

Маша не любила, когда Лиза приходила в девичью.

— Нехорошо барышне с прислугами сидеть. Тетенька обидятся.

Лицо у Маши отекшее, обрюзгшее, уши оттянуты огромными гранатовыми серьгами, падающими почти до плеч.

— Какие у вас красивые серьги! — говорила Лиза, чтобы переменить неприятный разговор.

— Это мне покойный барин подарил.

Лиза смотрит на серьги с легким отвращением.

«И как ей не страшно от покойника брать!»

Ей немножко жутко.

— Скажите, Маша, это он вам ночью принес?

Маша вдруг неприятно краснеет и начинает трясти головой.

— Ночью?

Швея Клавдия щелкает ногтем по натянутой нитке и говорит, поджимая губы:

— Стыдно барышням пустяки болтать. Вот Марья Петровна пойдут и тетеньке пожалятся.

Лиза вся съеживается и отходит к последнему окошку, где живет канарейка.

Канарейка живет хорошо и проводит время весело. То клюнет конопляные семечки, то брызнет водой, то почешет носик о кусочек извести. Жизнь кипит.

«И чего они все на меня сердятся?» — думает Лиза, глядя на канарейку.

Будь она дома, она бы заплакала, а здесь нельзя.

Поэтому она старается думать о чем-нибудь приятном.

Самая приятная мысль за все три дня, что она живет у тетки, — это как она будет рассказывать в пансионе Кате Ивановой и Оле Лемерт про ананасное мороженое, которое в воскресенье подавали к обеду.

«Каждый вечер буду рассказывать. Пусть лопаются от зависти».

Подумала еще о том, что вечером приедет «сын Коля» и будет с кем поиграть.

Канарейка уронила из клетки конопляное семечко, Лиза полезла под стул, достала его и съела.

Семечко оказалось очень вкусным. Тогда она вытащила боковой ящичек в клетке и, взяв щепотку конопли, убежала вниз.

У тетки опять сидели дамы, но Лизу не прогнали. Верно, уже успели переговорить про левую жену.

Потом пришел какой-то лысый, бородатый господин и поцеловал у тетки руку.

— Тетя, — спросила Лиза шепотом, — что это за старая обезьяна пришла?

Тетка обиженно поджала губы:

— Это, Лизочка, не старая обезьяна. Это мой сын Коля.

Лиза сначала подумала, что тетка шутит, и хотя шутка показалась ей невеселой, она все-таки из вежливости засмеялась. Но тетка посмотрела на нее очень строго, и она вся съежилась.

Пробралась тихонько в девичью, к канарейке.

Но в девичьей было тихо и сумеречно. Маша ушла. За печкой, сложив руки, вся прямая и плоская, тихо хандрила швея Клавдия.

В клетке тоже было тихо. Канарейка свернулась комочком, стала серая и невидная.

В углу, у иконы с розовым куличным цветком, чуть мигала зеленая лампадка.

Лиза вспомнила о покойнике, который по ночам носит подарки, и тревожно затосковала.

Швея, не шевелясь, сказала гнусавым голосом:

— Сумерничать пришли, барышня? А? Сумерничать? А?

Лиза, не отвечая, вышла из комнаты.

«Уж не убила ли швея канарейку, что она такая тихая?»

За обедом сидел «сын Коля», и все было невкусное, а на пирожное подали компот, как в пансионе, так что и подруг подразнить нечем будет.

После обеда Маша повезла Лизу в пансион.

Ехали в карете, пахнувшей кожей и теткиными духами. Окошки дребезжали тревожно и печально.

Лиза забилась в уголок, думала про канарейку, как той хорошо живется днем над кудрявой геранью, подпертой лучинками.

Думала, что скажет ей классная дама, ведьма Марья Антоновна, думала о том, что не переписала заданного урока, и губы у нее делались горькими от тоски и страха.

«Может быть, нехорошо, что я взяла у канарейки ее зернышки? Может быть, она без ужина спать легла?»

Не хотелось об этом думать.

«Вырасту большая, выйду замуж и скажу мужу: «Пожалуйста, муж, дайте мне много денег». Муж даст денег, я сейчас же куплю целый воз зернышек и отвезу канарейке, чтоб ей на всю старость хватило».

Карета завернула в знакомые ворота.

Лиза тихо захныкала — так тревожно сжалось сердце.

Приготовишки уже укладывались спать, и Лизу отправили прямо в дортуар.

Разговаривать в дортуаре было запрещено, и Лиза молча стала раздеваться. Одеяло на соседней кровати тихо зашевелилось, повернулась темная стриженая голова с хохолком на темени.

— Катя Иванова! — вся встрепенулась радостью Лиза. — Катя Иванова.

Она даже порозовела, так весело стало. Сейчас Катя Иванова удивится и позавидует.

— Катя Иванова! У тети было ананасное мороженое! Чудное!

Катя молчала, только глаза блестели, как две пуговицы.

— Понимаешь, ананасное. Ты, небось, никогда не ела! Из настоящего ананаса!

Стриженая голова приподнялась, блеснули острые зубки и хохолок взъерошился.

— Все-то ты врешь, дурища!

И она повернулась к Лизе спиной.

Лиза тихо разделась, сжалась комочком под одеялом, поцеловала себе руку и тихо заплакала.

Весна

Балконную дверь только что выставили.

Клочки бурой ваты и кусочки замазки валяются на полу.

Лиза стоит на балконе, щурится на солнце и думает о Кате Потапович.

Вчера, за уроком географии, Катя рассказала ей о своем романе с кадетом Веселкиным. Катя целуется с Веселкиным, и еще у них что-то такое, о чем она в классе рассказать не может, а скажет потом, в воскресенье, после обеда, когда будет темно.

— А ты в кого влюблена? — спрашивала Катя.

— Я не могу тебе сказать этого сейчас, — ответила Лиза. — Я скажу тоже потом, в воскресенье.

Катя посмотрела на нее внимательно и крепко прижалась к ней.

Лиза схитрила. Но что же оставалось ей делать? Ведь не признаться же прямо, что у них в доме никаких мальчиков не бывает, и что ей в голову не приходило влюбиться.

Это вышло бы очень неловко.

Может быть, сказать, что она тоже влюблена в кадета Веселкина? Но Катя знает, что она кадета никогда и в глаза не видала. Вот положение!

Но, с другой стороны, когда так много знаешь о человеке, как о Веселкине, то ведь имеешь право влюбиться в него и без всякого личного знакомства. Разве это не так?

Легкий ветерок вздохнул свежестью только что растаявшего снега, пощекотал Лизу по щеке прядкой выбившихся из косы волос и весело покатил по балкону клубки бурой ваты.

Лиза лениво потянулась и пошла в комнату.

После балкона комната стала темной, душной и тихой.

Лиза подошла к зеркалу, посмотрела на свой круглый веснушчатый нос, белокурую косичку — крысиный хвостик и подумала с гордой радостью: «Какая я красавица! Боже мой, какая я красавица! И через три года мне шестнадцать лет, и я смогу выйти замуж!»

Закинула руки за голову, как красавица на картине «Одалиска», повернулась, изогнулась, посмотрела, как болтается белокурая косичка, призадумалась и деловито пошла в спальню.

Там, у изголовья узкой железной кроватки, висел на голубой ленточке образок в золоченой ризке.

Лиза оглянулась, украдкой перекрестилась, отвязала ленточку, положила образок прямо на подушку и побежала снова к зеркалу.

Там, лукаво улыбаясь, перевязала ленточкой свою косичку и снова изогнулась.

Вид был тот же, что и прежде. Только теперь на конце крысиного хвостика болтался грязный, мятый голубой комочек.

— Красавица! — шептала Лиза. — Ты рада, что ты — красавица?

Сердцем красавица,
Как ветерок полей,
Кто ей поверит,
Но и обман.

Какие странные слова! Но это ничего. В романсах всегда так. Всегда странные слова. А может быть, не так? Может быть, надо:

Кто ей поверит,
Тот и обман.

Ну, да! Обман — значит, обманут.

Тот и обманут.

И вдруг мелькнула мысль:

— А не обманывает ли ее Катя? Может быть, у нее никакого романа и нет. Ведь уверяла же она в прошлом году, что в нее на даче влюбился какой-то Шура Золотивцев и даже бросился в воду. А потом шли они вместе из гимназии, видят — едет на извозчике какой-то маленький мальчик с нянькой и кланяется Кате.

— Это кто?

— Шура Золотивцев.

— Как? Тот самый, который из-за тебя в воду бросился?

— Ну да. Что же тут удивительного?

— Да ведь он же совсем маленький!

А Катя рассердилась.

— И вовсе он не маленький. Это он на извозчике такой маленький кажется. Ему уже двенадцать лет, а старшему его брату — семнадцать. Вот тебе и маленький.

Лиза смутно чувствовала, что это — не аргумент, что старшему брату может быть и восемнадцать лет, а самому Шуре все-таки только двенадцать, а на вид восемь. Но высказать это она как-то не сумела, а только надулась, а на другой день, во время большой перемены, гуляла по коридору с Женей Андреевой.

Лиза снова повернулась к зеркалу, потянула косичку, заложила голубой бантик за ухо и стала приплясывать.

Послышались шаги.

Лиза остановилась и покраснела так сильно, что даже в ушах у нее зазвенело.

Вошел сутулый студент Егоров, товарищ брата.

— Здравствуйте! Что? Кокетничаете?

Он был вялый, серый, с тусклыми глазами и сальными, прядистыми волосами.

Лиза вся замерла от стыда и тихо пролепетала:

— Нет... я... завязала ленточку...

Он чуть-чуть улыбнулся.

— Что ж, это очень хорошо, это очень красиво.

Он приостановился, хотел сказать еще что-нибудь, успокоить ее, чтобы она не обижалась и не смущалась, да как-то не придумал, что, и только повторил:

— Это очень, очень красиво!

Потом повернулся и пошел в комнату брата, горбясь и кренделяя длинными, развихленными ногами.

Лиза закрыла лицо руками и тихо, счастливо засмеялась.

— Красиво!... Он сказал — красиво!... Я красивая! Я красивая! И он это сказал! Значит, он любит меня!

Она выбежала на балкон гордая, задыхающаяся от своего огромного счастья, и шептала весеннему солнцу:

— Я люблю его! Люблю студента Егорова, безумно люблю! Я завтра все расскажу Кате! Все! Все! Все!

И жалко и весело дрожал за ее плечами крысиный хвостик с голубой тряпочкой.

Летом

В жасминовой беседке душно и томно от сладкого запаха.

Прогудит шмель мандолинной струной, задрожит легким шорохом тонкий витой стебелек и затихнет.

Травяной паучок висит, качается на своей липкой ниточке, слушает, как цветут цветы.

В жасминовой беседке старая скамейка так густо обросла мохом и гнилушками, что стала будто живая, будто сама выросла из земли, как старый, размякший гриб.

На скамейке две девочки: одна длинноногая, белобрысая, с веснушками на круглом носу, в ситцевом платье и драном гимназическом переднике. Это Лиза Кириллова, только что одолевшая ужасы науки приготовительного класса.

Другая — припомаженная, принаряженная, с чисто вымытыми красными руками, — Люня Донацкая, приехавшая с визитом.

Девочки знают друг друга плохо, и беседа не клеится.

Лизу смущает великолепие голубого банта в Люниной косе.

Ей кажется, что Люня не может не презирать ее за драный передник и веснушчатый нос.

Но нужно как-нибудь выпутываться из тяжелого положения. Кроме того, она хозяйка и должна занимать гостью.

— Вы любите театры? — спрашивает она самым светским тоном, прикрыв ладонью дырку на переднике.

— Очень люблю. Ужасно люблю, — отвечает гостья с легким польским акцентом. — Только я еще никогда в театре не была. Мы всегда в Горках живем, а в Горках театров нет.

— Я тоже люблю театры. Я очень часто в театре бываю. На Рождестве нас возили в ложу, и потом еще была один раз, когда была совсем маленькая; только уж не помню... Вот мама, та еще чаще ездит.

— Ваша мама ужасная красавица, — покраснев, говорит Люня. — Моя мама тоже ужасная красавица, но ваша еще ужаснее.

Лиза молча дрыгает ногами.

— А что, у вас в гимназии очень трудно? — спрашивает Люня.

Лиза выпрямилась и гордо вскидывает голову:

— В гимназии? Ерунда, пустяки! Конечно, для новеньких очень страшно. Вы бы, наверное, перетрусили. Уж конечно, — где вам!

— А вы не боитесь?

— Я-то? Ничуть! Марья Николаевна говорит мне: «Снимите локти со стола», а я — хоть бы что. Даже нарочно другой локоть хотела положить, только некогда было.

— Какая вы! — заискивающе улыбается Люня. — Я бы ни за что не могла!

— Хо! Я ничего не боюсь! Даже батюшка спросил: «Кто это там на второй скамейке вихрами трясет?»

— Ой! Ой! Как это вы так можете? А учиться трудно?

— Учиться? Ужасно трудно. Масса предметов. Чистописание очень трудно. У нас страшно строго. Если букву пропустишь или если клякса — сейчас выключат, и пропала на всю жизнь. Вы бы ни за что не могли.

Люня из почтительности передвинулась на самый краешек скамейки. Лиза развалилась и гордо расправила дыря-

вый передник, как старый ветеран свое доблестное знамя, простреленное в боях.

— У нас в классе тридцать девочек. Я всех на память знаю: Александрова, Андреева, Асланова, Бабарусова, Батарникова, Букина...

— Как это вы так можете! — благоговейно шепчет Люня.

Она вся съежилась, подавленная и растерянная, и даже голубой бант сконфуженно обвис.

— Подождите, не перебивайте! Разве можно перебивать, когда называют фамилии. Теперь из-за вас я должна опять сначала начинать. Александрова, Андреева, Асланова, Бабару... Вот видите, как глупо перебивать, теперь я опять должна начать сначала: Александрова, Андреева...

— Вам, может быть, тесно на скамейке? — робко и почтительно шепчет Люня. — Так вы ложитесь как следует, а я могу здесь на травке посидеть.

— Ну, еще платье перемажете.

— Нет, нет, ничего. Да я могу и постоять.

— У нас в классе есть одна полька, Клембицкая. Вы ее знаете?

— Нет, не знаю.

— Какая же вы после этого полька, когда вы своих не знаете! Вы, должно быть, так только, — простая католичка.

Лиза развалилась на всю скамейку, одну ногу перекинула на спинку, а другою болтала по воздуху. Люня робко, сложив руки, как масон на молитве, смотрела и слушала в благоговейном экстазе.

— Бабарусова, Батарникова, Букина, Вериго, Елкина... Не смотрите мне в рот, это меня сбивает.

— А куда мне нужно смотреть?

— Вот сюда куда-нибудь.

— На листья?

— Ну, можно и на листья... Елкина, Значкова... опять вы на меня! Какая вы, право! Ужасно трудно с вами разговаривать! Я устала, я буду спать.

— Хорошо, вы спите, а я посторожу. Если прилетит пчела, я ее прогоню.

Лиза закрывает глаза и лежит тихо.

Люня стоит, сложив руки, и старается не дышать.

Что-то тихо щелкнуло, и задрожал листик.

Это свалился сверху маленький жучок.

Люня вздрогнула, испуганно скосила глаза на Лизу и погрозила жуку пальцем.

Томно и душно от сладкого запаха.

Качается травяной паучок, слушает, как цветут цветы.

Счастливая

А. А. Ц.

Да, один раз я была счастлива.

Я давно определила, что такое счастье, очень давно, — в шесть лет. А когда оно пришло ко мне, я его не сразу узнала. Но вспомнила, какое оно должно быть, и тогда поняла, что я счастлива.

Я помню:

Мне шесть лет. Моей сестре — четыре.

Мы долго бегали после обеда вдоль длинного зала, догоняли друг друга, визжали и падали. Теперь мы устали и притихли.

Стоим рядом, смотрим в окно на мутно-весеннюю сумеречную улицу.

Сумерки весенние всегда тревожны и всегда печальны.

И мы молчим. Слушаем, как дрожат хрусталики канделябров от проезжающих по улице телег.

Если бы мы были большие, мы бы думали о людской злобе, об обидах, о нашей любви, которую оскорбили, и о той любви, которую мы оскорбили сами, и о счастье, которого нет.

Но мы — дети, и мы ничего не знаем. Мы только молчим. Нам жутко обернуться. Нам кажется, что зал уже совсем потемнел, и потемнел весь этот большой, гулкий дом, в котором мы живем. Отчего он такой тихий сейчас? Может быть,

все ушли из него и забыли нас, маленьких девочек, прижавшихся к окну в темной огромной комнате?

Около своего плеча вижу испуганный, круглый глаз сестры. Она смотрит на меня: заплакать ей или нет?

И тут я вспоминаю мое сегодняшнее дневное впечатление, такое яркое, такое красивое, что забываю сразу и темный дом, и тускло-тоскливую улицу.

— Лена! — говорю я громко и весело. — Лена! Я сегодня видела конку!

Я не могу рассказать ей все о том безмерно радостном впечатление, какое произвела на меня конка.

Лошади были белые и бежали скоро-скоро; сам вагон был красный или желтый, красивый, народа в нем сидело много, все чужие, так что могли друг с другом познакомиться и даже поиграть в какую-нибудь тихую игру. А сзади, на подножке стоял кондуктор, весь в золоте, — а, может быть, и не весь, а только немножко, на пуговицах, — и трубил в золотую трубу:

— Ррам-рра-ра!

Само солнце звенело в этой трубе и вылетало из нее златозвонкими брызгами.

Как расскажешь это все! Можно сказать только:

— Лена! Я видела конку!

Да и не надо ничего больше. По моему голосу, по моему лицу она поняла всю беспредельную красоту этого видения.

И неужели каждый может вскочить в эту колесницу радости и понестись под звоны солнечной трубы?

— Ррам-рра-ра!

Нет, не всякий. Фрейлейн говорит, что нужно за это платить. Оттого нас там и не возят. Нас запирают в скучную, затхлую карету с дребезжащим окном, пахнущую сафьяном и пачулями, и не позволяют даже прижимать нос к стеклу.

Но когда мы будем большими и богатыми, мы будем ездить только на конке. Мы будем, будем, будем счастливыми!

Я зашла далеко, на окраину города. И дело, по которому я пришла, не выгорело, и жара истомила меня.

Кругом глухо, ни одного извозчика.

Но вот, дребезжа всем своим существом, подкатила одноклячная конка. Лошадь, белая, тощая, гремела костями и щелкала болтающимися постромками о свою сухую кожу. Зловеще моталась длинная белая морда.

— Измывайтесь, измывайтесь, а вот сдохну на повороте, — все равно вылезете на улицу.

Безнадежно-унылый кондуктор подождал, пока я влезу, и безнадежно протрубил в медный рожок.

— Ррам-рра-ра!

И больно было в голове от этого резкого медного крика и от палящего солнца, ударявшего злым лучом по завитку трубы.

Внутри вагона было душно, пахло раскаленным утюгом.

Какая-то темная личность в фуражке с кокардой долго смотрела на меня мутными глазами и вдруг, словно поняла что-то, осклабилась, подсела и сказала, дыша мне в лицо соленым огурцом:

— Разрешите мне вам сопутствовать.

Я встала и вышла на площадку.

Конка остановилась, подождала встречного вагона и снова задребезжала.

А на тротуаре стояла маленькая девочка и смотрела нам вслед круглыми голубыми глазами, удивленно и восторженно.

И вдруг я вспомнила.

«Мы будем ездить на конке. Мы будем, будем, будем счастливыми!»

Ведь я, значит, счастливая! Я еду на конке и могу познакомиться со всеми пассажирами, и кондуктор трубит, и горит солнце на его рожке.

Я счастлива! Я счастлива!

Но где она, та маленькая девочка в большом темном зале, придумавшая для меня это счастье? Если бы я могла найти ее и рассказать ей, — она бы обрадовалась.

Как страшно, что никогда не найду ее, что нет ее больше, и никогда не будет ее, самой мне родной и близкой, — меня самой.

А я живу...

Зеленый праздник

Лизавета Николаевна Будягина, носившая пышное звание младшей подбарышни помощника младшего секретаря, поднялась ни свет ни заря, пошла в березнячок, что рос тут же около дач и был столь рьяно посещаем, что даже издали в нем виднее были пустые бутылки и клочья бумаги, чем самые деревья. Там Лизавета Николаевна обломила несколько веточек и, крадучись, чтобы не поймали хозяева, принесла их в свою комнатушку и прикрепила к стене у окошка. В стене, слава Богу, было столько щелей, что и гвоздей не понадобилось, — прямо воткнула.

Потом принялась за свой туалет.

Платье у нее было белое кисейное, как и полагается в Троицын день, но так как сшито оно было Клеопатрой Федотовной, что жила рядом у Сидорихи на верхах, а не настоящей портнихой, то и сидело как ему вздумается, а не как нужно.

Клеопатра Федотовна, положим, предлагала сшить по журналу, да журнал-то был 1904 года, так что все ее заказчицы предпочитали, чтобы уж она лучше фасонила из своей головы.

Зеркальце у Лизаветы Николаевны было, к счастью, совсем маленькое — на один глаз, так что она и не знала, что у нее делается на спине и у пояса. Поэтому она весело улыбалась, взбивая волосы барашком.

Духов, которые придают столько очарования модным дамам, у младшей подбарышни совсем не оказалось. Зато мыло было такое пахучее, что от него даже не спалось по ночам, и приходилось выносить его в сени. Стоило оно всего восемнадцать копеек, и написано на нем было без всяких затей просто «Опопанах».

Напившись своего чаю «от хозяйки», Лизавета Николаевна пошла к калитке и стала ждать.

Скоро стали приходить дачники из церкви. Лизавете Николаевне стало горько, что не с кем переглянуться насчет их туалетов.

В особенности раздражали барышни с кавалерами. Они томно нюхали свои букетики, и Лизавета Николаевна думала:

«Ныряет носом в букет, как утка. Уж-жасно, подумаешь, всех увлекла».

В соседний садик вышла портниха Клеопатра Федотовна и села на скамеечку, подобрав платье над крахмальной юбкой.

Стало неловко оставаться у калитки. Еще спросит, нахалка, кого Лизавета Николаевна ждет.

Она ушла к себе и прилегла на кровать. Но лежать было бы очень приятно, если бы не Троица. В Троицу надо было веселиться, а не лежать. И она снова пошла к калитке.

Постояла, пождала. На улице было пусто: все ушли гулять подальше к озеру.

Лизавета Николаевна сорвала у забора пучок незабудок и заткнула за пояс. Ей понравилось, что она — такая стройная и вся в белом, и цветы у пояса. Она улыбнулась и крикнула Клеопатре Федотовне:

— А ко мне, вероятно, сегодня один господин приедет из города. Александр Эдуардович!

Но портниха совсем не удивилась и не обрадовалась, а ответила, помолчав:

— Мы сегодня уж три раза кофий пили. Я очень охотница, особенно с хорошими сливками. Маменька нонче к обедне ходили и просвирку принесли, так мы с просвиркой кофий-то кушали.

Лизавета Николаевна подошла поближе к говорившей и вдруг увидела свое отражение в темном стекле низкого окна. Фигура у нее оказалась толстая, а букетик — маленьким грязным комочком, даже не голубым, так как незабудки уже съежились. Словом, надеяться было не на что.

— Нет, — сказала она вдруг дрожащим голосом. — Я пошутила. Сегодня никто не приедет.

И пошла домой, криво подняв плечи. Опять прилегла и стала думать:

«Ну, что такое случилось? Ровно ничего. Он, собственно говоря, даже и не обещал окончательно. Я пригласила, а он сказал: «Благодарю вас». И ничего в этом нет обидного. Иногда очень важные и богатые люди устраивают бал, и далеко не все приглашенные приезжают. Но никто и не думает на это обижаться. Если бы я пригласила к себе сегодня человек двадцать, я бы даже и не заметила, что один не приехал.

Кроме того, еще очень рано. Кто же так рано приезжает! Он, наверное, понял, что я его приглашаю именно вечером».

Додумавшись, наконец, в чем дело, она весело вскочила и снова пошла в сад. Дачники уже вернулись с прогулки и пили чай. Отовсюду слышался веселый смех и говор.

— Какие пошлые! — думала Лизавета Николаевна. — Болтают какую-нибудь ерунду.

Она бы не стала болтать.

Она бы взяла его под руку и пошла вот туда, по зеленому лугу, смотреть золотой закат...

Подошел почтальон и протянул два письма. Одно — хозяйке, другое — ей, госпоже Будягиной.

Александр Эдуардович писал, что приехать в гости не может, но зато просил одолжить рублей пять для больного товарища и обещал прислать за деньгами к ней на службу.

Лизавета Николаевна села на скамеечку и думала: «И что, в сущности, случилось? Ровно ничего не случилось. Просто один из гостей не приехал. Разве этого не бывает даже в самых важных и богатых домах, где много угощения и лакеев. Неужели же расстраиваться из-за того, что из двадцати человек один не приехал!»

Она встала, но уже не могла смотреть на зеленый луг и золотой закат. Было отчего-то противно до тошноты.

А Клеопатра Федотовна кричала кому-то голосом, острым, как буравчик:

— Леонила Павловна, а Леонила Павловна! И какая это такая предмета, что на меня собака чихнула? А? И какая это такая предмета, скажите на милость?

Пар

В театре было темно. Освещена была только сцена, где шла репетиция.

В партере маленькими группами темнелись актеры, ожидающие своей очереди.

Они еле различали друг друга, говорили шепотом и ежились в своих надетых внакидку шубах.

Гранд-кокет Арвидова щурила сонные глаза, зевала, переспрашивала — «гм?» и забывала отвечать. Она легла в девять часов утра, а в десять ее уже подняли.

Под рукой Арвидовой, между ее локтем и муфтой, блестели и гасли две близко посаженные круглые пуговицы.

— Ага, и Тяпка с вами? — спросил актер Мраков и погладил пальцем между круглыми пуговицами.

Там оказалась мягкая шелковистая шерсть, и холодный, влажный носик ткнул актера в руку.

— Тяпочка! Тяпочка! Репетировать пришла?

— Невозможно ее дома оставлять — визжит без меня целый день и не ест ничего.

— А уж вам жалко! Какое нежное сердце! Столько народу погубило, а собачонку жаль.

— Боюсь, что околеет.

— Ну и околеет — невелика беда. Муки ада для нее не существуют. У нее вместо души пар. Пуфф! — и готово.

— Лучше я ее продам, — деловито заметила Арвидова. — Это порода дорогая, чего же ей пропадать.

Собачка забеспокоилась, тихо пискнула и спрятала голову за спиной актрисы.

— Арвидова! На сцену! — зычно рявкнул помощник режиссера.

Арвидова вскочила, запахнула шубку и пошла по мосткам, перекинутым через пустой оркестр.

За ней, у самых ее ног, катился, чуть позвякивая крошечными бубенчиками, темный клубочек.

— Вы входите, простирая руки к Жозефу. Ну!

Арвидова вытянула руки и шагнула вперед.

— Не так, не так! — остановил режиссер. — Ведь вы же умоляете его — значит, больше движения, рвитесь вперед. Еще раз сначала.

Арвидова вернулась на прежнее место, снова вытянула руки и сделала вперед два шага.

Тихо позвякивая, собачка вернулась вместе с нею и вместе снова выбежала.

— Лицо! Лицо! Оберните же лицо к тому, с кем вы говорите! Нельзя же смотреть в партер, когда вас сейчас любовник резать будет. Ну-с.

— «Жозеф, я не виновата!» — загудела из суфлерской будки голова в вышитой ермолке.

— Жозеф, я не виновата! — тоном обиженной институтки повторяла Арвидова, и в тоске заметалась собачка у ее ног.

Драма развертывалась.

Сонная, ленивая героиня медленно поворачивала лицо, похожее на телячью котлету, которой фантазия повара придала форму красивого женского лица.

— Шевелитесь, Арвидова, шевелитесь! Вы догадываетесь о ловушке. Сердитесь же, черт возьми!

— «Я знаю, на что вы способны», — гудит суфлер.

— Я знаю, на что вы подобны.

— «Способны».

— На что вы способны, — невозмутимо поправляется Арвидова и топает ногой. — Я ненавижу вас!

— Ррр... — поднялась шерсть на спине Тяпки. — Ррр...

Она вся насторожилась и следила за каждым шагом своей госпожи.

— Что теперь будет со мной! — воскликнула при помощи суфлера Арвидова и, бросившись в кресло, зарыдала.

Тяпка вся задрожала и тихо, чуть слышно, повизгивала. Она плакала тоже.

— Нет, не то! — остановил режиссер. — Разве так рыдают! Вздрагивайте плечами. Вот так! Вот так! Вот так!

Арвидова подняла свое сонное лицо, бросилась снова в кресло и снова зарыдала, и тихо, не переставая, визжала собачка.

— «Довольно этих сцен», — заорал, перекрикивая суфлера, что было довольно трудно, актер Затаканов и, бросившись к рыдавшей, стал бешено трясти ее за плечи.

— Ррр! — зарычала Тяпка.

— Ты убьешь меня! — вскрикнула Арвидова.

Тяпка, маленькая, всклоченная, нелепая, как обезумевшая от ужаса коричневая шерстяная рукавица, бросилась с громким отчаянным визгом на Затаканова, подпрыгнула, упала и вдруг вцепилась крошечными своими зубками в башмак актера.

Вошедший в роль Затаканов не прервал своей реплики и только лягнул ногой.

Собачка отлетела далеко и, стукнувшись мордой о край суфлерской будки, пролежала несколько мгновений ошеломленная. Поднялась медленно, постояла, опустив голову.

Между тем Арвидова уже поднялась во весь рост и, упав в объятия актера Затаканова, вопила:

— Так ты меня любишь, Жозеф! О счастье! Ты любишь!

И она обнимала Затаканова и целовала его мимо уха, прямо в воздух, и смеялась не удававшимся ей счастливым смехом.

Тяпка на минутку оторопела и вдруг поняла и, тихо взвизгнув, кинулась к обнимающейся парочке. Она, видимо, отшибла бок, потому что хромала обеими левыми лапами, но тем не менее прыгала вокруг и лаяла коротким счастливым лаем и так сильно виляла хвостом, что даже все тело у нее вихлялось из стороны в сторону.

Своим безумным энтузиазмом, своей восторженной, бьющей через край радостью она дала все, чего не хватало главной героине, и так как участвовала в картине сама, то общее впечатление получилось то, какого требовал режиссер.

— Ничего, — сказал он автору. — Можно не отнимать роли у Арвидовой, она с ней, пожалуй, справится. Последнюю сценку она провела даже с огоньком. Удивляюсь, но должен признать, что она может иногда сыграть с душой.

Арвидова пообедала в ресторане с поручиком Барским.

Тяпка оставалась дома, прыгала на подоконник, слушала, шевеля ушами, шумы и шорохи, обнюхивала порог и визжала.

Вернувшись, Арвидова бросила Тяпке шоколадинку, которую Тяпка взяла из вежливости и потихоньку засунула под диван — она не ела шоколада.

Арвидова легла отдохнуть до спектакля и быстро заснула.

Тупое лицо ее с приоткрытым ртом, казалось, внимательно прислушивалось и удивлялось собственному храпу.

На ковре у дивана свернулась колечком Тяпка.

Она долго укладывалась, кружилась на месте – у нее болел бок. Потом уснула и вздрагивала во сне и тихо, сдавленно лаяла одним горлом, переживая снова и вечно все муки любви, нечеловеческой, преданной, робкой и самозабвенной.

Зверь

Их было двое – старик и старуха.

Старый лев и полудохлая львица.

У льва был ревматизм, въевшийся, застарелый, настоящий стариковский, заполученный давно в стокгольмском зверинце с холодным каменным полом.

От этого ревматизма или от другой причины обе задние лапы его не шагали, как полагается каждому зверю, попарно крест-накрест с передними, а волочились как попало, длинные, вывернутые, точно вывихнутые.

Львица любила сидеть тихо, слегка осклабив черногубую пасть, точно улыбаясь, как улыбаются богаделенские старушки перед благодетелями: жалко и жадно.

Оба прожили долгую жизнь, прожили, покорные своим могучим законам: подымались на рассвете, тихо лежали в сонную зиму, любили друг друга весной и каждый вечер, встав рядом, провожали глазами заходящее солнце, и в узко разрезанных зрачках их вспыхивали зарницы невиденных снов.

Днем перед решеткой их клетки толпились люди, смотрели, подымали своих детенышей, чтобы те лучше видели. Львы волновались запахом этих теплых человеческих тел, но под старость привыкли к ним, не чувствовали их и жили на глазах у толпы своей скучной жизнью, спокойно и гордо.

Ежедневно около пяти часов вечера они начинали беспокоиться. Ждали мяса.

Старый лев медленно подымался, вытягивался и, раздув ноздри, начинал кружить по клетке.

Это он шел на охоту.

Львица, осклабив старушечий рот, следила за ним глазами. Ждала.

Брошенные им куски ослизлого, синеватого мяса они долго валяли по песку, волочили из угла в угол.

А потом тихо дремали, изредка разрезая вечернюю мглу узкой зеленой искрой зрачков.

В десять часов вечера начиналась мука.

Взвизгивала цепь и медленно подымала скрипучую дверь. Щелкал бич.

И оба они, оба — и старик, и старуха — вздрагивали, ежились плечами и не хотели вставать. Особенно жалко выходило это у старухи, у которой голова моталась из стороны в сторону на длинной голой шее.

Щелкал бич.

Они вскакивали оба сразу и, толкаясь боками, выходили через узкую дверь в приставленный к ней ящик на колесах. Ящик закрывали и везли.

На эстраду, где только что, фальшиво улыбаясь, показывала фальшивые зубы ожирело-желтая француженка и пела про какие-то petits boutons, выползали старые львы.

Впереди, волоча задние лапы, шел старик, за ним, суетливо забегая сбоку, длинношеяя старуха.

Садились, поджав хвосты, как две старые кошки на пороге чужой кухни, больные и облезлые.

Тревожно пахло духами фальшивой француженки, тревожно выл тихими стонами оркестр, и теплый человеческим теплом воздух был душен и тосклив.

А потом звякала узкая дверца, и подходил он — зверь.

Его жирные вздрагивающие ноги туго обтянуты белым трико. Блестят лакированные голенища сапог, открыта короткая, толстая шея и блестят масляные красные щеки.

Глаза его, тускло напряженные, смотрят прямо и знают, чего хотят. Они хотят есть.

Старуха вытянула голую шею и тревожно замотала головой.

Зверь поднял украшенное цветной бумагой кольцо и щелкнул бичом. Старуха вся поджалась и поползла мимо.

— Не могу! — говорила ее отвислая чернозубая челюсть. — Не могу.

Зверь поднял железную вилку и ткнул старухе в пасть.

Тогда она вдруг присела и прыгнула.

Зверь подошел к старику. Но старик давно уже не мог прыгать. Его роль была другая. Он должен был изображать неукротимого, бешеного зверя, рычать, поднимать лапы и скалить зубы.

Но он и этого не хотел. Он сидел тихий и печальный, и видно было, как дрожит у него кожа на спине, словно у старой собаки. Лицо его, почти человеческое, — было печально и покорно. Две длинные морщины вдоль носа под глазами глубоки и влажны, точно он много плакал и слез не вытер.

Зверь ткнул вилами в одну из этих морщин. Но старик только повернулся и чуть подвинулся.

«Чего ты хочешь? Будь у меня зубы, я бы ощерился ради тебя, а так что я могу?»

Тогда зверь крепко сжал челюсти и, схватив стул, ударил льва в бок.

Кто-то ахнул внизу в тусклой, душной толпе, а радостный молодой голос громко крикнул:

— Ой, смотрите, смотрите, сейчас его эти львы слопают!

И лев вскочил. Открыл пасть, пустую, черную, трупную.

— Сейчас он его растерзает! — ликовал голос.

Лев закачался и вдруг застонал короткими стонами. Заходили, вздуваясь и впадая, сухие бока. Он кашлял. От натуги разъезжались разбитые задние лапы.

Было смешно и противно.

Кто-то засмеялся.

Старуха сидела, вся поджавшись, — старая, облезлая кошка, — и покорно мотала длинной голой шеей и не смотрела на старика, точно знала давно все, что будет.

А зверь поднял вилы и, хищно вздрагивая жирными ногами, подошел к старику.

Лесная идиллия

Вдали на городской колокольне звякнул четыре раза медный звук, приостановился и загудел медленно еще шесть раз.

Это значило, что истекли все четыре четверти часа, и наступило ровно шесть.

В лесу, на маленькой круглой полянке, диаметром в три шага, идут вечерние приготовления.

Что-то копошится и шелестит между корнями старой липы. Быстро шмыгнула вверх пушисто-яркая, красноватая метелка, притихла на высокой ветке, повернулась, блеснули две внимательные пуговки, и снова взметнулась метелка вверх и исчезла.

Вдруг зашуршала верхушка сосны, и какая-то птица прокричала хриплым озабоченным голосом три раза одну и ту же фразу. Начала в четвертый раз, сконфузилась и замолчала.

Но это не я виновата, что она сбилась. Я не могла испугать ее. Я лежу совсем тихо и не шевелюсь уже давно, так давно, что даже перестала чувствовать боль от шершавой коры соснового корня, на который опираюсь плечом.

Многие здесь уже привыкли ко мне: маленький червячок-землемер, грациозно взвиваясь и снова опускаясь, мерит своим зеленым телом длину моей руки. Два рыжих муравья, похожих на бретонских крестьянок, в сборчатых юбках с перетянутыми талиями, задумались над бахромой моего пояса, ждут, чтобы указал им мудрый инстинкт, как приспособить эту хитрую штуку на муравьиную пользу и славу.

Я не шевелюсь, не хочу мешать. Поднимаю глаза, вижу растрескавшуюся кору, одноцветную издали и всю пеструю, всю в чешуйках, в пушинках, в шелушинках, если смотреть на нее вот так, прижавшись к ней щекой.

В одной из трещин живет какая-то зеленая точка, дышит — не дышит, чуть шевелится, видно, что только о том и думает, как бы не умереть, как бы сохранить подольше свою такую важную, такую значительную, такую необходимую для всего мироздания жизнь.

Мне делается страшно за нее, я опускаю глаза.

Внизу, у самых корней, деловой сознательной походкой идет жук. У него, наверное, серьезное дело. На спине у жука лежит соломинка.

Знает он об этом или нет? Несет он ее к себе домой, или она случайно прилипла ему к спине, и он понять не может, отчего ему целый день поясницу ломит?

Я решаюсь. Тихонько протягиваю руку, снимаю соломинку. Жук мгновенно подвертывает ноги и притворяется мертвым. Я, чтобы успокоить его, тоже притворяюсь мертвой.

Когда жук убеждается, что надул меня, он снова отправляется по своим делам, серьезный и озабоченный.

Червячок-землемер дополз до моего лица, призадумался, взвился гибким зеленым тельцем и пополз назад. Видно, сбился со счета и решил сделать поверку.

Четыре... пять... семь... — помогаю я ему. — Перемерим, запишем, будем знать, сколько в земле места приготовить. Нужно, чтобы на всех хватило... десять... одиннадцать...

Шевельнулось что-то между стволами, там, где начинаются первые ветки. Что-то прыгнуло яркое и радостное. Это там, за лесом, зажгло солнце свой алый фонарик и отбросило прожектором живой дымящийся столб.

Загорелись сухим огнем красностволые сосны, закружились прозрачно кусты.

И вдруг с легким шорохом вбежал на полянку зверек.

У него была острая звериная мордочка и острые звериные ушки, но глаза, суетливые и печальные, были не лесные и не звериные.

Зверек повернулся боком, поднял ушки, прислушался. Робко дрожала приподнятая передняя лапка, а на спине дрожал привязанный к шее нелепый лиловый бант.

Послышался шорох и треск тяжелых шагов. За зверьком шли большие звери, дышали громко и вышли на полянку.

Их было два.

Впереди — покрупнее, похожий на большого кота, в сером костюме и клетчатых штанах. Позади — нечто вроде пуделя в юбке, пелерине, шляпке с кукушечьим пером и корзиночкой у локтя.

Звери остановились, посопели носами на сосны, на липы, на дымно-розовый огонь солнца, и первый из них сказал на человеческом немецком языке:

— Здесь.

Разостлали платок, сели.

Маленький зверек с лиловым бантом забегал кругом, заюлил, залебезил и сказал зверям и глазами, и боками, и ушами, и хвостом, что он весь на их стороне, что не переманит его к себе ни дымный огонь, ни зеленый цвет, ни то,

что шелестит наверху, ни то, что шуршит внизу. Ни до чего ему дела нет. Все — дрянь, мелочь и ерунда, вам служу и вам удивляюсь.

Пуделиха поставила на землю корзинку.

Три муравья сейчас же принялись изучать это новое явление природы, обнюхивали, обсуждали, как быть.

Пуделиха зашуршала бумагой, вытащила бутерброды с ветчиной, один дала коту, другой сунула себе в рот.

У обоих глаза сделались сразу удивленно-круглые. Закатный алый огонь осветил сетчатые красные жилки их тупо блестящих зрачков, а маленький зверек с лиловым бантом задрожал всей грудью от сдержанного жадного визга.

— Молчи! — сказала пуделиха. — Сначала мы будем кушать, а потом и тебе дадим полопать.

Они жевали долго, уставив глаза в одну точку, чавкали громко и строго, так что вернувшийся с деловой прогулки жук на всякий случай притворился на минутку мертвым.

Они жевали и молчали, и все замерло кругом, даже розовые пылинки в дымном солнечном столбе чуть дрожали, не кружась и не взвиваясь. Все застыло, и только торжественно и властно два жирных рта свершали жертвоприношение.

Картина была мистически-жуткая. Я видела, как тонкая, стеблистая травинка с пухом на маковке задрожала робко и поникла.

— Смилуйтесь над нами!

Я закрыла глаза...

— Ну-с, а теперь ты будешь лопать, потому что мы уже покушали.

Пуделиха вынула плошечку и налила из бутылки жиденького молока.

Зверек с бантом, высунув сбоку розовый дрожащий язычок, стал лакать деликатно и благодарно.

А большие звери, тяжело дыша, водили глазами по притихшим кружевным кустам, по огнистым стволам, по нежно шелковым травам, а когда повернули глаза к дымному столбу заката, загорелись они прозрачно и льдисто, как драгоценные камни, и остановились.

— Что скажут они теперь?

Вот дрогнули глаза, прищурились. Маленькая быстрая молния мелькнула между ресницами. Это — мысль.

Да, я угадала. Это — мысль.

Кот сказал:

— Майер скоро купит аптеку.

После слов этих сразу стало так тихо, словно даже муравьи притаили дыхание.

Слушал лес, слушали звери, трава, солнце, древесные ползуны, небесные птицы и маленький червячок-землемер взвился и застыл зеленым вопросительным знаком.

Слушали, как свершается недоступное, непостижимое, — как мыслит и говорит человек.

Дрожал зверек с лиловым бантом и тихо, подавленно визжал, исходя любовью, восторгом и преданностью.

Тише... Тише... Слушай, земля!

— Майер скоро купит аптеку.

Явдоха

(А. Д. Нюренбергу)

В воскресенье Трифон, мельников работник, едучи из села, завернул в лощину к Явдохиной хатке, отдал старухе письмо.

— От сына з вармии.

Старуха, тощая, длинная, спина дугой, стояла, глаза выпучила и моргала, а письмо не брала.

— А може и не мне?

— Почтарь казал — Явдохе лесниковой. Бери. От сына з вармии.

Тогда старуха взяла и долго переворачивала письмо и ощупывала шершавыми пальцами с обломанными ногтями.

— А ты почитай, може, и не мне.

Трифон тоже пощупал письмо и опять отдал его.

— Та ж я неграмотный. У село пойдешь, у селе прочтут.

Так и уехал.

Явдоха постояла еще около хатки, поморгала.

Хатка была маленькая, вросла в землю до самого оконца с радужными стеклами — осколышками. А старуха — длин-

ная, не по хатке старуха, оттого, видно, судьба и пригнула ей спину — не оставаться же, мол, на улице.

Поморгала Явдоха, влезла в хатку и заткнула письмо за черный образ.

Потом пошла к кабану.

Кабан жил в дырявой пуньке, прилепившейся к хатке, так что ночью Явдоха всегда слышала, когда кабан чесал бок о стенку.

И думала любовно:

«Чешись, чешись! Вот слопают тебя на Божье нарожденье, так уж тогда не почешешься».

И во имя кабана подымалась она утром, напяливала на левую руку толстую холщевую рукавицу и жала старым, истолченным в нитку серпом крепкую волокнистую крапиву, что росла при дороге.

Днем пасла кабана в лощине, вечером загоняла в пуньку и громко ругала, как настоящая баба, у которой настоящее, налаженное хозяйство и все, славу Богу, как следует.

Сына не видала давно. Сын работал в городе, далеко. Теперь вот письмо прислал «з вармии». Значит, забрали, значит, на войне. Значит, денег к празднику не пришлет. Значит, хлеба не будет.

Пошла Явдоха к кабану, поморгала и сказала:

— Сын у меня Панас. Прислал письмо з вармии.

После этого стало ей спокойнее. Но с вечера долго не спалось, а под утро загудела дорога тяжелыми шагами.

Встала старуха, посмотрела в щелку — идут солдаты — много-много, серые, тихие, молчат. «Куда? что? чего молчат? чего тихие?»

Жутко стало. Легла, с головой покрылась, а как солнце встало, собралась в село.

Вышла, длинная, тощая, посмотрела кругом, поморгала. Вот здесь ночью солдаты шли. Вся дорога, липкая, вязкая, была словно ступой истолчена, и трава придорожная к земле прибита.

— Подыптали кабанову крапивку. Усе подыптали!

Пошла. Месила грязь тощими ногами и деревянной клюкой восемь верст.

На селе праздник был: плели девки венок для кривой Ганки, просватанной за Никанора, Хроменкова сына. Сам

Никанор на войну шел, а старикам Хроменкам работница в дом нужна. Убьют Никанора, тогда уж работницы не найти. Вот и плетут девки кривой Ганке венок.

В хате у Ганки душно. Пахнет кислым хлебом и кислой овчиной.

Девки тесно уселись на лавке вокруг стола, красные, потные, безбровые, вертят, перебирают тряпочные цветы и ленты и орут дико, во всю мочь здорового рабочего тела, гукающую песню.

Лица у них свирепые, ноздри раздутые, поют, словно работу работают. А песня полевая, раздольная, с поля на поле, далеко слышная. Здесь сбита, смята в тесной хате, гудит, бьется о малюсенькие, заплывшие глиной окошки, и нет ей выхода. А столпившиеся вокруг бабы и парни только щурятся, будто им ветер в глаза дует.

— Гой! Гэй! Го-о-о! Гой! Гэй! Го-о-о!

Ревут басом, и какие бы слова ни выговаривали, все выходит будто «Гой-гей-гоо-о!» Уж очень гудят.

Потискалась Явдоха в дверях. Какая-то баба обернулась на нее.

— У меня сын Панас, — сказала Явдоха. — Сын письмо прислал з вармии.

Баба ничего не ответила, а может, и не слыхала: уж очень девки гудели.

Явдоха стала ждать. Примостилась в уголочке.

Вдруг девки замолчали — сразу, точно подавились, и у самых дверей заскрипела простуженным петухом скрипка и за ней, спеша и догоняя, заскакал бубен. Толпа оттиснулась к двери, а на средину хаты вышли две девки, плоскогрудые, с выпяченными животами, в прямых, не суживающихся к талии, корсетах. Обнялись и пошли, притоптывая и подпрыгивая, словно спотыкаясь. Обошли круг два раза.

Раздвинув толпу, вышел парень, откинул масляные пряди светлых волос, присел и пошел кругом, то вытягивая, то загребая корявыми лапотными ногами. Будто не плясал, а просто неуклюже и жалко полз калека-урод, который и рад бы встать, да не может.

Обошел круг, выпрямился и втиснулся в толпу. И вдруг запросили все:

— Бабка Сахфея, поскачи! Бабка Сахфея, поскачи!

Небольшая старушонка в теплом платке, повязанном чалмой, сердито отмахивалась, трясла головой — ни за что не пойдет.

— И чего они к старой лезут? — удивлялись те, что не знали.

А те, что знали, кричали:

— Бабка Сахфея, поскачи!

И вдруг бабка сморщилась, засмеялась, повернулась к образу.

— Ну ладно. Дайте у иконы попрощаться.

Перекрестилась, низко-низко иконе поклонилась и сказала три раза:

— Прости меня, Боже, прости меня, Боже, прости меня, Боже!

Повернулась, усмехнулась:

— Замолила грех.

Да и было что замаливать! Как подбоченилась, как подмигнула, как головой вздернула и — их!

Выскочил долговязый парень, закренделял лапотными ногами. Да на него никто и не смотрит. На Сахфею смотрят. Вот сейчас и не пляшет она, а только стоит, ждет своей череды, ждет, пока парень до нее допрыгает. Пляшет-то, значит, парень, а она только ждет, а вся пляска в ней, а не в нем. Он кренделяет лапотными ногами, а у ней каждая жилка живет, каждая косточка играет, каждая кровинка переливается. На него и смотреть не надо — только на нее. А вот дошел черед — повернулась, взметнулась и пошла, — и — их!

Знала старуха, что делала, как перед иконой «прощалась». Уж за такой грех строго на том свете спросится.

А Явдоха сидела в уголку затиснутая, ничего ей видно не было, да и не нужно видеть, чего там!

Отдохнула, пробралась в сенцы.

В сенцах стоял жених Никифор и дразнил щепкой собаку.

— Някифор! Ты, може, грамотный. От мне сын Панас з вармии письмо прислал.

Жених помялся немного — не хотелось прерывать интересное дело. Помялся, бросил щепку, взял старухино письмо. Надорвал уголок, заглянул глазом, потом осторожно засунул палец и разорвал конверт.

— Это, действительно, письмо. Слушай, что ли: «Тетеньке Явдокии низко кланяюсь и от Господа здоровья. Мы все

идем походом, все идем, очень устали. Но не очень. Сын ваш Апанасий приказал долго жить. Может быть, он ранен, но ты не надейся, потому что он приказал долго жить. Известный вам Филипп Мельников». Все.

— Пилип? — переспросила старуха.

— Пилип.

Потом подумала и опять спросила:

— Ранен-то кто? Пилип?

— А кто его знает. Может, и Пилип. Где там разберешь. Народу много набили. Война.

— Война, — соглашалась старуха. — А може, ты еще почитаешь?

— Теперь нема часу. Приходи в воскресенье, опять почитаю.

— Ин приду. Приду в воскресенье.

Спрятала письмо за пазуху, сунула нос в избу.

— Ну чаво? — отстранил ее локтем парень, тот самый, что плясал, как урод-калека. — Чаво?

— От сына, от Панаса, письмо у меня з вармии. Пилип Мельников чи ранен, чи не ранен. Народу много набили. Война.

А вечером подходила к своей хатке, скользя по расшлепанной слизкой дороге, и думала две думы — печальную и спокойную.

Печальная была:

«Подыптали кабанову крапивку».

А спокойная:

«Прислал Панас письмо, пришлет и денег. Пришлет денег, куплю хлеба».

А больше ничего не было.

Новый крест

Панна Цеся на уголочке кухонного стола, между жирными сковородками и чашками, раскладывала карты.

В комнатах нельзя: сестра рассердится. Нехорошо под такой большой праздник карты в руках держать. Грех.

Кухарка Ховра делит большим ножом сало, косится на карты, молчит. Верно, тоже осуждает.

Дрожат руки у старой панны. Подносит к губам замасленную, расшлепанную, как старые туфли, колоду, шепчет:

— Покажи мне всю правду. Приедет — не приедет, — покажи мне всю правду.

Ложатся карты, пухлые, грязные, расслоившиеся по уголкам.

— Всю правду, всю правду! — шепчет старая панна.

Вот упали четыре шестерки, легли кругом короля.

— Опять дорога. Куда ж тебе такая длинная дорога, Ясь мой, Ясь?

— Цеся! — хрипит из комнаты голос сестры. — Цеся! Пора стол убирать. Скоро Ясь приедет!

Сама пани Заковская хозяйством не занимается. Она — вдова, у нее — ревматизмы и сын Ясь.

Ясь — доброволец; тут недалеко их полк, в двух переходах. Еще вчера должен был Ясь приехать: начальник обещал. Ну, приедет сегодня на святой ужин, на Велию будет здесь.

Пани ходит, переваливаясь, как старая утка, и на ходу вяжет зеленый гарус длинными спицами. Будут напульсники Ясю, такие же, как у нее. От ревматизма хорошо.

Лицо у пани серое, отекшее, а глаза красные.

Панна Цеся не смотрит на сестру. Накрывает на стол, суетится. Там, в кухне, ей легче. Там у старой Ховры на лице спокойная хозяйственная забота, у девчонки Ганки вся морда в сале — стащила тайком, — и глаза смеются. А у пани на лице тревога, и спицы дрожат.

— Ясь, мой Ясь, — шепчет панна Цеся. — Куда же тебе дорога такая большая?

Чего сестра тревожится? У сестры муж был, у сестры хозяйство, имение и долги. У нее, и кроме Яся, — все. А Цеся его купала, Цеся учила читать и молиться.

Убрали стол красиво. Поставили два горшка с геранью, а между ними — портрет покойного пана. У пана на портрете лицо добродушное, а глаза выкаченные, точно он кого-то нарочно пугал. Произошло это оттого, что заезжий еврей-фотограф не позволил пану моргать.

— Не миргайте! — грозил он ему кривым пальцем. — Не миргайте! Вы мне весь аппарат попортите!

Перед паном поставили бутыль сливянки, священные облатки и заливную рыбу.

Пани стала стричь бумагу, чтобы заткнуть ее в рот поросенку, а панна Цеся в кухне, на подоконнике, ловя слабый мглистый последний свет, еще раз разложила карты. И снова легли дороги: черные, красные, дневные, вечерние, спешные, дальние.

— Куда же ты, Ясь мой, Ясь?

Пани потребовала лампу: торопилась кончать напульсники.

Зажгли и отвернулись от окна, отобщились от мглистого света; и там, за окном, стала ночь.

И вдруг, сорвавшись, залаяла собака у самых дверей.

— Ну вот, ну вот! — затопоталась, засуетилась старая пани.

Задохнулась панна Цеся, прижав руки к груди.

Загудели голоса в сенцах, пахнуло морозом. Вошел пан Сливницкий, добрый шляхтич, сосед. С ним дочь и племянница.

— А мы думали, пан Ясь уж приехал!

— Нет еще. Ждем, ждем, скоро будет! — говорит пани.

— Да, теперь уж скоро! — повторяет Цеся и слушает душой свои слова и улыбается.

Пан Сливницкий седенький, розовый, веселый; любит поврать, но врет все на такие высокие темы, что и поймать его нельзя.

Молоденькие панны тоже веселые, бывалые. Одна училась целую зиму в Варшаве у модистки, другая — в прошлом году прогостила два месяца у ксендза в Смоленске. Повидали свету паненки, обо всем поговорить могут.

Сели у стола. Справились о здоровье.

— Я уж пять ночей не сплю, — говорит старая пани. — Пять ночей глаз не закрываю.

— Это бессонница, — решает розовый пан. — Нужно капли принимать, непременно капли.

— Нет, — устало говорит пани. — Никакой бессонницы у меня нет. А просто начну думать, сколько теперь молодых жизней на войне погибает, и вот не могу заснуть, и пять ночей уж не сплю, а бессонницы у меня никакой нет. Бессонницей я не страдаю.

Подождали немножко; потом решили, пока Ясь подъедет, попробовать рыбы. Угостили пана сливянкой. У пана покраснел носик, и начался разговор о политике.

— Ах, хорошо теперь Польше будет, светло теперь будет! — вздыхала старая пани. Вздыхала не о том, что будет светло, а о том, что было темно...

— Над крестом придорожным навес сделала. Когда у Яся корь была, дала я обет новый навес сделать. Поправился Ясь — навес построили, красивый, с резным верхом. Начальство узнало — все долой снесло. Нельзя тогда было. Не позволял закон польские кресты подновлять. Испугалась я: думала, накажет меня Бог, что слово не сдержала. А вот дождалась, и видит Бог мою правду. Яся сохранит.

Потом пан стал врать, как в молодости во время беспорядков по Варшаве гулял.

— Пошел я утром, часов в семь, по Маршалковской с английским посланником погулять. Ну, посланник, конечно, человек элегантный, идет себе во фраке, в калошах, все как надо. Я себе тоже прилично оделся. Вдруг «бах! бах!» Что такое? Скачут казаки. Увидели нас. Что такое? На-плечо! Раз, два, три, пали! Целый полк прямо на нас «трррах!» Мало не оглохли. Мне ничего, так немножко только белье помялось, а у английского посланника обе фалды у фрака как отрезало. Теперь этот фрак у них в Лондоне, в Виндзорском аббатстве выставлен.

Старая пани сочувственно кивала головой. Бывалые девицы шептались и хихикали. Пана Цеся сходила в свою каморку, пригладилась, сняла передник и снова пришла.

Выглянула из кухни кухарка Ховра:

— Чи не погукать нам паныча? Скорей подъедет.

Пошла через сени. Выскочила откуда-то сбоку девчонка Ганка, и через непритворенную дверь донесся со двора переливчатый индюшечий голосок ее:

— Ясю-у! Ясю-у!

И голос Ховры о́кал, точно икал:

— Паныч-ок! Паныч-ок!

— Предрассудок! — решил веселый пан. — Не может человек за десять или сколько там верст услышать, как его гукают. А если и услышит, — потому что есть такие законы природы, которые нам и неизвестны, — так все равно на плохих лошадях, как там ни старайся, скоро не прискачешь.

Вернулась Ховра с Ганкой с испуганными, видевшими полевую снежную ночь глазами.

Потом угощали веселого пана и паненок ячменной кутьей. И вдруг снова залаяла собака, и затоптались пани:

— Ну вот! Ну вот!

И застукало болью сердце у панны Цеси.

Потом заскрипели шаги у дверей, и много молодых голосов спросило о чем-то.

— Звезда! — сказал кто-то. — Со звездою пришли!

Вошли гурьбою мальчишки из соседнего села, в шарфах, шапках, рукавицах, все не по росту. Их собственные, настоящие были только красные щеки да блестящие глаза, ничего общего со всей покрышкой не имеющие, точно выглядывали они из неуклюжего футляра.

Поставили на шесте большую звезду, яркую, пеструю, всю из цветных фонариков. Завертели звезду и запели старую польскую песню о том, как ночью в яслях на желтой соломе лежал Младенец-Христос. Как склонялись вокруг Христа Божьи ангелы с волосами из чистого золота. «Злоты влосы! Злоты влосы!..», — пели мальчики, и глаза их, блестящие беглыми цветными бликами вертящихся фонариков, казались удивленными и вдохновенными, точно видели красивое чудо.

— Дай им, Цеся, по шматку сала и полендвицы, — вздохнула пани, когда дети замолкли.

И снова заскрипели шаги у дверей и под окошком, а потом видно было вдали, как подымался цветной огонек звезды на гору.

Скоро ушел и веселый пан со своими паненками.

— Большие бои идут, — сказал он, уходя, серьезным, словно не своим голосом. — Близко. Кто знает, что завтра будет.

И прибавил по-прежнему оживленно и бодро:

— Пану Ясю наш привет. Пусть отдохнет, а мы завтра придем повидаться.

Старая пани ушла в свою спальню думать о войне. Бессонницы у нее не было, а только спать она не могла, потому что думы мешали.

А Цеся все убирала, прибирала, устраивала. В каморку свою спать не пошла: нужно, чтоб кто-нибудь Ясся встретил. Села у окошка, задремала. Приснилось, что Ясь приехал, весь в золоте.

— Спасибо, что крест подновили. Теперь вижу я, что, правда, для Польши светло будет.

Проснулась панна Цеся, пошла в кухню, поставила чайник в печку, чтобы для Ися теплый чай был. И снова задремала, и снова Ясь приехал. И много раз просыпалась и много раз засыпала панна Цеся и, засыпая, каждый раз встречала Яся и, просыпаясь, каждый раз тосковала, что нет его.

Уснуть бы и остаться там, где он приезжает. Где-то там лежат его длинные дороги: черные, красные, дневные, вечерние, спешные, дальние, и приезжает он по этим дорогам веселый и радостный и кресту своему новому радуется. А здесь вот нет его. Здесь тоска и тревога, и с тех далеких дорог, видно, не сюда он приехал.

Догорела лампа, зачадила керосинным угаром; заплакал в оконную щелку метельный ветер свирельным детским плачем, и забелел новый мутный день.

Панна Цеся вышла на крылечко. Мертвый начинался день. Весь белый, весь холодный и неясный, от прошедшей ночи не оторванный, и тянул от этой ночи длинную тягучую тоску.

Прислушалась панна Цеся. Тихо.

Огляделась. Гладко. Ровная, белая лежала земля, и чувствовалось, что твердая она и круглая. Вон там, за сизой полоской, у серых туч поворачивает, круглится вся белая, вся пустая и тихая земля.

— Ты взяла? — спросила панна Цеся.

Встрепенулось что-то, закурился снежок на бугре легким дымком, замелся, завеялся, и сгладился бугорок.

Тихо.

Сказка жизни

Памяти Ямбо

Я давно говорила, что жизнь — плохая беллетристика.

Сочиненные ею рассказы и романы часто бывают так нехудожественны, неестественны и безвкусны, что, доведись написать такую штуку писателю с именем, он на долгое время испортил бы себе репутацию.

В рассказах жизни часто замечается какая-то спешная работа, непродуманность. К веселому водевилю, с пением и танцами жизнь сплошь и рядом приклеивает совершенно неожиданный, трагический конец. К прекрасной трагедии гамлетовской души вдруг прицепить такую канканную развязку, что стыдно и больно делается за действующих лиц, осужденных разыгрывать такую безвкусицу.

Но та сказка жизни, о которой я узнала недавно, наивная по форме и символам, но трогательная и глубокая, рассказана ею с таким тонким художественным чувством, с такой простотой великого мастера, что, вероятно, не скоро она забудется.

Сказка эта — почти детская сказка, — так, повторяю, проста она по своим символам. Потому что какой же ребенок не знает, что голуби символизируют чистоту и невинность, тигр — кровожадность, лисица — хитрость и слон — величину и силу.

Смысл сказки — вечная трагедия великой человеческой души в ее стремлении к свободе.

Форма сказки — история слона Ямбо.

Жизнь не побоялась быть банальной. Она не выбрала героем рассказа какое-нибудь другое существо. Раз речь идет о большой, очень большой силе, она символом ее взяла слона. Именно для того, чтобы все было просто и ясно. Чтобы даже совсем маленькие дети поняли, в чем дело.

Начинается рассказ с того, как слон вдруг взбунтовался и не пожелал больше нести гнет неволи.

О его прошлой жизни, о его покорности нам ничего неизвестно. Это обыденно и для художественного рассказа не нужно.

Мы знаем только, что он, как каждое разумное существо, должен был приносить пользу, служить науке или искусству.

Он служил и науке, и искусству.

По воскресеньям подходила к его ограде толпа учеников городских школ. Мальчишки смотрели на слона. Слон на них.

— Слон! Млекопитающее. Вот, должно быть, много молока лопает!

— А долго слоны живут?

— Лет четыреста. Слон в пятьдесят лет еще грудной считается.

Вечером приходили пьяные мастеровые и тыкали в хобот окурками.

— Га-га-га! Сердится!

— А и большой! Что твой боров!

— В тыщу раз больше. Его лошадиным мясом питают. Оттого это так.

Так служил он науке.

Для служения искусству его выводили вечером на эстраду и заставляли становиться большими, неуклюжими, словно распухшими ногами на деревянный бочонок. При этом музыка играла вальс. Люди платили за это зрелище свои жалкие, нажитые трудом и обманом, деньги и радовались. Искусство облагораживает душу.

Так он служил искусству.

Но рассказ начинается тогда, когда он взбунтовался и вся огромная сила его рванулась к свободе.

— Хочу!

— Он хочет свободы! Он взбесился!

Стали хитрить и подличать. Заискивали и ковали цепи покрепче.

Самый яркий, острый момент трагедии — это когда привели к Ямбо «кроткую слониху», так часто помогавшую дрессировщикам.

В чьей жизни не было этой «кроткой слонихи», помогавшей дрессировщикам заковать цепи покрепче. И как много, как бесконечно много раз оправдывала она возложенные на нее надежды!

В истории людей великих духом и павших или устоявших почти всегда можете услышать вы о такой слонихе.

Но Ямбо не пал. Слониха произвела на него самое приятное впечатление, он даже пришел в благодушное настроение. И этим воспользовались, чтобы подойти к нему с новой цепью, новым железным кольцом.

И там, где многие смирялись, Ямбо восстал, восстал последним бунтом.

И этот последний его бунт жизнь рассказала так красочно, так сказочно ярко, так небывало легендарно, как побоялся бы выдумать самый смелый поэт-фантаст, чтобы его не сочли безумным.

Крики испуганных птиц, визг хищников, радующихся взреявшему вихрю свободы и трусящих перед ним старым

властелином – человеком, и трепещущие, бледные люди, растерявшиеся и растерявшие все атрибуты своей огромной власти, свою науку, давшую все возможности убивать безопасно и просто, – и этот гигант, потрясающий палицей, как один огромный, бешеный и стихийный порыв:

– Свободы!

Жизнь, рассказывая эту сказку, не забыла и одной, очень тонкой психологической детали: когда Ямбо увидел направленные на него ружья, он вдруг бросил свою палицу и завилял хвостом. Он решил сдаться. У него оказалось слишком человеческая душа, у этого слона. Только бессмысленные разъяренные звери не умеют вилять хвостом, поняв жалкую безысходность своего положения.

Но люди не поверили Ямбо. Они сами умеют вилять хвостом. Они не поверили. И если бы поверили, конец сказки не вышел бы таким художественно-цельным.

Он сдался, и его расстреляли. Медленно, жестоко. С выбитыми глазами, как ослепленный Самсон на пиру филистимлян, стоял он в луже своей крови и тихо стонал, не двигаясь.

Кругом была большая толпа народа. И, наверное, матери поднимали своих детей, чтоб те лучше видели.

– Вон какая громадная сила погибла, стремясь к свободе. Смотрите! Помните!

Сказка о слоне Ямбо рассказана до конца, и скелет его, наверное, уже украсил какой-нибудь зоологический музей.

Но пусть хоть те, кто с таким удовольствием читают чувствительные стихи о бедных узниках и с таким восторгом слушают мелодекламацию завывающего актера под тренькающий рояль о том, что «свобода – это счастье!», пусть хоть они вспоминают иногда наивную и трогательную сказку, рассказанную жизнью о слоне Ямбо.

Тихая заводь

У каждого моря, у большой реки и у бурного озера есть своя тихая заводь.

Вода в заводи прозрачная, спокойная. Не шуршат камыши, не рябится гладь. Затронет крылышком стрекоза или вечерний комар, длинноногий плясун, – и то уже событие.

Если подымешься на крутой берег да взглянешь вниз, — сразу увидишь, где она начинается, эта тихая заводь. Словно по линейке отрезана чертой.

Там, на большом просторе, тоскуют и мечутся волны. Мотаются из стороны в сторону, как от безумия и боли, и вдруг последним, отчаянным усилием прыгнут, взметнутся к небу и снова рухнут в темную воду, и рвет ветер клочья их бессильно-бешеной пены.

А в за́води, за священной чертой, тихо. Не бунтуют волны ее, не рвутся к небу, но небо само приходит в нее, днем — лазурью и дымными тучками, ночью — всею тайною звезд.

Усадьбу зовут Камышовкой.

Видно, когда-то была она на самом берегу реки. Но река отошла, бросив на память маленькое синеокое озерко — утиную радость, да кучу жесткого камыша, растущего в палисаднике.

Усадьба заброшена, забита, заколочена.

Жизнь теплится только во флигеле — кривоглазом, покосившемся домишке.

Живут в нем отставная прачка и отставной кучер. Живут не просто, а сторожат барское добро.

У прачки от старости стала борода расти, а кучер, подчиняясь более сильной прачкиной индивидуальности, так обабился, что сам себя называет Федорушкой.

Живут строго. Разговаривают мало, и так как оба слышат плохо, то каждый говорит свое. Если что и удается расслышать, то понимается оно туговато, так что уж, конечно, интереснее просто рассказывать про свое, родное, давно пережитое, хорошо понятое и много раз вспомянутое.

Кроме кучера да прачки, живут в усадьбе и другие живые души: хитрая лошадь, думающая только об овсе да как бы поменьше работать, и обжора корова. Есть, конечно, и куры, да только трудно их упомнить: не то их четыре, не то — пять. Если бросишь им зерна да не забудешь приговорить: «Ну-ка, с Богом, поклевать!» — прибегут четыре. А забудешь приговорить, тут как тут пятая. И откуда она берется, неизвестно, и больше всех зерна слопает и других кур задирает. Большая, серая, и видно, что не благословясь клюет.

Хлопот много. Добро барское. Приедет барыня, спросит:

— Кто мое зерно склевал? Четыре али пять носов клевало?

Что тут скажешь?

Отчета оба боятся: и кучер, и прачка. Зима холодная была, дров пожгли много. Испугались и надумали: за рекой казенные дрова сложены на весну для весеннего сплава. Запрягли лошадку, съездили за реку. Вышли дрова. Еще раз съездили. И так славно, дрова хорошие и ездить недалеко. Лошадь, на что хитрая, и та не притворялась, что устала. С удовольствием везла.

И вдруг чудеса: пожалте к мировому.

Мировой спрашивает: зачем дрова брали?

Как так зачем? Печку топили. Своих-то ведь сколько спалили. Барыня приедет — забранит.

Мировой ничего, не ругался, только велел назад отдать. И чего жадничают? Одни с ними неприятности.

И откуда это он все узнал, мировой-то? Кажись, никого и не встречали, как за дровами ехали. Следы, — говорят, — от полозьев прямехонько через речку к дровам да назад, к вашему двору.

Следы? И хитер нынче народ стал. До всего додумаются.

День теплый. Четыре рыжие курицы клюют, благословясь, разломанную корку.

На крылечко вынесен стол. Будет чаепитие. Нынче гости. Пришла из деревни кучерова родня — сдвуродная племянница, девка Марфа. Марфа — именинница, пришла поздравиться.

Девка большая, белая, костистая, полоротая. Платье на ней именинное такого нестерпимого бешено-розового цвета, что даже в синь впадает. День выдался светлый, красный; травка молодая, ядовито-зеленая, небо сине-синее, цветы в траве желтые, что солнышки, — уж на что ярко, — но перед девкиным платьем все потускло и померкло.

Старуха прачка смотрит на платье, щурится, жмурится, и все ей кажется, что девка не с подобающим достоинством держит себя.

— Чего ты все егозишь-то? — ворчит старуха. — Рази показано егозить. Ты сегодня именинница, на тебя с неба твой ангел утешается, а ты, как телушка, хвостом во все стороны.

— И что вы, бабинька Пелагея? — удивляется девка. — Да я как села, так и не крянулась.

Щурится старуха, жмурится на бешеное платье и понять не может, в чем дело, отчего у нее так в глазах мутно.

— Пойди самоварчик принеси.

Пришел кучер. Лицо озабоченное, брови сдвинутые, — печать общения с хитрой лошадью.

— Опять весь овес съела. Сколько ни задай, все подчистит. Этакая хитрая! Не каждый человек так сумеет. Иной человек куда проще. Барыня приедет, забранит.

— Забранит, забранит! — поддакивает прачка. — Эстолько добра перевела! А сама виновата. Целую зиму-зимнюю мужика кормит. Разве дешево мужика прокормить? Мужику картофелю подавай, да еще с маслом, да кашу ему, да хлебово. Разве мужик может сообразить, чтобы поменьше есть? Ему лишь бы ятребу свою набить.

Кучер сочувственно качает головой и даже вздыхает. Он, хоть и смутно, соображает, что «мужик» — это и есть он. Но что тут поделаешь? Он в глубине души чувствует даже некоторое благоговение к этому своему естеству.

— Мужик, он — дело известное. Разве он соображать станет!

Полоротая девка принесла самоварчик с зелеными потеками.

— Садитесь чай пить!

Старуха замигала, защурилась.

— Ты это кому говоришь-то? Кого собираешь-то?

Девка опешила.

— Да вас, бабинька, да вас, Дединька.

— Так, так и говорить надо. Этак тоже вот одна бабка собрала ужинать. «Идите, мол, — говорит, — садитесь за стол». А не сказала, что, мол: «Крещеные, садитесь». Ну, и полезли всякие: и с печки, и с запечья, и с полатей, и с лавок, и с подлавочья, невиданные-неслыханные, недуманные-незнанные. Глазищами зыркают, зубищами щелкают. Позвала, мол, — так корми. А ей-то каково? Всех не накормишь.

— Ну, и что ж они? — выпучила глаза девка.

— Ну, и то.

— Что?

— Ну, и сделали.

— А что же сделали?

— А что надо, то и сделали.

— А что же, бабинька, надо-то?

— А вот спрашивай-спрашивай. Он-те ночью поспрашивает.

Девка от страху ежится и косит глазом.

— И чего ты все егозишь-то? — щурится старуха на бешено-родовую девкину юбку. — А еще именинница. Именины — святой день. На Зосиму-Савватия пчела именинница. Пчела — простая тварь, а и то в свой день не жужжит, не жалит: на цветочек сядет, — про свово ангела думает.

— Лошадь на Фрола и Лавра проздравляется, — вставил кучер, дуя на щербатое блюдечко.

— В Благовещенье — птица именинница: гнезда не вьет, клеву не клюет, поет, и то тихенько, очестливо.

— В Власьев день вся скотина проздравляется, — снова вставил кучер.

— А в Духов день — земля именинница. В Духов день землю никто беспокоить не смеет. Ни рыть, ни копать, ни цветов рвать — ничего нельзя. Покойников зарывать нельзя. Грех великий землю в ейные именины обидеть. Зверь понимающий — и тот в Духов день землю когтем не скребнет, копытом не стукнет, лапой не ударит. Великий грех. Кажная тварь именины понимает. Червяк — и тот под Ивана Купалу празднует. Огоньки вздует — ангелу своему молится. А вот придет святой день Акулина — Красные Ягоды, — тут тебе и клубника, и малина, и лесная земляника, и клюква, и поляника, и брусника, и смородина, и всякая мелочь лесная именины свои празднует. На Акулину — Красные Ягоды ни волк, ни лиса, ни заяц на ягоду не наступят. На что медведь — и тот опасается. Носом траву пороет, — нет ли чего, не нажить бы беды, — а потом шаг шагнет.

Девка косится испуганно, подбирает прямоступные ноги под розовую юбку. Сопит, вздыхает.

Кучеру тоже захотелось поговорить.

Он мало знает. Был в солдатах. Давно. Гнали на неприятеля. А потом еще куда-то гнали. И еще гнали. А куда — и не помнит. Всего не упомнишь.

— Три года дома не был. А пришел домой, жена: «Федорушка, здравствуй». Детки то же. А в углу, смотрю, люлька.

В люльке пеленашка. Пеленашка так пеленашка. На другой день старшенькую свою спрашиваю: «Это кто же у вас в люльке-то?» — «А это, — говорит, — маленький». Ну, маленький так маленький. А на третий день спрашиваю старшенькую: «А откуда же у вас маленький-то взялся?» — «А бабушка, — говорит, — принесла». Ну, бабушка так бабушка. Расти стал. Слышу, — Петькой зовут. Ничего, выкормился. О прошлом годе сына женил, Петька-то. А я так и не спросил, откуда он. Теперь, чать, и сами забыли...

— Вот не помню, — шепчет старуха. — Не помню, когда корова именинница... Неловко так-то не знать. Стара стала, забывчива. А грех, коли обидишь...

Заперли калитку за розовой девкой. День прошел, спать пора.

Трудный был день. Сразу и не заснешь после такого дня. После гостей всегда плохо спится. Чаи, да разговоры, да наряды, да суетня всякая.

— И когда это корова именинница? Вот не вспомнишь, а не вспомнив, обидишь, попрекнешь либо что, и грех. Она сказать не может, смолчит. А там наверху ангел заплачет...

Худо старому человеку! Худо!

Ночь за окошком синяя. Напоминает что-то, а что, — вспомнить нельзя.

Тихо шуршат забытые рекой камыши.

Ушла река. Камыши забыла.

Чёртик в баночке

(Вербная сказка)

Я помню.

Мне тогда было семь лет.

Все предметы были тогда большие-большие, дни длинные, а жизнь — бесконечная.

И радости этой жизни были внесомненные, цельные и яркие.

Была весна.

Горело солнце за окном, уходило рано и, уходя, обещало, краснея:

— Завтра останусь дольше.

Вот принесли освященные вербы.

Вербный праздник лучше зеленого. В нем радость весны обещанная, а там — свершившаяся.

Погладить твердый ласковый пушок и тихонько разломать. В нем зеленая почечка.

— Будет весна! Будет!

В Вербное воскресенье принесли мне с базара чертика в баночке.

Прижимать нужно было тонкую резиновую пленочку, и он танцевал.

Смешной чертик. Веселый. Сам синий, язык длинный, красный, а на голом животе зеленые пуговицы.

Ударило солнце в стекло, опрозрачнел чертик, засмеялся, заискрился, глазки выпучены.

И я смеюсь, и я кружусь, пою песенку, нарочно для черта сочиненную.

— День-день-дребедень!

Слова, может быть, и неудачные, но очень подходящие.

И солнцу нравятся. Оно тоже поет, звенит, с нами играет.

И все быстрее кружусь, и все быстрее нажимаю пальцем резинку. Скачет чертик, как бешеный, звякает боками о стеклянные стенки.

— День-день-дребедень!

— А-ах!

Разорвалась тонкая пленочка, капает вода. Прилип черт боком, выпучил глаза.

Вытрясла черта на ладонь, рассматриваю.

Некрасивый!

Худой, а пузатый. Ножки тоненькие, кривенькие. Хвост крючком, словно к боку присох. А глаза выкатил злые, белые, удивленные.

— Ничего, — говорю, — ничего. Я вас устрою.

Нельзя было говорить «ты», раз он так недоволен.

Положила ваты в спичечную коробочку. Устроила черта.

Прикрыла шелковой тряпочкой. Не держится тряпочка, ползет, с живота слезает.

А глаза злые, белые, удивляются, что я бестолковая.

Точно моя вина, что он пузатый.

Положила черта в свою постельку спать на подушечку. Сама пониже легла, всю ночь на кулаке проспала.

Утром смотрю, — такой же злой и на меня удивляется.

День был звонкий, солнечный. Все гулять пошли.

— Не могу, — сказала, — у меня голова болит.

И осталась в ним нянчиться.

Смотрю в окошко. Идут дети из церкви, что-то говорят, чему-то радуются, о чем-то заботятся.

Прыгает солнце с лужи на лужу, со стеклышка на стеклышко. Побежали его зайчики «поймай-ловлю»! Прыгскок. Смеются-играют.

Показала черту. Выпучил глаза, удивился, рассердился, ничего не понял, обиделся.

Хотела ему спеть про «день-дребедень», да не посмела.

Стала ему декламировать Пушкина:

Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное теченье,
Береговой ее гранит...

Стихотворение было серьезное, и я думала, что понравится. И читала я его умно и торжественно.

Кончила, и взглянуть на него страшно.

Взглянула: злится — того гляди, глаза лопнут.

Неужели и это плохо? А уж лучшего я ничего не знаю.

Не спалось ночью. Чувствую, сердится он: как смею я тоже на постельке лежать. Может быть, тесно ему, — почем я знаю.

Слезла тихонько.

— Не сердитесь, черт, я буду в вашей спичечной коробочке спать.

Разыскала коробочку, легла на пол, коробочку под бок положила.

— Не сердитесь, черт, мне так очень удобно.

Утром меня наказали, и горло у меня болело. Я сидела тихо, низала для него бисерное колечко и плакать боялась.

А он лежал на моей подушечке, как раз посередине, чтобы мягче было, блестел носом на солнце и не одобрял моих поступков.

Я снизала для него колечко из самых ярких и красивых бисеринок, какие только могут быть на свете.

Сказала смущенно:

— Это для вас!

Но колечко вышло ни к чему. Лапы у черта были приклеплены прямо к бокам вплотную, и никакого кольца на них не напялишь.

— Я люблю вас, черт! — сказала я.

Но он смотрел с таким злобным удивлением:

Как я смела?!

И я сама испугалась, — как я смела! Может быть, он хотел спать или думал о чем-нибудь важном? Или, может быть, «люблю» можно говорить ему только после обеда?

Я не знала. Я ничего не знала и заплакала.

А вечером меня уложили в постель, дали лекарства и закрыли тепло, очень тепло, но по спине бегал холодок, и я знала, что когда уйдут большие, я слезу с кровати, найду чертову баночку, влезу в нее и буду петь песенку про «день-дребедень» и кружиться всю жизнь, всю бесконечную жизнь буду кружиться.

Может быть, это ему понравится?

Их дети

Яркий весенний день. Зеркальный асфальт Берлина звонко отвечает ударами каблуков. Эта узенькая улочка, куда выходит окно моей комнаты, похожа на коридор другого отеля, — так она чиста и нарядна и украшена цветами.

Как раз против меня городская школа.

Скоро начнутся уроки.

То в одном, то в другом окне, обрамленном вьющимися бархатно-оранжевыми цветами, показывается фигура учительницы, — рослой белокурой девушки, совсем еще молодой. Руки у нее, как лапы к породистого щенка, слишком

велики по ее росту. Волосы туго свернуты на затылке, юбка прикрыта полосатым передником.

Учительница вытирает пыль с подоконников и поет тонким носовым сопрано популярную сентиментальную песенку:

Das war im Schöneberg
Im Monat Mai.

Поет наивно-убедительно, сама вся розовая, вся свежая и чистая.

А внизу уже собираются дети.

Раноше определенного часа они войти в школу не смеют. Опоздать тоже боятся и поэтому ждут у подъезда.

Плотные, румяние мальчишки рассказывают друг другу что-то деловое, серьезное.

Вероятно, о том, как кто-то кого-то бил, потому что выражение лица у них вызывающее, и сжатый кулак то угрожающе трясется в воздухе, то подъезжает под самый нос собеседника.

Девочки чинно стоят или прогуливаются под ручку мимо подъезда. Две или три тут же вяжут крючком толстые уродливые кружева — свое будущее приданое.

«Das war im Schöneberg», — звенит из бархатно-оранжевых цветов голосок учительницы.

Девочки покачивают в такт гладко расчесанными головками. Придет их время, — и они тоже запоют о том, как сладко целоваться в веселом Шонеберге в зеленый месяц май.

Вдоль улицы, прижимаясь к стенам, медленно ковыляет маленькая темная фигурка. На спине ранец, такой же, как и у всех школьников, но он кажется огромным, он торчит далеко от затылка, потому что мальчик, несущий его, — горбун. Медленно ковыляет маленький калека, подпирая костылем высокое острое правое плечо. Подходя к школе, он движется все медленнее.

Ему трудно, или просто устал, но, кроме того, он как будто боится чего-то. Он так жмется к стене и, на минуту укрывшись за водосточной трубой, вытягивает шею и смотрит на группу детей у подъезда.

Потом вдруг, точно выбрав момент, быстро, насколько позволяет костыль, перебегает через улицу и, притаившись

за большим фургоном с мебелью, долго тяжело дышит. Потом, снова вытягивая шею, смотрит на детей и снова прячется. Может быть, он играет и хочет, чтобы дети искали его?

Но он стоит тихо, — так тихо, что потрясающие кулаками деловитые румяные мальчики и озабоченные будущим приданым девочки, по-видимому, и не подозревают о его присутствии.

Но вот смолкает песня о Шонеберге и поцелуях. Звенит острый, тонкий колокольчик, и дети, подталкивая друг друга, быстро выходят в подъезд. Маленький калека, вытянув шею, наблюдает за ними.

Когда закрылась дверь за последним румяным мальчиком, горбун выждал минутку и вдруг решительно заковылял прямо к школе. Он с трудом протиснулся в тяжелую дверь, весь кривой, маленький и испуганный.

В продолжение двух часов с небольшим перерывом из окошек, цветущих бархатистыми цветами, доносился громкий повелительный голос учительницы.

Голос этот, резкий, злой, невыносимый. Голос этот не пел никогда о сладких поцелуях мая, он ничего не мог о их знать, — это мне, верно, послышалось. И снова зазвенел острый колокольчик, и толпа детей распахнула двери подъезда.

Маленького калеки не было с ними. Он вышел, когда они были уже в конце улицы, и снова спрятался за фургон с мебелью.

Но ему не повезло. Одна из чистеньких девочек, обернувшись, заметина его маневр. Она засмеялась, захлопала в ладоши и закричала что-то.

Ну, конечно, моя первая догадка была верной. Конечно, это игра, веселая детская игра.

Дети бегут, смеются.

Но какой странный маленький горбун. Он весь притих, он втянул голову в плечи и так странно дрожит. Неужели он плачет?

Дети подбегают к фургону.

Впереди всех та девочка, которая первая заметила его. Она визжит, кричит какое-то слово, которое я не могу разобрать, и громко смеется. Она, должно быть, самая веселая, эта белобрысая девочка. И потом она первая заметила, как

прячется их маленький товарищ, и должно быть, чувствует себя царицей этой забавной игры.

Они все бегут и все визжат, и все повторяют то же слово.

И вдруг горбун громко заплакал и побежал, — побежал большими прыжками, упираясь всеми силами на свой костыль. Он на ходу поворачивал к детям свое жалкое лицо с распяленными бледными губами и все плакал громко, привычным и им, и ему плачем.

— Урод! Урод! — смеялись дети.

Теперь я отчетливо расслышала это слово:

— Урод!

А маленькая девочка, царица игры, быстро скрутила какой-то комочек, — может быть, из тряпок, может быть, из камешков, — и бросила его вслед горбуну.

Девочка была ловкая, — комочек щелкнул горбуна прямо по короткой ноге.

— Урод! Урод!

Из цветущего окошка высунулась голова учительницы.

Усмехнулось розовое лицо. Но она погрозила пальцем и сказала резко и определенно:

— Ruhig! Тише! На улице нужно вести себя прилично.

Дети притихли, зашептались и, с трудом гася вспыхнувшее веселье, стали чинно расходиться.

Горбун скрылся за углом.

В цветущем бархатно-оранжевом окошке долго улыбалось полное розовое лицо, спойное, довольное, и тонкий носовой голосок сантиментально и искренно звенел о радости весенних поцелуев.

Ваня Щеголек

Г. Е. Жукову

Врач был опытный. Осмотрев раненого № 67, сказал:

— Отделить и понаблюдать.

Я тоже стала опытная и поняла: «отделить и понаблюдать» значило, что номеру шестьдесят седьмому капут.

— До утра доживет?

Доктор поморщился, двинул губами вбок, приподнял глаза и ничего не сказал. Это значило: может быть, но вернее, что нет.

Мое дежурство кончится в двенадцать ночи. Передам ли я его живым, — этот номер шестьдесят седьмой?

Его перенесли в уголок около двери — иначе отделить невозможно при нашей тесноте.

Он был очень молодой, какой-то весь яркий и горящий.

— Чего они на меня все морщатся? — сердито спросил он. — Думают — я помру? Ничего я не помру. Так и скажи им, что не помру. Выдумали тоже. Некогда мне.

— Что тебе некогда?

— Помирать некогда. Я домой поеду. Пускай смерть за мной всугонь бежит. Я от ей утекну. Я ни за что не помру. Некогда мне. Хочу домой. Дома красиво. Я и сам баской.

Он повернулся, чтобы я видела его лицо. Действительно, красив был. Смуглый, быстроглазый, с сросшимися союзными бровями — будто черная птица раскинула крылья.

Показал он лицо свое так просто, словно не его оно, а какая-нибудь посторонняя красивая вещь, что досталась ему случайно, он и радуется.

— Вот смотри.

Ну, что тут скажешь?

— Лежи тихо, не вертись. А то больно будет.

— Домой хочу. Все красиво будет. Ничего дрянного не хочу. Прочь его. Раскидаю направо, налево.

Он вдруг раздвинул брови, полуоткрыл рот, словно улыбнулся.

— А видала ты, сестрица, как лебеди пьют?! Дикие лебеди. У нас в Сибири много. Не видала? Нужно с подветру тихо подойти, камыш не рушить — ти-ихо. Он ведь не человек, он гордый, близко не подпустит. Тихонько смотри. А он грудью на воду ляжет, а той воды, что все видят, да все знают, пить не станет. Он ударит клювом вправо, влево, размечет брызгами, разобьет гладь — гей! — да в самую сердцевину, в нетронутую, в невиданную, в незнанную голову окунет. А ты смотри, не дыхни. Он — не человек, он гордый, он не подпустит. Ты видала? Я видал. А ты говоришь — помирать!

— Что ты, голубчик! Я не говорила. Бог даст, поправишься.

— Пущая смерть всугонь бежит — утекну. Я, Ваня Щеголек, первый бегун, первый игрунок. Мне некогда, мне еще надо на полянку ходить, ведмедя смотреть. Луна светит, томно ему. Лежит на спине, брюхо мохнато, лапы задрал, гнилую корягу цапает. Бренькает гнилье, щепится — брррынь. А ведмедь цапнет да слушает и урлит — уррр... Поет, — ндравится. А зимой в мерлог тихо у него. Тепло. Лапу сосет и сны снит. Снит, быдто лапу-то в мед запустил. Сосет. Сладко. А пчелы кругом так и звенят, так и гудят, заливаются. Шевельнулся, проснулся — ан и не пчелы, а собаки, псы человечьи над мерлогой брешут, лают, заливаются. Страх в живот подступил. Вскочил — и нет ничего. И все сам наснил. Обидится, уляжется, опять лапу засосет; ведмежий покой до весны сладок. А весной вылезет — худой, шесть мотается, шкура-бура болтается — смехота. А ты говоришь — помирать.

— Помолчи-ка ты лучше, усни.

— Не хочу спать. Некогда мне. Я домой хочу. Лесных-то людей, небось, не видала? А я увижу. Наши-то видали. В тайгу надо подальше, да поглыбже, низком, ползком по подкорью, топориком врубаться, векшей продираться, гадючкой прошныривать. А там полянка, а на полянке они и бывают. Сидят, лапти плетут. Как выскочишь на них, сразу гони, пугай, не давай им друг к дружке прицепиться, потому лесной человек кажный об одной ноге. У одного правая, у другого левая. Обнимутся вместе и побегут. И загубить могут христианскую душу. А как не дать им друг до дружки добежать да спариться, тут они на одной ножке прыг, скок, да и свалятся. Тогда бери голой рукой, поясом вяжи, домой тащи, а он те и сказки, и песни, и было-небыло, все. А ты говоришь — помирать. Мне нельзя помирать, мне некогда. Я Ваня Щеголек, первый бегун, первый игрунок. Пущай она за мной всугонь бежит. Я утекну. Плечи у меня широкие, ноги крепкие, и сам я баской. Ни за что не помру.

В полночь сменили меня. А утром я снова пришла в лазарет.

Спрашивать не хотелось. Пошла прямо к тому месту, к углу около двери.

Кровать стояла белая, тихая, ровная, застланная чистой, шладкой простыней.

Ровно, гладко... Нету Вани Щеголька.

Кончено.

...«Знаешь ты, как лебеди пьют? Дикие лебеди? Воду нетронутую, невиданную, незнанную?»...

Знаю.

Лодка

«..... Иисус стоял на берегу; но ученики не узнали, что это Иисус».

Иоанн, 21, 4.

Она так и смогла уснуть. Она — сестра Веретьева.

Руки болели, ноги, спина; в ушах звенело, и все будто стонал тот раненый.

....

....

Встала, посмотрела — ничего нет. Просто тулуп свернутый.

Но больше не легла, а тихонько вышла.

На дворе было уже светло. У соседней избы, где помещались операционная и часть лазарета, суетились солдаты — наливали воду в чаны.

Веретьева прошла на полянку к реке.

Здесь был какой-то свой праздник. Молоденькое солнце брызгало на реку быстрые искры. Река, еще вся холодная и тугая, не размявшаяся от только что сошедшего льда, притворялась суровой и задумчивой, не принимала голубого неба и быстрых искр, оставалась серой, мутной и только чуть-чуть ответно булькала у самого берега.

Махались над водой черными тряпками вороны, опускались на землю, прыгали боком, выводя на талом хрупком снегу замысловатый, словно крестиками вышитый узор.

Далеко направо виднелись кротовые бугры — наши окопы. А по той стороне реки чуть-чуть будто вспахано да не взборонено — немцы.

Веретьева остановилась и смотрела на воду, на солнце, на окопы. Она здесь уже бывала. Их сюда водили, показывали. Но дальше, к самому откосу, идти не велели — там легко могут заметить в бинокль и пристрелить.

Стояла и смотрела.

Какие-то мальчишки-солдатенки и двое деревенских пролезли поближе, спрятались за кустами и, вытянув шею, глядели.

— Что там?

Будто бревно черное плывет по реке от нашего берега.

— Что там?

— Лодка.

— Трое сидят?

— Четверо.

— Женщина с мужчиной и маленькие.

Пригляделась. Да. Женщина в белом платке, отличить можно.

— Чего же это они, сумасшедшие, что ли?

— Колонисты. Тут подальше на нашем берегу — немцы-колонисты.

— До своих утекают, — сказал один из парней. — До немцув.

— До своих, пся крев! — прибавил другой и вдруг рассмеялся. — Ага-а!.

Вдали с берега над кротовыми кучками вздулся дымок. Щелкнуло, брызнула вода около лодки. И сразу — еще дымок. И вдруг лодка изменила свои очертания. Ниже стала. Это сидевший на веслах мужчина нагнулся.

— Чего же он?

Видно, как суетятся в лодке, и вдруг остановилась лодка, закачалась, закружилась. Но потом снова наладилось.

— Женщина весла взяла.

Да, да. Можно разглядеть: женщина гребет. И все туда, на ту сторону.

— Неужели и ее пристрелят?

— А и очень просто, — заметил солдатенок. — Наверное, что они какие-нибудь планты везут!

Но над кротовыми кучками тихо было. И лодка подплывала к тому берегу.

— Глянь! Глянь!

И вот над немцами с шершавой паханой полоски вздулся дымок.

— Это чего же?

Лодка точно пустая. Только две маленькие фигурки сидят тихо рядом.

— Чего же они палили-то?

— А шут их знает. Может, думают, шпионы...

— Пся крев!

Лодка повернулась боком, тихо закачалась, опять повернулась и, медленно кружась, поплыла вниз по реке.

А дети сидели тихо.

— Господи! Ведь утонут они!

— Може, пониже их кто переймет. Там деревни есть.

Тихо сидят.

На повороте реки, где узкой полосой желтеется песчаная коса, лодка приостановилась, словно задумалась, и тихо примкнула боком к берегу.

Дети закопошились. Вылезли. Видно было, как поднимали руки, должно быть, кричали, но слышно не было. Далеко.

Они метались по берегу. То подбегут к лодке, то снова отбегут. Махали руками, приседали к земле.

— Ишь, быдто зайчата, — сказала один солдатенок.

— Видно, в голос плачут, — прошептал другой.

— Одна-то девчонка — ишь, юбочка. А поменьше — мальчик.

— Я спрошу в деревне, нет ли лодки, — решила Веретьева и быстро зашагала по узкой тропке.

На пункте было тихо. Доктора и сестры еще спали, сморенные суточной спешной работой.

Веретьева обошла полуразрушенные избенки. Везде пусто, либо солдаты, что отпущены на отдых из окопов.

— Лодки? — усмехнулись они. — Тут, сестрица, не то что лодки, тут чашки деревянной не найдешь, — все пожгли.

Веретьева вспомнила, что сами они опять уже третью ночь в нетопленной избе, и не спрашивала больше.

....

....

На другое утро она снова пошла на берег.

Лодка была на том же месте.

Но дети уже не бегали. Они сидели на берегу оба рядом, тесно прижавшись, так что издали казались одним маленьким серым бугорком, и почти не шевелились.

День был тусклый, мертвый. Небо задернулось коричневыми недвижными пленками-дымками, берега ослизлые в талом липком снегу с черными промоинами, и только одна река была живая, но тихая, тугая, неповоротливая.

Вот закурился дымок над немцами. И щелкнуло что-то по камушкам пониже того места, где стояла Веретьева.

Заметили. Стреляют.

Она отошла и, закрытая кустами, повернула назад.

— Отчего же они, немцы, не пошлют кого-нибудь за детьми? Ведь наши бы не стали в них стрелять?

— Конечно, не стали бы. А они-то, конечно, не доверяют.

— А если бы нам лодку найти?

— Лодки нет. А была бы — все равно не дадут подплыть. Потопят.

На третий день она не сразу поняла, где дети. Потом рассмотрела. Они перебрались в лодку, сидели рядом и уже совсем не шевелились. Может быть, замерзли?

Или только ослабели от голода и стужи? Такие маленькие! Если в лодке и есть одежда, они не догадаются взять ее. Легли бы, укрылись. Но там, на дне лодки, там ведь два трупа...

На четвертый день пришло солнце; играло с рекой, прыгало искрами, дрожало зайчиками, топило хрупкий снег берегов. И река текла живее, кружилась завитками и ласково булькала.

А на том берегу, где, прильнув, затихла черная лодка, суетились вороны, махались черными тряпками, кружились над лодкой, подлетали боком, копошились в ней и снова взлетали, и снова опускались...

На пункте спешно работали — отправляли последних раненых.

— Завтра не будет дела. Не станут они стрелять.

— Не станут. Завтра праздник.

— Конечно, не станут. Мы христиане, они христиане.

— Не станут.

Ночью Веретьева проснулась.

Тревожно было. Беспокойно.

Встала. Пошла к берегу. Зачем идет — сама не знала. Потянула тоска и тревога.

На реке был лунный туман, серебряно-тусклый, шевелил над водой дымные тени, и тот берег не был виден.

Веретьева села на камень, охватила руками колени, сидела долго.

«Мы христиане, они христиане...

А там черная лодка. Не вижу ее,
но чувствую — там она».

Опустила голову, закачалась от тоски, как от горькой боли.

Если бы молиться уметь!

И тихо ответила душа:

«А разве не молитва то, что приходишь ты сюда каждый день и тоскуешь и мучаешься? Не молитва ли это? И разве не ждала ты чуда? Не просила о нем, тихая, несмелая, без слов?»

Подняла Веретьева голову.

— Нет! Нет! Не так молятся!

И опять сказала душа:

«Смотри, не идет ли кто по волнам, туда, к черной лодке? Белая одежда на нем и руки простертые. Кто же может идти так по водам и волнам, кроме Единственного, ходившего?»

— Нет, нет, — ответила Веретьева. — Никого нет: это туман речной.

И опять сказала душа:

«Вот подошел Он к лодке, вот склонился над ней. Разве не видишь ты сияния и света ясного от одежды Его?»

— Нет, нет, это луна так светит.

И замолкла душа, скованная тихим оцепенением. И больше ничего не видела.

На пункте суетились, спешили и бегали. Пришел наказ немедленно сняться с места. В полчаса все должно быть готово, собрано и уложено.

Бегали сестры, толкались, сердились, кричали. Санитары возились над тюфяками, считали носилки. Мелкая соломенная пыль носилась в воздухе.

— Вы где были, сестра? — остановил Веретьеву у входа в избу санитар из семинаристов. — Вас искали.

— Я там, у реки, заснула.

— Ловко! Ну-с, и чего хорошего во сне видали?

— Я видела... Я видела...

Она прищурила глаза, стараясь припомнить. Сдвинула брови, задумалась глубоко и напряженно, но не вспомнила.

— Нет, я ничего не видала. Совсем, совсем ничего.

Открыла двери и пошла в суетню.

Сердце

Идти пришлось болотом восемь верст.

Можно было и в объезд, да круг больно большой, и лошадей в деревне не достать — все в поле работали.

Вот и пошли болотом.

Тропочка вилась узенькая, с кочки на кочку, и то в самом начале, а потом сплошь до монастыря шли мостками, скользкими, нескладными, связанными из двух бревнышек, либо прямо из палок, хлюпающих и мокрых.

Трава кругом была яркая, ядовито-зеленая и ровная, будто подстриженный газон английского парка. Тонкие березки-недородыши белели, зыбкотелые, робкие и нетронутые. Так и чувствовалось, что никто никогда не примнет ядовитую травку и не согнет тонких прутиков. По болоту монастырскому ни проходу ни проезду не было: летом не высыхало и зимой не промерзало.

Шли гуськом. Если бы встретили кого, так и разминуться трудно: узки были скользкие жердочки.

Впереди шла Федосья-рыбачка, баба востроносая, востроглазая, с узкой улыбкой чернозубого рта и бледнеющими от волнения злыми ноздрями.

Очень смешна была на ней опереточная кличка — «рыбачка». Но ей досталась откуда-то по наследству драная сеть, при посредстве которой удавалось иногда вытянуть пару-другую лещей да язей на пропой к празднику.

Деревенцы завидовали Федосье, считали ее больно дошлой и вывертливой, чуть ли не ведьмой, и под пьяную руку грозили подожечь. Все из-за сети.

Федосья шла, легко переступая поджарыми босыми ногами, с сухой, как у скаковой лошади, щиколоткой, и вертела по-птичьи головой.

За Федосьей, спотыкаясь и проваливаясь, шел Медикус, толстогубый студент в ситцевой рубахе навыпуск, с болтавшимся из кармана желтым шнуром от портсигара.

За Медикусом — учитель Полосов, зеленый, хандристый, сам болотистый.

Помещица Лыкова и артистка Леля Рахатова шли почти рядом, держась друг за друга.

Сначала они повизгивали, скользя и качаясь на ногах, но потом, не то увидев, что это не заинтересовало кавалеров, не то просто наладившись идти, уже не обращали внимания на дорогу и перешептывались, смеясь.

Обеим нравился Медикус. Раньше не нравился, и взяли его с собою на богомолье именно потому, что он простоватый и стесняться перед ним нечего.

Но теперь, на болоте, вдруг понравился. И обе, скрывая друг от друга это неожиданное обстоятельство, нервно смеялись и вышучивали его. Главной темой служил желтый хвостик от портсигара.

Медикус изредка оборачивался, чувствуя, что этот тихий, порывистый смешок имеет к нему какое-то отношение, и не знал, обижаться ему или быть польщенным.

А они, видя его толстое, розовое лицо, с блаженно-распяленным ртом, подталкивали друг друга и смеялись щекотным смехом.

Дорога становилась все труднее. Ноги устали от напряженно-осторожных шагов и ныли и дрожали в коленях.

Зеленый учитель неожиданно присел и запрыгал на одном месте. Мостки погнулись, и, казалось, все болото тихо, пружинно закачалось.

— Что вы? Полосов! Перестаньте!

Стало жутко. Почувствовалась спрятанная под зеленым бархатным ковром липкая, тягучая, трясинная смерть.

Но ярко и весело было кругом, и смеялась зелень, заштрихованная белыми палочками березок, и золотился воздух быстрыми точками — мошками.

Тихий гул колыхался над болотом. Словно оно само все гудело все яснее, все громче.

— И что это за гул? — спросила Лыкова.

— Верно, здесь какой-нибудь город когда-нибудь провалился, и вот и звонят колокола, — сказал, приостановившись, учитель, а потом, словно сконфузившись, промямлил:

— Это уж всегда у нас такие разные легенды...

Повернула Федосья птичий нос:

— С монастырю звонят.

— Это монахи, — распялил рот Медикус, — чтобы если кто в болоте тонуть начнет, так чтобы спасся.

— Вы думаете, услышит звон и тонуть перестанет? — съязвил учитель.

— С монастырю звонят, — повторила Федосья. — К вечерне. А только место здесь такое неладное, что ни за что не разберешь, откуда гудет. Тут одна баба шла да платок обронила, нагнулась поднять, а шишкун ее возьми да круг себя оберни.

— Кто?

— Да, этот... болотный-то. Подняла, значит, голову не с той стороны, с какой опустила. И пошла наша баба по болоту крутить. То вперед пойдет, то назад повернет. И нет на ем ни приметаны, ни отметины. И гудет кругом. Шишкун, значит, благовест ловит да в трясину топит, чтобы, значит, православную душу в монастырь не пустить. Так до того баба намучилась, что не то что сама, а платок на ей шерстяной был, так и тот поседел. Вот как! Не произнесть!

— Га-га-га! — развеселился Медикус. — Ай да Федосья! А что, скажи, у вас в деревне все врут или только дуры?

Федосья повернулась, обшарила юркими глазками все лица, ища сочувствия, и, не найдя, осклабилась притворно-весело:

— За что купила, за то продаю.

Артистка Рахатова вдруг замедлила шаг, отстала, закрыла глаза руками и повернулась несколько раз на месте. Прислу-

шалась. Ровно гудело кругом болото и будто колебалось под ногами. Жутко стало.

«Теперь сюда идти», — подумала она, повернулась и открыла глаза.

Но мостки были пусты. Она ошиблась. И повернуться стало страшно, — вдруг никого нет.

— Ау! — крикнула.

За спиной громко загоготал Медикус.

— Га-га-га! Полно притворяться! Вы прекрасно знали, что мы здесь.

— Надоело болото. Уж прийти бы скорей!

Монастырские постройки вынырнули как-то сразу, даже странно было, — неужто могли куцые березки укрыть их из глаз.

Пусто было. Монахи ушли в церковь. У белой, яркой стены сидел слепой с деревянной чашкой в руках. Услышав шаги, закланялся, загнусавил безнадежно.

— Притворяется, — сказала Лыкова.

Медикус присел, заглянул слепому в глаза и отчеканил какое-то латинское слово.

А артистка Рахатова медленно повела головой и продекламировала:

— Какая красота! Этот нищий, — это такое яркое колоритное пятно!

И словно пояснила другим тоном:

— У меня бывал зимой художник Гринбаум. Очень талантливый.

Учитель бросил медяк в чашку. Федосья позавидовала, покачала головой и зашептала:

— Эти слепые очень даже опасный народ. Они как скопом соберутся, больших могут преступлениев наделать.

В углу двора, у монастырской кухни, два широкоплечих монаха и мужик в картузе свежевали огромного, положенного на широкую доску, сома. Мужик рубил рыбу широким ножом, один монах держал ее уцепленным за нос крюком, а другой смотрел и крякал при каждом взмахе ножа.

Потом взял ведро и окатил водой перерубленную, с отвалившейся головой рыбу. И вдруг что-то дрогнуло в одном из средних кусков; дрогнуло, толкнуло, и вся рыба ответила на толчок так, что даже отрубленный хвост ее двинулся.

— Это сердце сокращается, — сказал Медикус.

Помещица Лыкова взвизгнула и побежала прочь. Монахи неодобрительно посмотрели ей вслед.

Вечер провели очень мило.

Сидели на каменной ступеньке у монастырской гостиницы. Разговаривали.

Рыбачка Федосья была тут же, но, из уважения к господам, примостилась пониже, на бревнышке.

Сначала рассказывали всякую ерунду про монастыри и про монахов. Затем, когда зеленый учитель неожиданно промямлил какой-то неприличный анекдот, разговор сразу покатился лихой и свободный, точно выехал на большую, наезженную дорогу, — только пыль столбом.

Прошел к амбару толстый монах, гремя огромными ключами без бородок.

— Говеть приехали?

Это вышло уже совсем весело. От смеха Медикус, как бык, замотал опущенной головой.

— А что ж, господа, — сказал Полосов. — В монастыре интересно говеть. Будут нас исповедовать по монашескому требнику. Там у них такие грехи, какие нам и во сне не снились. Ей-богу, прелюбопытно.

Артистка Рахатова решила, что будет говеть.

Федосья одобрила. Утром к исповеди, за обедней причаститься — и готово.

Опять принялись за анекдоты.

Лыкова и Рахатова прижались друг к другу и ежились, и все притворялись, что анекдоты для них только смешны и только для смеху и рассказываются.

Рахатова вытягивала ноги, чтобы дотронуться до развалившегося на ступеньках Медикуса.

Заставляли рассказывать Лыкову.

— Должна, должна! Помните, что мы в монастыре; здесь устав строгий — все должны равно трудиться.

— Жаль, что нельзя петь, — сказала Рахатова и чуть слышно пропела:

И стра-астно, и нэ-эжно!..

И тут же вспомнила, что она — артистка, и обиделась, что Медикус, в сущности, ничуть не ухаживает за ней.

— Спать пора.

— Пора, пора, — затараторила Федосья. — Завтра-то не добудиться будет.

Маленькое окошечко в толстой каменной стене было открыто всю ночь, и долго Лыкова и Рахатова слышали шепот Федосьи, прерываемый хриплым басом:

— Так-то, так-то, батюшка. Разные мощи бывают. И под спудом бывают, и под раскрытием бывают. А то и опять под спуд уйдут. Чудеса Твои, Господи, не произ-несть!...

И трудно было заснуть от этого шепота, и от усталости, и от тысячи золотых искр — болотных мошек, которые кружились столбом над ядовитой зеленью, как только закроешь глаза.

Вставать было тяжело. Все тело ныло и болело.

Мужчины еще спали.

Лыкова, Рахатова и Федосья пошли в церковь по мокрой утренней траве.

Прошли мимо вчерашней доски, где рубили рыбу. Чешуя и плавники еще валялись неприбранные, и монастырский петух сердито клевал их.

В церкви жались к стене четыре деревенских девки с испуганно-набожными лицами, и суетился около аналоя очень старый, с прозеленевшей сединой, монашек в линялой, побуревшей ряске.

— Вот она исповедаться хочет, — сказала Лыкова про Рахатову.

Монашек засуетился еще больше, словно растерялся.

— Вы, верно, хотите, чтобы вас сам настоятель исповедовал? — зашептал он.

— Нет, нет, нам все равно.

Монашек замялся, замучился.

— Нет, вы, верно, хотите, чтобы настоятель...

— Это он не смеет... не смеет... — зашептала Федосья.

— Нет, я хочу, чтобы вы, — решительно сказала Рахатова.

Ей уже надоела эта затея.

Монашек заспешил, заспотыкался, пошел к ширме.

«Сейчас начнется занятное», — думала Рахатова, видя, как монашек развертывает требник.

Но он все медлил, все волновался и, видя, что Рахатова смотрит в книгу, прикрыл листы дрожащей, скрюченной рукой.

— Слушаетесь ли вы старших?

«Он меня принимает за маленькую девочку!» — подумала Рахатова и тут же стала представлять себе, как потом можно будет все это смешно и забавно рассказывать.

Машинально отвечала на редкие, робкие вопросы старичка, все закрывавшего и прятавшего от нее слова требника.

«Закрывает! От меня закрывает! У него от старости мозги совсем уже размякли. Меня бережет, меня!»

— Особых грехов нет?

— Нет!

Он молчал, и она посмотрела на него и тоже затихла.

Она увидела такие счастливые, такие ясные глаза, что они словно дрожали от своего света, как дрожат слишком ясные звезды, изливаясь лучами.

Ничего не видно было, кроме этих глаз. Чуть намечалась, как в тумане, угадывалась прозеленевшая старостью седина жиденькой бороденки и побуревшая ветхая ткань клобука.

И вдруг дрогнуло все лицо его, и залучилось тонкими морщинками, и улыбнулось детской радостью все, — сначала глаза, потом впалые, обтянутые высохшей кожей, щеки и сморщенный рот. И рука задрожала сильней и мельче.

— Ну и слава Богу, что нету! И слава Богу!

Он весь трепетал; он весь был, как большое отрубленное сердце, на которое упала капля живой воды, и оно дрогнуло, и дрогнули от него мертвые, отрубленные куски.

— Слава Богу!

Рахатова закрыла глаза.

«Что же это? — спрашивала она свою сладкую тоску. — Неужели я заплачу? Да что же это? Нет... Это просто от усталости. Истерика, истерика, истерика!»

Назад ехали в крестьянской телеге.

Медикус отнял у мужика вожжи, кричал и ухал на лошадь, которая отмахивалась от него хвостом. Полосов спал. Федосья осуждала монастырские порядки.

— И очень плохой монастырь. Монахи с табачищем так и ходят, так и сосут. На голове каблук, а под носом табак!

Прямо не произнесть! На огороды тридцать баб работать нагнали, а сами и не ворохнутся. Не произнесть! Распущенный монастырь. На прошлой неделе двух монахов изо рва пьяных вытащили, еле откачали. Не произнесть!

Рахатова и Лыкова молчали.

Француженка

— Барышня, пожалуйте заниматься! Мамзель пришли.

Барышня собирала книжки и тетрадки и шла в классную комнату.

Все равно какая барышня — маленькая, большая, веселая, забитая, красивая, дурнушка, — их так много прошло через длинную жизнь мадмуазель Бажу, что она давно всех их спутала и перестала отличать одну от другой.

Уже много лет назад, заметив, что постоянно смешивает имена своих учениц, мадмуазель Бажу стала просто называть их «дитя мое» — mon enfant, — и дело пошло гладко.

Остальное все было одинаково. Та же грамматика, тот же перевод из Марго.

— Les genoux du chameau sont très flexibles. — «Колени верблюда очень гибки», — диктует мадмуазель Бажу.

Так диктовала она и двадцать, и тридцать, и сорок лет назад... И так же Наденька, или Варенька, или Леночка забывала ставить «x» на конце «genoux» или «e» в слове «chameau».

Близко проходила огромная жизнь, события мировой или индивидуальной важности: эпидемии, войны, восстания, человеческая любовь с ее трагедиями, тоской и счастьем, — мадмуазель Бажу не замечала ничего.

Правда, когда в каком-нибудь доме говорили об ужасах войны, она делала испуганно-круглые глаза и скорбно сжимала рот. Но все это было нечестно, притворно, из простой вежливости.

Война, эпидемия, жизнь — это все неважно и несерьезно. Это все пестрит, рябит, мелькает быстро. Обернешься — и нет, и опять новое, и снова уйдет.

Остается всегда только одно:

— Колени верблюда очень гибки.

Это непреходяще. Это вечно, незыблемо и абсолютно. Это — наука.

Иногда встречает она на улице какую-нибудь из бывших учениц — даму с мужем, с детьми:

— Мадмуазель Бажу! Вы все такая же. А вот это мои дети. Видите, какие большие.

Мадмуазель улыбается большим детям и потом долго старается вспомнить, кем была прежде эта дама: плаксой ли Катенькой, или злой Варенькой, нарочно разбившей чернильницу?

Вышла замуж, счастлива, а может быть, несчастлива. Кажется, это у нее кто-то умер или родился?..

Мелькает все это, рябит, пестрит. Несерьезно.

— Пишите, дитя мое: «Колени верблюда очень гибки».

Но один раз жизнь захватила ее. И вот с тех пор трясется у нее голова как-то смешно, боком, словно мадмуазель Бажу все время не одобряет чего-то, с чем-то не согласна.

Земных привязанностей было у нее только две: кошка Жоли и мадам Поль.

Кошка была старое, неблагодарное и безобразное животное. Вся кожа висела на ней, болталась мешком на брюхе, и, положив ей руку на спину, можно было чувствовать, как кости шевелятся отдельно от мяса.

Расслоилась вся кошка от старости и развалилась на составные части.

Несмотря на все свое убожество, кошка всю жизнь презирала мадмуазель Бажу и так, презираючи, и околела.

Чувствуя приближение конца, она вдруг вылезла за окно и пошла по соседней крыше.

Мадмуазель Бажу с отчаянным воплем поползла за ней.

— Ты упадешь, Жоли! Жоли, у тебя закружится голова!

Она плакала и ползла по крыше, и только радостные возгласы гогочущих внизу дворников заставили ее опомниться и полезть назад через окно в комнату.

А Жоли спустилась на соседний двор и околела. Она презирала мадмуазель Бажу.

Мадам Поль была старой отставной гувернанткой и много лет жила в одной комнате с Бажу.

Нрава она была строптивого, сварливого; про каждого знала что-нибудь скверное и критиковала даже учебник Марго. Знала разные ученые вещи, о которых ее сожительнице и во сне не снилось. Каждое утро выходила на лестницу вытряхать гусиным крылышком из старой вязаной юбки зловредных бацилл и, когда шла на улицу, затыкала обе ноздри гигроскопической ватой, чтобы не напрыгали в нос опасные микробы.

С мадмуазель Бажу обращалась она, как с проказливой девчонкой. Распекала, журила, донимала. И вдруг неожиданно умерла от холеры.

Мадмуазель Бажу долго не понимала, в чем дело. Не понимала, что если человек умер, то уж навсегда, и все торопилась попасть вовремя домой, чтобы мадам Поль не сердилась.

Потом поняла.

И вот тогда единственный раз за всю свою преподавательскую деятельность восстал дух ее против Марго, против незыблемых и вечных законов, загорелась душа, задрожали новые, неведомые ей струны, и вместо коленей верблюда продиктовала мадмуазель Бажу свое, от своего духа рожденное слово:

— Le choléra est très malsain. — Холера очень вредна. Très malsain.

Она хотела сказать еще что-то, но вдруг почувствовала себя одинокой, беспомощной и потерянной, преступившей законы и пределы. Она остановилась, ужаснулась и горько заплакала. И в первый раз ушла, не закончив урока.

Два дня сидела она дома, думала о смерти, о старости и купила себе рыжий паричок.

Он очень не шел к ней, этот паричок. Лицо у нее было круглое, добродушное, с красными старушечьими жилками на щеках, глазки маленькие, доверчивые. Парик жил сам по себе своей жизнью, иногда лихо сползал на затылок, иногда ухарски загибался набок. У висков всегда выбивались из-под него тонкие седые волосики, но он не унывал и на это обстоятельство не обращал ни малейшего внимания.

На учениц и их родителей парик произвел самое удручающее впечатление.

— Она рехнулась на старости лет.

Умный доктор, друг семьи, сказал серьезно, сдвинув брови:

— Ничего. Это у нее эротическое помешательство. Это бывает со старыми девами в ее возрасте.

Прислуга весело фыркала.

От двух мест мадмуазель Бажу отказали без объяснения причин.

За уроком девочка Кавочка в присутствии матери вдруг затянула-задразнила:

— А у Бажу седые волосы торчат — все равно парик не помогает.

Мать девочки покраснела:

— Кавочка, уйди на минутку, мне надо поговорить с мадмуазель.

Девочка вышла.

— Мадмуазель Бажу... вы меня извините, я ведь к вам очень хорошо отношусь... только зачем вы это — делаете... это парик? Вы ведь уже пожилая, к чему это?

К ее удивлению, мадмуазель Бажу совсем не сконфузилась. Она подняла свои маленькие доверчивые глазки и сказала:

— Нет, мадам, я не пожилая.

Мать девочки смутилась и даже испугалась.

— Ради Бога, не обижайтесь на меня. Конечно, каждый имеет право причесываться, как хочет, но, понимаете, пример для детей... Ведь вы же знаете сами, сколько вам лет...

Но мадмуазель Бажу, опять не опуская глаз, повторила:

— Я не пожилая. Уверяю вас, что я не пожилая. Я очень-очень старая женщина. Этот паричок меня молодит, а я очень-очень старая. Если я не буду носить парика, все сразу поймут, какая я старая, и не дадут мне ни одного урока. Может быть, он очень смешной, мой паричок, но без него у меня не будет хлеба. Je n'aurai pas de pain, madame![1]

Она ласково смотрела своими маленькими доверчивыми глазками. Ласково и просто. Чего же тут? У нее спросили — она объяснила.

---

[1] У меня не будет хлеба, мадам! (*Фр.*)

— Ну, дитя мое, теперь за работу. Пишите: «Les genoux du chameau sont très flexibles». — Колени верблюда очень гибки...

Дэзи

Дэзи Агрикова с большим трудом попала в лазарет.

Во-первых, очень трудно было устроиться на курсы сестер милосердия. Везде такая масса народа, и все как-то успевали записаться раньше Дэзи Агриковой, и везде был полный комплект, когда она приходила.

Наконец нашлись какие-то курсы, куда она попала вовремя. Но принимавшая запись барышня с флюсом предупредила честно и строго:

— Прав никаких. Определенных часов для лекций нет.

Дэзи все-таки записалась и стала ходить.

Проходив недели четыре и не получив ни прав, ни свидетельства, Дэзи Агрикова стала хлопотать о поступлении в лазарет.

Было трудно. Никуда не брали. Везде переполнено.

А знакомые дразнили вопросами:

— Вы где работаете? Я в N-ском лазарете. Полтораста раненых. Масса работы. Я на лучшем счету.

— Вы в каком лазарете? Как ни в каком? Да что вы! Теперь все в лазарете — и княжна Кукина, и баронесса Шмук.

— Вы не собираетесь на передовые позиции? Я собираюсь. Теперь все собираются — и княжна Шмукина, и баронесса Кук.

Дэзи Агрикова стала врать. Стала говорить, что работает, а где, это — секрет, и что едет на передовые позиции, а когда — секрет и куда — секрет.

Но потихоньку плакала.

Было как-то неловко. Неприлично.

Чувствовала себя, как купеческая невеста, не играющая на рояле.

Приходил Вово Бэк и шепелявил, неумело затыкая под бровь монокль:

— Неужели вы еще не работаете в лазарете? Теперь необходимо работать в лазарете. Все дамы из высшего общества... C'est très bien vu[1]. И вам, наверное, очень пойдет костюм сестры.

Дэзи хлопотала, нажимала все пружины, и наконец дело ее устроилось. И устроилось очень просто: нужно было только попросить баронессу Кук, та попросила Павла Андреича, Павел Андреич попросил княжну Шмукину, княжна Шмукина сказала Веретьеву, Веретьев — княжне Кукиной, княжна Кукина — баронессе Шмук, а баронесса Шмук попросила Владимира Николаевича, который ни более ни менее как друг, если не детства, то среднего возраста, самой Марьи Петровны.

Таким образом Дэзи Агрикова устроилась в лазарете.

Волновалась страшно: какая косынка больше идет — круглая или прямая? Выпускать челку или только локончики у висков?

Пришла она в лазарет утром, поискала глазами, кому бы сказать о том, что она пришла сюда работать «по просьбе самой Марьи Петровны», но никто на нее не смотрел, и никому не было до нее дела. Все были заняты.

Вот отворилась дверь, на которой прибита дощечка: «Перевязочная. Вход воспрещен». Выглянула плотная женщина с засученными рукавами и крестом на груди.

— Вы что?

Дэзи подтянула губки и собралась рассказать про Шмук, Кук и Марью Петровну, но ее перебили.

— Так идите же скорее помогать. Там рук не хватает.

Дэзи вошла в перевязочную.

По стене на табуретках сидели раненые, кто вытянув забинтованную руку, кто — ногу. Сидели молча.

На длинном столе лежал боком очень худой бородатый солдат. Доктор, низко нагнувшись над его бедром, вертел каким-то блестящим инструментом. Лицо у доктора было бледное, губы стиснуты, и только на одной щеке горело яркое пятно.

— Подберите патлы и вымойте руки! — быстро сказала Дэзи женщина с крестом.

---

[1] Это очень одобрили бы в обществе (*фр*).

Дэзи вспыхнула, но руки у нее словно сами поднялись и запрятали под косынку тщательно подвитые локончики.

— Умывальник в углу. Потом идите сюда скорее, держите ему ногу.

Дэзи держала ногу, над которой возился доктор. Она чувствовала, как дрожит эта нога мелкой дрожью страдания, видела капли пота на лбу доктора и красное пятно на его щеке.

Раненый не стонал, а только тяжело дышал и вдруг, слегка повернув голову, посмотрел на Дэзи.

— Спасибо, родная, спасибо, желанная, хорошо держишь. Так-то мне лучше, как ты держать стала.

Голос у него был слегка сдавленный, жалкий и ласковый; говорок на «о».

— Лежи тихо, лежи тихо! — прикрикнул доктор.

Дэзи смотрела, как доктор старался ухватить длинными щипцами что-то там в глубине раны.

— Там пуля? — робко спросила она.

— Пуля, — отвечал доктор. — Очень трудно извлечь.

И Дэзи долго держала эту тихо дрожащую страданием ногу, и когда раненый охнул, она тихонько погладила его и шепнула:

— Ничего, ничего...

Каждое вздрагивание его она чувствовала и на каждое отвечала какою-то новой напряженной нежностью своей души, и когда наконец, облегченно вздохнув, доктор показал ей на своей окровавленной ладони круглую черную пулю, она вся задрожала радостью и еле удержалась, чтобы не заплакать.

— Господи, счастье какое! Господи, счастье какое!

Потом, когда раненый уже лежал на своей койке, усталый, но довольный и спокойный оттого, что и страх, и страдания уже кончились, Дэзи подошла к нему и молча улыбнулась. Улыбнулся и он простой детской улыбкой серенького, рябенького, бородатого мужичонки.

— Это ты, желанная, ногу мне держала? Спасибо, родная. Очень мне от тебя легше стало, сестричка моя белая.

Дэзи позвали к телефону.

— Это очень хорошо, что вы в лазарете, — свистел в трубку Вово Бэк.

— C'est très bien vu в высшем обществе. Воображаю, как все раненые в вас влюбляются.

Дэзи, не отвечая, тихо повесила трубку и тихо, но решительно, словно навсегда, отошла от телефона.

Подошла к своему рябому мужичонке и, не поднимая глаз, словно по глазам мог бы он узнать, что она сейчас слышала, нагнулась к нему.

— Тебе хорошо?

— Спасибо, родная.

— Как тебя зовут?

— Митрий Ящиков.

— Спасибо тебе, Дмитрий, что тебе хорошо. Я сегодня счастливая, а я еще никогда не была… Это я оттого, что тебе хорошо, такая счастливая.

И вдруг она смутилась, что, может быть, он не понимает ее.

Но он улыбался простой, детской улыбкой серенького, рябенького, бородатого мужичонки.

Улыбался и все понимал.

Счастье

Счастье человеческое очень редко, наблюдать его очень трудно, потому что находится оно совсем не в том месте, где ему быть надлежит.

Я это знаю.

Мне сказали:

— Слышали, какая радость у Голикова? Он получил блестящее повышение. Представьте себе, его назначили на то самое место, куда метил Куликов. Того обошли, а Голикова назначили.

— Нужно поздравить.

И я пошла к Голиковым.

Застала я их в таком обычном, мутном настроении, что даже не смогла придать своему голосу подходящей к случаю

восторженности. Они вяло поблагодарили за поздравление, и разговор перешел на посторонние темы.

«Какие кислые люди, — думала я. — Судьба послала им счастье, о котором они и мечтать не смели, а они даже и порадоваться-то не умеют. Стоит таким людям счастье давать! Какая судьба непрактичная!»

Я была очень обижена. Шла к ним, как на редкий спектакль, а спектакль и не состоялся.

— А что теперь бедный Куликов? — вскользь бросила я, уже уходя. — Вот, должно быть, расстроился!

Сказала — и сама испугалась.

Такого мгновенного преображения ликов никогда в жизни не видела я! Точно слова мои повернули электрический выключатель, и сразу все вспыхнуло. Загорелись глаза, распялились рты, замаслились закруглившиеся улыбкой щеки, взметнулись руки, свет захватывающего счастья хлынул на них, осветил, согрел и зажег.

Сам Голиков тряхнул кудрями бодро и молодо, взглянул на вдруг похорошевшую жену. В кресле закопошился старый паралитик-отец, даже приподнялся немножко, чего, может быть, не бывало с ним уже много лет. Пятилетний сынишка Голиковых вдруг прижался к руке матери и засмеялся громко, точно захлебываясь.

— Куликов! Ха-ха! Н-да, жаль беднягу, — воскликнул Голиков. — Вот, должно быть, злится-то!

— Он, говорят, так был уверен, что даже обои выбрал для казенной квартиры. Как ему теперь тошно на эти обои смотреть! Ха-ха-ха! — хохотала жена.

— Воображаю, как он злится!

— Э-э-ме-э-э! — закопошился паралитик и засмеялся одной половиной рта.

А маленький мальчик захлебнулся и сказал, подставляя матери затылок, чтобы его погладили за то, что он умненький:

— Он, велно, со злости лопнет!

Родители схватили умницу за руки, и вся группа лучилась тем светлым, божественным счастьем, ради одной минуты которого идет человек на долгие годы борьбы и страдания.

«Ну что же, — думала я, уходя. — Ведь я только этого и хотела: видеть их счастливыми. А счастье, очевидно, приходит к людям таким жалким и голодным зверем, что нужно

его тотчас же хорошенько накормить теплым человеческим мясом, чтобы он взыграл и запрыгал».

Ольга Вересова рассказала мне, что выходит замуж за Андрея Иваныча и очень счастлива.

— Он с хорошими средствами и довольно симпатичный. Не правда ли, он симпатичный?

И она смотрела на меня недоверчиво.

— Так вы, значит, очень счастливы? — уклонилась я от ответа.

— Да, очень счастлива, — вяло ответила она, но вдруг все лицо ее как-то вспыхнуло, и плечи сжались, как от приятного, нежного тепла.

— Ха-ха! А эта дурища Соколова воображала, что она прежде меня замуж выйдет! Она, говорят, со злости захворала. Мама нарочно к ней ездила. Говорят, желтая стала, как лимон. Ха-ха-ха!

Ольга Вересова, действительно, была счастливая невеста.

Когда я увидала ее жениха, то поняла, что и он счастлив, потому что он подмигнул на какого-то печального студента и сказал:

— А Карлуша остался с носом! Он за Олей три года ухаживал. Гы-ы! Посмотрите, как он бесится!

И даже в горле у него от счастья что-то щелкнуло.

А старуха, невестина мать, горела счастьем, как восковая свеча.

— Господи, да могла ли я думать! Все злятся, все завидуют, все ругаются. У Раклеевых ад кромешный. Катенька чуть не повесилась, Молина руки подавать не хочет. Привелось-таки дожить!...

И она крестилась дрожащей от радости рукой.

Счастливый был брак! Счастливый дом.

Счастье, накормленное и напоенное, прыгало из комнаты в комнату и выгибало, как кошка, спину дугой.

Мне несколько раз приходилось встречать счастливых, и я хорошо изучила самую природу счастья. Но однажды судьба заставила меня принять в нем активную роль.

Когда мне рассказали, что Анна Ивановна, бедная, безнадежно больная учительница, получила огромное наследство, я искренно порадовалась. А когда мне передали, что она только о том и мечтает, как бы повидаться со мной, я была тронута.

Анна Ивановна знала меня в очень тяжелые для нас обеих времена, и те последние годы, когда мы уже не виделись, по слухам, были для нее тяжелее прежних. Как же не обрадоваться было такой волшебной перемене в ее судьбе.

Вскоре после этого известия я встретилась с ней на улице. Она ехала в собственном экипаже, принаряженная, но очень скучная и тихая.

При виде меня она как-то забеспокоилась, лицо у нее стало напряженное, жадное.

— Садитесь скорее со мной! — кричала она. — Едемте ко мне завтракать.

Ехать к ней я отказалась, но выразила удовольствие, что ее дела так хорошо устроились.

Она выслушала меня с каким-то раздражением.

— Так садитесь, я вас домой завезу. У меня чудные рессоры, одно удовольствие прокатиться.

Я села, и она тотчас стала рассказывать, какой у нее дом, и сколько стоит коляска, и про какие-то необычайные лампы, которые тоже достались ей по наследству. Говорила она с какой-то злобой и, видимо, была так недовольна мною, что я совсем растерялась.

— Почему же говорили, что она хочет меня видеть? Верно, что-нибудь спутали.

Но когда я хотела выйти у одного магазина, она ни за что не могла со мной расстаться и велела кучеру ждать, а сама пошла за мной.

— Как можно покупать такую дрянь, дешевку! — злобно проговорила она. — Я покупаю только дорогие вещи, потому что это даже выгоднее.

И снова рассказывала о своих дорогих и хороших вещах и смотрела на меня с отчаянием и злобой.

— Что у вас за пальто? — вдруг истерически вскрикнула она. — Как можно носить такую дрянь? Наверно, заграничная дешевка!

Я уже хотела было заступиться за свое пальто, но посмотрела на ее отекшее желтое лицо безнадежно больной женщины, на всю ее тоскливую позу и на дорогой экипаж и поняла все ее отчаяние: у нее было пустое, голодное счастье, которое ей нужно было накормить и отогреть теплым человеческим мясом, не то оно сдохнет.

Я поняла, почему она искала меня. Она знала меня в самое тяжелое время моей жизни и чувствовала, что в крайнем случае, если я сумею защититься теперь, то этими прошлыми печалями она всегда накормит своего зверя.

Она была безнадежна больна, углы ее рта опустились горько, и глаза были мутные. Нужно было накормить зверя.

— Да, у меня пальто неважное! Да хорошее ведь очень дорого.

Она чуть-чуть порозовела.

— Да, конечно, дорого. Но только дорогое и хорошо. Ну да ведь вы богема!

Я застенчиво улыбалась.

Ешь, ешь, несчастная!

— Ну, как вы поживаете? Все работаете?

— Да, работаю, — отвечала я тихо.

— Нечего сказать, сумели устроиться в жизни! Так до самой старости и будете работать?

— Очевидно...

Она уже улыбалась, и глаза ее точно прорвали застилавшую их пленку — горели ярко и весело.

Ешь! Ешь еще! Не стесняйся!

— Не пожелаю такой жизни. Сегодня, может быть, вам еще ничего, а завтра заболеете и опять будете мучиться, как тогда. Помните? Вот я действительно устроилась. Вот бы вам так, а?

Съела!

— Ну, где уж мне!

Она попрощалась со мной ласково, весело и так была счастлива, что даже не могла вернуться домой, а поехала еще покататься.

И все умоляла меня навестить и заходить почаще.

Она съела меня, а против моего трупа не имела буквально ничего.

Шамаш

Легенда пустыни

Великий Шамаш был немилостив к племени химиаров.

Они смиренно молились ему, каждое утро встречали его, обращая лица свои на восток, и громко вопили:

«Ты один, который слышит! Ты один, который знает! Ты один, который может! А мы — твои!»

Но каждое утро выходил Шамаш на небо грозный и распаленный гневом. Жег пастбища химиаров, сушил их деревья и выпивал воду источников. Он поднял на них из сердца пустыни злого Бога — горячий ветер, и злой Бог отнял от них воздух дыхания, и день и ночь гнал на них раскаленный песок.

Стада жалобно блеяли, отказываясь есть траву, смешанную с песком, и падали от стрел Шамаша.

Тогда химиары снимали свои шатры, собирали свои стада и шли дальше, куда гнал их горячий ветер.

Как только находили зеленые пастбища и чистые источники, останавливались и, разбив шатры, ставили высокий столб и приносили на нем жертву тому, который «один слышит, и один знает, и один может!»

Но горячий ветер, посланец Шамаша, гнался по их следам. Проходило время, и снова начинал гореть песок под ногами, и жалобно блеяли овцы, и гибли стада и люди.

— Пустыня догнала нас, — говорили химиары. — Шамаш поднял ее на нас! Идем дальше!

И снова снимали свои шатры и шли дальше.

Так дошли они до гор Неджада. Горы были высоки и малодоступны, а по склонам их жили безумные псиллы, ненавидевшие солнце.

Псиллы работали ночью, собирали травы и плоды, пасли стада и возделывали поля. Пред рассветом все племя их собиралось на возвышенном месте и, притихнув, ждало. И лишь только первые лучи колыхнут небо, псиллы, дико взвыв, вскакивали на ноги, вздымали руки, с проклятиями бились о землю в злобном неистовстве, и тучами стрел осыпали поднимающееся над землею яростью пламенеющее лицо Шамаша.

Днем они прятались в шатрах и никто их не видел.

Химиары боялись безумных соседей. Они знали, что псиллы не злы и не мстительны. Змеи приползали и они давали гадам приют. Они заклинали змей и те служили им, разрыхляя для зерна землю. Кто милостив ко змею — обидит ли человека? Но химиары боялись дерзнувших восстать на Шамаша.

— С такими соседями худо нам будет, — говорили они. — Вот погубит их Великий и Милостивый, а с ними погибнем и мы!

И послали они отряд перейти и поискать нового места.

Ушел отряд большой, а вернулись немногие. И рассказали вернувшиеся, что за горами чудесные земли и дивные сады, но обнесены они высокими стенами с медными воротами, а по стенам ходят стражники.

Когда приблизились к стенам посланные от отряда, приложил стражник к губам звонкий рог и протрубил. Вышли на стены лучники и пращники, подняли руку и не оставили ни одного из химиаров. Тогда подошли оставшиеся из отряда и вынули стрелы. Стражник же, приложив к губам звонкий рог, протрубил два раза. И раскрылись медные ворота, увидели химиары несметное войско, и всадников на верблюдах и на ослах, и не стали ждать, чтобы стражник приложил в третий раз звонкий рог к своим губам.

На чужой земле остались только те, кто пал от быстрого бега.

Химиары поняли, что через горы им перейти нельзя.

А Шамаш поднимался каждый день все яростнее; слуга его — горячий ветер — уже сыпал песок в траву и источники. Все отчаяннее неистовствовали на рассвете безумные псиллы, когда испуганные химиары, закрыв голову руками, чтобы не видеть и не слышать и не знать ничего, призывали того, который «один все может!».

— И мы твои! — кричали они, касаясь губами раскаленного песка.

Рассказы о прекрасной стране, защищенной горами от ветра пустыни, жили среди истомленных химиаров.

— В такой стране хорошо быть даже рабом, — повторяли многие.

Стали говорить, что нельзя оставлять неотомщенными трупы товарищей. Многие видели уже Саду — птицу мести с мертвыми глазами. Она кружится в полночь над селением и просит крови и кричит: «Эскуни!» — дайте пить!

Гадательница Арраф плясала вокруг священного камня и, плеская воду из каменного кувшина, поила звезды и спрашивала их, что нужно сделать. Звезды стали гаснуть. Остались только те, которые указывали путь на Неджадские горы к прекрасной земле.

Тогда выбрала Арраф шестнадцать юношей, слышавших крик птицы Сады, и сама повела их на горы, чтобы отомстить убийцам.

И никто из них не вернулся.

Уже много прошло времени, когда юноша из царского рода один вызвался идти и узнать о судьбе сгинувших.

Он вернулся в великом стыде и смятении и рассказал, как пробрался к городу и, укрывшись, следил и увидел, как шестнадцать химиарских юношей, впряженных в большую колесницу, везли камни для постройки чужого храма. А ночью зазвенели на стенах арфы и вышла гадательница Арраф и с факелом в руках плясала перед кем-то огромным, лежащем на золотом ложе.

И, слушая рассказ его, вспоминали химиары, как говорили ушедшие: «В такой стране хорошо быть даже рабом!» И поняли, что измена увела их от родного племени и страх пред пустыней.

И снова взывали к Шамашу, касаясь губами горячего песка.

А в часы отдыха, кто клал голову на землю, слышал, как шуршал гонимый ветром песок.

— Пустыня дышит!

— Дышит горячая!

— Идет горячая!

Но вот великий Шамаш оказал милость химиарам.

Каждый вечер он уходил вниз к сухим тростникам, заглохшей реки и там оставался всю ночь. Но вот раз ночью раздвинул он тростники и вышел из них в могучем образе бога Ягута, с рыжею гривой и зелеными глазами.

Многие его видели, но, кто слышал его дыхание, тот уже не мог жить дальше: того находили разодранным и изгры-

занным и не смели трогать, пока сам Ягут не докончит своей трапезы. Когда химиары хотели милости, они приносили ребенка поближе к тростникам, и бог всегда принимал их жертву.

— Пока берет, это хорошо, — говорили химиары. — Это очень хорошо!

Но вот один раз ночью Ягут не принял жертвы. Он прошел мимо плачущего ребенка, и, медленно переступая тяжелыми лапами, поднялся в горы и скрылся. За ним шла его огромная тень и была видна, когда его уже не было.

— Ягут ушел! Его источник замутился песком, и он ушел в прекрасную страну! Он может там жить, он ведь не химиар!

— А чем будет он там питаться? — говорили надеющиеся. — Дадут ли ему враги его часть, как богу?

— А мало разве у них усталых рабов-химиаров?

Усталых бросают со стены!

Вскоре после Ягута ушли псиллы.

Они поднялись вдруг, как бешеные, всем народом своим. Впереди гнали испуганный скот, женщины и дети на тощих голодных верблюдах, и все, кто мог держать копье, или лук, или пращу, были вооружены.

С громким боевым гиканьем помчались они, он не в горы к прекрасной стране, а прямо к солнцу, в сердце пустыни, навстречу горячему ветру. Впереди на белом верблюде лежала их царица и длинным копьем целила в солнце и кричала проклятья. А воины отвечали ей.

— Смерть солнцу! — кричали они.

— Смерть горячему ветру!

— Да погибнет!

И уже долго после того, как скрылись они и улеглась за ними золотая пыль, шуршал и зыбился горячий песок: это ползли за псиллами заклятые змеи.

Много дней влезали химиары на возвышенное место и смотрели на путь ушедших и многие дни не призывали они того, который «один слышит».

— Почему он еще ходит по небу?

— Псиллы еще не дошли до сердца пустыни!

А когда дойдут...

Прошло еще много дней. Видели с возвышенного места, как спустились с неба черные руки и как протянула пустыня им навстречу свои руки, как схватились они и долго кружились в вихревой пляске.

— Они победили!

Жалобно блеяли стада, отказываясь от выжженной солнцем травы, и гибли люди. Тогда подошли химиары к шатру вождя своего.

Вождь Симдан укрывал их от горячего ветра много десятков лет и давно ослеп от света и пыли. Он лежал в своем шатре на вытертой бараньей шкуре и держал в руках последний мех с остатками молока.

Химиары сказали вождю Симдану:

— Вот гибнут стада наши и дети! И как будет дальше — не знаем! Веди нас за горы Неджада к прекрасной стране. Посыпем головы прахом чужой земли и подползем на руках к стенам города, и будем лобызать дорогу у медных ворот и вопить, чтобы взяли нас рабами, и будем служить счастливым.

Но не повернул Симдан головы и не ответил ни слова. Он знал, что придут они еще и еще раз.

Ушли химиары.

Злобен поднялся Шамаш, охватил горячий ветер стада химиаров, сбил их в кучу и закрутил в песок, и погибли все овцы, и бараны, и ослы, и верблюды — до последнего.

Опять пришли химиары к вождю и сказали:

— Вот погибли стада наши. Не такие мы, чтобы идти в рабство к счастливым, но веди нас в сердце пустыни на бой с Шамашем! Псиллы не победили, но мы сильнее их!

Поднял голову старый Симдан и прислушался к звуку речей их, но не ответил не слова. Он знал, что придут они еще раз.

Ушли химиары.

Злобен поднялся Шамаш. Выпил воду источника. Прибежал горячий ветер, забросал русло песком, и иссяк источник, и гибли люди от последней жажды, и снова пошли к Симдану и сказали:

— Вот выпил Великий и Милостивый воду нашу и гибнут люди! Но не такие мы, чтобы восстать на Могущественного!

А другие говорили:

— Теперь Шамаш спасет нас. Мало осталось нас и не станет Великий мучить малого!

И еще говорили:

— Все отдавали мы ему: и детей наших, и лучших овец стада приносили ему в жертву, а что не умели дать, то сам он брал у нас.

— И мы ли не были покорны? И мудро ли истреблять того, кто служит покорно?

Когда услышал Симдан ропот их, поднялся он на ложе своем и сказал старым забытым голосом:

— Получите по жажде своей!

И сказал еще:

— Кто красивейшая девушка в племени вашем?

Отвечали химиары:

— Таба, дочь сына от сына твоего красивейшая.

— Возьмите Табу, дочь сына от сына моего, и отдайте ее Шамашу. И получите по жажде своей.

Упал на ложе Симдан и больше не ответил.

Взяли химиары Табу — красивейшую и, сняв одежды с нее, умастили тело ее пряным алоем и вложили в уста томного малийского ладана, от которого закрылись глаза девушки и дыхание перестало поднимать грудь.

Тогда подняли Табу на священный столб и, перекинув через вершину, укрепили ремнями. И выгнулось сверкающее тело красивейшей, открывая сердце могучему богу.

А химиары укрылись в шатрах и ждали весь день и всю ночь, и еще день и чутко слушали. И лишь к вечеру второго дня услышали они что-то. Услышали они как бы звон многих лютней и тихую струнную жалобу. И, покинув шатры, увидели над священным столбом рой золотых мух смерти, который то опускался на тело девушки, то поднимался над ним и гудел и звенел блестящими крыльями и снова припадал к жертве.

Буйная радость охватила химиаров.

— Принял жертву нашу Шамаш! Не пошли мы в рабство и не восстали на Могущественного и вот мы — любимые дети его! Возрадуемся, избранные!

Вокруг священного столба под гуденье мертвых мух закружились они и вопили славу свою. Пьяной радостью раз-

рывалось сердце ликующих. Вот схватили копья и острия вонзали в себя стрелы, а кому не хватало оружия, те царапали ногтями лица свои и рвали зубами тело.

Прилетел горячий ветер и кружил беснующихся и, когда падали истекающие жертвенной кровью, — сыпал на них шумящий, шелестящий, душный песок.

Снова соединило небо руки с пустыней и долго кружило вихревую пляску.

А утром поднял Милостивый Шамаш свое, кровью раздутое, лицо и, дохнув пламенем на жертвы жертвенника своего, принял всех, и никого не отверг.

Содержание




Дым без
огня

Неживой зверь

Надежда Александровна Тэффи

Собрание сочинений в пяти томах

Том II

Редактор
В. Алексина

Художественный редактор
О. Скочко

Технический редактор
О. Стоскова

Корректор
Ю. Баклакова

Компьютерная верстка
А. Деева

Подписано в печать 15 09 10 г
Формат 84×108 $^{1}/_{32}$
Бумага офсетная
Гарнитура «Garamond»
Печать офсетная
Усл печ л 22,68
Уч -изд л 22,84
Заказ №

Книжный Клуб Книговек.
127206, Москва, Чуксин тупик, 9

Отпечатано ООО "Балто принт"
Logotipas Company
www baltoprint ru

Литературное
приложение



ISBN 978-5-4224-0255-7



www.terra.su

www.soyuzkniga.ru